



П. ВАЙЛЬ
А. ГЕНИС

АМЕРИКАНА



**П. ВАЙЛЬ
А. ГЕНИС**

АМЕРИКАНА

ex libris

**ИЗДАНИЯ
КНИЖНОЙ РЕДАКЦИИ
СОВЕТСКО-БРИТАНСКОГО
СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СЛОВО / SLOVO**

**МОСКВА
1991**

ББК 66.3 (7США)
В 14

Художники

Д. Семенова и А. Бегак

В $\frac{4703000000-024}{M128(03)-91}$ Без объявл.

ISBN 5-85050-247-7

- © П. Л. Вайль, А. А. Генис, 1991
- © О. В. Тимофеева, предисловие, 1991
- © Д. Семенова, А. Бегак, оформление, 1991.

ОТ РЕДАКЦИИ

Американские граждане Петр Вайль и Александр Генис, ныне часто выступающие в нашей периодике, не «возвращенные» имена — они приходят к нам впервые: бывшие рижане, Вайль и Генис состоялись как писатели в эмиграции. Обычно происходит иное: на чужбине более или менее реализуется талант, уже заявивший о себе на родине. Но точно так же, в порядке исключения из этого правила, третья волна произвела и совершенно оригинального, сильного писателя С. Довлатова. В этой книге авторы посетуют на то, что «американская Одесса» (Брайтон-Бич в Нью-Йорке) заждалась своего Бабеля, — что ж, может, и его мы получим в свое время. Говоря же в целом, значение литературы русского зарубежья трудно переоценить. Когда «здесь» оттепельные 60-е совсем запасмурились, их свет поддерживался «там» — и конечно, в самиздате, который, впрочем, неизменно уходил в «тамиздат». Иначе говоря, русская литература метрополии и зарубежья взаимодействовали по принципу сообщающихся сосудов (в одном убыло — в другом прибыло), что только подтверждает уже никем, кажется, не оспариваемый тезис об условности и искусственности демаркационной линии между ними. Наши авторы, всегда стоявшие на этой точке зрения, — убедительное тому свидетельство.

Все эти годы (они уехали в 1977 году) не прерывалась их связь с русской культурой. Они истово работали в ней (с учетом их творческого темперамента, можно сказать и так: неистово работали). Выходили книги, регулярно печатались статьи в периодике, шли передачи на радио «Свобода». Они вели жизнь профессиональных литераторов, отвечая на спрос предложением. А предложить им есть что. Умные, думающие историки социально-психологического феномена «Россия», острые наблюдатели советских нравов, они дали выразительный портрет времени в книгах «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983) и «60-е. Мир советского человека»

(1988); пронизательные, с глубоким вниманием к новому литературные критики, они отразили существенные моменты современного литературного процесса в «Современной русской прозе» (1982). Основоположный культурный багаж, эрудиция и вера в живое, незатухающее Слово внушили им дерзновенную мысль написать «антиучебник» русской литературы — в соответствии с программой нашей средней школы. В «Родной речи» (1990) — хрестоматийные имена и произведения, однако музейного глянца тут нет в помине: авторы предлагают современное прочтение классики, вслушиваются в ее сегодняшнее звучание: что она значит для нас? Конкретно: для каждого из нас. Заинтересованно прочитанная классика обнаруживает мало сказать касательство к нашим делам: она в них прямо участвует. «Заботы «Родной речи», — пишет А. Синявский в предисловии с характерным названием «Веселое ремесло», — экологического свойства и направлены на спасение книги, на оздоровление самой природы чтения». Задорно, заразительно пишут П. Вайль и А. Генис — нигде не щеголяя эрудицией («неназойливая, необременительная ученость», по слову Синявского); у них раскованная, бесшорная мысль, они интеллектуально свободны. У них точное и яркое, художественное слово, они отлично слышат речь круга, среды, улицы, города — нашу сегодняшнюю речь. Неразрывность их связи с Россией обещает, что они всегда поймут ее язык.

Надо сказать о жанре, в котором они пишут, — об эссе. Чтобы разговор набрал необходимую концептуальность, приведем дефиницию этого жанра в одном из наших последних энциклопедических справочников: «Эссе <...> — прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо ...» (ЛЭС). Доводится слышать (о том говорится и в цитируемой статье), что для русской и советской литературы жанр эссе не характерен — в лучшем случае находят черты эссеистического стиля у Герцена, Достоевского, Олеси или Пастернака. Однако эта меланхолическая констатация не отвечает на вопрос, почему у нас никак не привьется столь благодарный жанр, буквально обреченный иметь друга-читателя — или недруга, если хотите, — то есть жанр, у которого не может быть равнодушного читателя. Ответ между тем нелицеприятно прост. Жанр требует «личности», для него характерна установка на единственный и неповторимый «голос». Это сольный жанр, и во времена, когда гудит слианный хор, на него нет спроса. В наших, русских условиях действовало еще и то остерегающее обстоятельство, что литературе вменялось быть сугубо серьезной, «поднимая вопросы» (эта такелажная задача лежит на ней, как канюва печать). Но эссе совершенно не обязано быть (или выглядеть) легкомы-

сленным, смешить: ему предписано быть остроумным в том смысле, который сейчас забывается, — «изобретательность, тонкость, острота ума». Как бывают остроумными теории, вовсе не располагающие к улыбке, — например, о происхождении человека от обезьяны.

Вайль и Генис — записные эссеисты, они сами и жанр счастливо нашли друг друга... Читая их, к ним располагаешься, потому что за каждое свое слово они отвечают — они не вторят хору, и с ними хочется спорить или соглашаться.

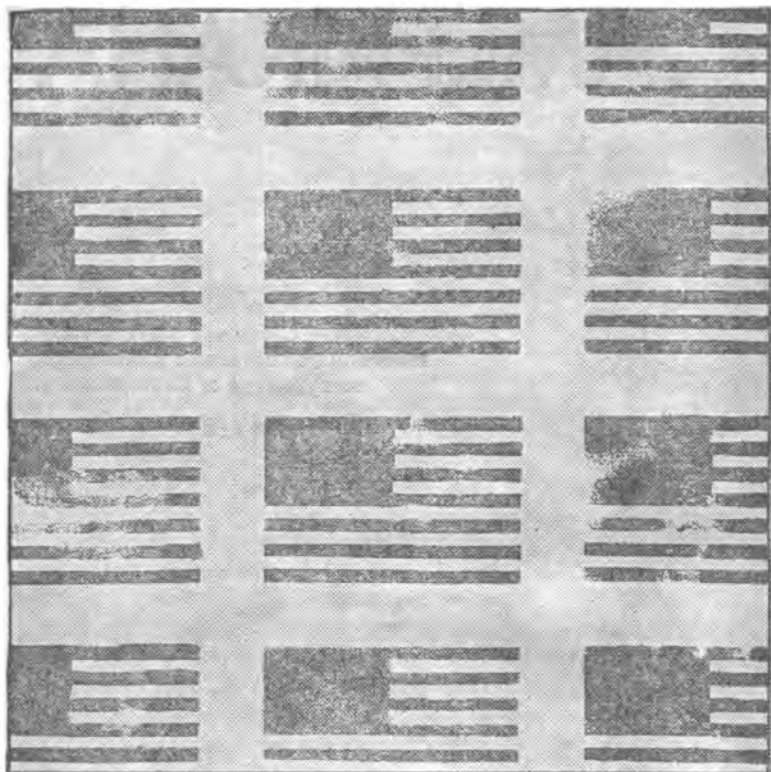
Пожалуй, удачнее всего эссе пришлось для «Американы». Ведь этимологически эссе обозначает «проба», «попытка», а что как не попытку или пробу новой жизни представляет нам эта книга? В «Потерянном рае» авторы характерно оговорились: «Мы не приобрели вместе с американским паспортом американскую ментальность. Мы просто стали другими — эмигрантами». С присущей им жизнелюбивой пытливостью П. Вайль и А. Генис постигают далеко не умозрительную для себя науку эмиграции, со-жительства с чужим. Герои (авторы) книги никогда не станут американцами (о чем они не сожалеют): оставаясь русскими, они ищут общий язык с Америкой. Тем же, в частности, озабочены и мы здесь, отчего элементарная полезность этой книги не вызывает сомнений. В отличие от наспех составившихся восторженно-пугливых туристических впечатлений и, за редкими исключениями, аптекарски взвешенных «хорошо» и «плохо» командированных профессионалов, мир «Американы» — для авторов — это вынужденно принятая данность (их «не спрашивали»), и решают они нешуточную, робинзоновскую задачу выживания, сохранения себя. Насколько это удастся — судить читателю, а чем это удастся — про то авторы одни знают.

Летом 1990 года П. Вайль и А. Генис приезжали на родину — с творческим отчетом, говорили они. «Американа» — их первая книга, выходящая здесь, а не на Западе.

АМЕРИКАНА

Американа — собрание материалов,
имеющих отношение к Америке,
ее культуре и цивилизации.

Толковый словарь Уэбстера



О СМЫСЛЕ АМЕРИКИ

В России мы, естественно, были западниками. Ощущение исторической неполноценности российской жизни самым натуральным образом вытекало из неполноценности нашего быта, правительства, общества.

Наша эмиграция пришлось на бесцветную эпоху, расплывшуюся тусклым пятном между хрущевской и горбачевской оттепелями. Для людей, которые с определенным сомнением причисляли себя к евреям и интеллигентам, Запад казался прямой противоположностью России. Точнее — Запад был всем миром, за исключением России.

Мы все были в плену теории, которую Бродский определил как «геополитическую детерминированность своей судьбы — концепцию деления мира на Восток

и Запад». Конечно, наивно размещать полюсы добра и зла по разным сторонам света. Жизнь сложнее компаса, а ведь и его стрелка реагирует на магнитные аномалии.

Однако сейчас наше жеребьячье западничество кажется вполне простительным. В конце концов, мы выросли в стране утопии. Выросли в уверенности, что если утопии нет в России, то где-то (на Западе) она должна все-таки быть. Пожалуй, это историческое заблуждение мы разделяли со всей эмиграцией. Тем драматичнее было открытие, что на Западе сохранить свой западнический пафос труднее, чем на Востоке.

Годы, прожитые в Америке, основательно поколебали устои нашей молодости. Все чаще мы замечаем, что говорим и пишем об Америке с той же горячностью, с какой говорили и хотели бы писать о России в своей прошлой жизни.

Разница, конечно, грандиозна. Негативное отношение к родине было явлением общественным и наказуемым. Америке безразличны и наша любовь, и наши обиды.

Отношение к Америке — глубоко личная проблема. Правда, в эмиграции встречаются люди, чаще всего публицисты, которые видят в поклонении Соединенным Штатам свой моральный, если не материальный, долг. В газетах они пишут Белый дом с больших букв, а Кремль — с маленькой. Их дети не говорят по-русски. На столе у них стоит виски и звездно-полосатый флажок.

Но и это — их частное, интимное дело. Как любовь к жене. При этом не стоит забывать, что личные проблемы самые тяжелые. И если Америке нет дела до нашего к ней отношения, то нам-то есть! Вот мы и решили представить Соединенным Штатам список их злодеяний. А поскольку трудно поверить, что госдепартамент вступится за честь Америки, мы сами же придумали себе оппонента. Попробуем разыграть диалог между А. и Б., где А. — это мы, а Б. — некая абстракция, исповедующая здоровую любовь к Новому Свету, но лишенная восторгов неофита.

Итак, А. и Б. сидели... ну, скажем, за столом переговоров. И вот А. говорит:

А. Прежде всего, мы должны отделить реальную Америку от Америки как риторической фигуры, от американского мифа...

Б. Прежде всего, кто вы такие, чтобы вообще рассуждать об Америке?

А. А мы сами американцы. Хотите, паспорт покажем? Так вот, нам кажется...

Б. Вот именно — вам может только казаться. (Этот **Б.** начинает хамить с места в карьер.— **А.**) Вы живете не в Америке, а в гетто, которое сами же строите. А для того, чтобы этого не замечать, отгородились от окружающего стенами из русских книг, русских приятелей, русской работы. В вашей колонии жизнь идет по законам, вывезенным из России. И вы с провинциальным высокомерием беретесь судить о стране, которая для вас так же непонятна, как острова Фиджи.

А. Позвольте, нельзя же переходить на личности.

Б. Еще как можно. Вопрос тут чисто психологический. Что бы вы ни сказали, это будет суждение неудачников, не сумевших проникнуться духом страны, стать ее частью. Вы живете в Штатах, как герои Короленко,— без языка. Я имею в виду не только ваш ущербный английский, но и язык в самом широком понимании, как средство социальной интеграции.

С типично российской ограниченностью вы принимаете чужой, непонятный язык за язык плохой, неправильный. Понять страну можно только изнутри, живя в ней — зарабатывая деньги, влюбляясь, выбирая президентов, воюя за нее, наконец.

А сидя в гетто, можно только обижаться на Америку за то, что она не похожа на ваше о ней представление.

А. Ну, во-первых, то, что вы называете гетто,— тоже часть Америки. Если есть свобода нырнуть в правильный котел, то есть и свобода держаться от него подальше.

А во-вторых, наблюдения снаружи не менее ценны, чем те, которые делают аборигены.

Чужую жизнь можно понять только в сравнении. То, что кажется естественным американцам, поражает иностранцев.

И потом, что значит понять страну, народ? В конечном счете, понимание — продукт интуиции. Никакой опыт, никакая статистика, никакое знание не могут быть всеобъемлющими. Любой пример опровергается контрпримером. Сами слова «русский», «американец» есть непозволительное обобщение. Вот Ортега-и-Гассет писал: «Свести необозримое множество собы-

тий и фактов, из которых складывается историческая реальность сегодняшнего дня, к короткой формуле значит несомненно допустить сильное упрощение, т. е. преувеличение. Но всякое мышление является вольным или невольным преувеличением. Кто боится преувеличений, должен молчать».

Б. Ну-ну. Не молчите...

А. Так вот, столько лет живя в Америке, мы не перестаем себе задавать вопрос: в чем идея этой страны? Какова ее цель?

Американская мечта давно стала явью. В этом обществе каждый получил возможность вести свободную, независимую и обеспеченную жизнь. Но — куда вести? Дальше-то что? Не сводятся ли просветительские надежды основателей американской республики к элементарному комфорту? Не превратила ли американская мечта гражданина великой страны в простого обывателя?

Достигнутое благосостояние оказалось слишком близкой целью. Представление о счастье сводится к грандиозному супермаркету, лужайке с бассейном, яхте, самолету и т. д.

Двести лет назад, да еще для полуфеодальной Европы, изобилие казалось духовной целью. Но разве можно сказать это сегодня? Разве владелец собственного дома стал нравственно и интеллектуально лучше, выше, чем тот, кто живет в бараке?

Сами американцы ощущают застой в их общественной жизни, отсутствие глобальных, общенациональных целей.

В романе нобелевского лауреата Сола Беллоу «Планиета мистера Саммлера» есть персонаж, который предлагает фантастический проект колонизации Луны. По его мысли, в этом нет прямой практической необходимости, но есть необходимость духовная. Дать Америке невероятно трудную задачу, которая потребовала бы от народа духовного порыва, подобного тому, который проявили пионеры, осваивая дальний Запад.

Да и Рейган пытался внушить стране представление об исторической миссии американского народа как всемирного защитника свободы. Определение Рейгана России как империи зла — по сути, призыв к духовному крестовому походу.

Америка, в отличие от Европы, родилась из идеи,

«на кончике пера». Идеализм был ее фундаментом. Но сейчас этот фундамент стал сугубо прагматичным.

Декларация независимости провозгласила право на счастье, которое выродилось в право на комфорт. Разве это одно и то же?

Б. Беда в том, что вы мыслите абстрактными категориями. Вам нужна глобальная, облагораживающая человечество цель? Пожалуйста, коммунизм. Тут есть все — и всемирный охват, и энтузиазм (когда-то — искренний), и никто не может пожаловаться, что мечта о коммунизме стала слишком близка к осуществлению.

Вера в общую цель всегда приводит к тоталитаризму. Цель подавляет личность, и ее охотно приносят в жертву утопии.

Америка стоит на свободе отдельной личности. На том, что абстракция — государство, теория, утопия — не вмешивается в жизнь конкретного, уникального человека. Америка стала раем, во всяком случае приблизилась к нему больше любой другой страны, именно потому, что никогда не обещала рая всему народу. В Декларации независимости сказано не о счастье, а о «праве на поиски счастья». И каждый волен понимать эту фразу по-своему. Это и есть свобода, конкретная, реальная свобода человека жить так, как он хочет.

А. Ну и как же он хочет? В какой сумме выражается его реализованное право на поиски счастья?

Б. Ваш сарказм по отношению к деньгам в первую очередь порожден неспособностью их заработать.

Брезгливое отношение к деньгам вы привезли с собой как часть советского интеллигентского комплекса. Там процветала манихейская теория разделения жизни на верх и низ, на дух и тело. И деньги, конечно, относились к приземленному, материальному уровню. Потому их и не было. Или наоборот — из-за того, что не было денег, родился этот уродливый миф.

Так или иначе, вы живете в подспудной уверенности, что духовность противостоит богатству. Это логика на уровне Буратино.

А ведь на самом деле деньги — это средство творческого преобразования мира. Перестроить мир не ради возвышенной абстракции, а ради удобства человека.

Деньги — это не цель, а средство. Успех в предпринимательской деятельности — реализация духовной потенции личности. То-то миллионеры работают по 60

часов в неделю. Не страсть к наживе ими движет, а чувство социальной ответственности за общество.

Собственность — это звучит гордо. Только в стране хозяев личность может сохранить свою свободу от государства, от теоретических химер.

Об этом писал еще Джефферсон: «Каждый, благодаря собственности, которой он владеет, заинтересован в поддержании законов и порядков. Такие люди могут надежно и с успехом сохранить за собой полный контроль над своими общественными делами и ту степень свободы, которая в руках городской черни Европы сразу же привела бы к разрушению и уничтожению всего народного и частного».

Надеюсь, вы не забыли, во что превратила Россию чернь, лишенная собственности? Не зря теперь пытаются сделать советских людей хозяевами.

А. Обратите внимание, уважаемый пылкий Б., что вы говорите не о работе, а об успехе, то есть о рентабельности, прибыли, окупаемости, победе в конкурентной борьбе.

Вашему хозяину, в принципе, безразлично, чем именно заниматься: держать бакалейную лавку, писать музыку, выпускать авторучки. И действительно, мы знаем одного профессора, который бросил университет, чтобы открыть ресторан. Американцы запросто меняют работу, если в другой компании платят на 10 % больше.

Так что они ищут — творчества или денег?

Б. Не судите на свой аршин. В вашей шкале престижа профессор стоит неизмеримо выше ресторатора. Но ведь это липовая иерархия! Почему Америка должна с ней считаться? Свободная личность проявляет себя, как и где хочет. Человек выше схемы. На этом великом принципе построена Америка, и, как видите, работает он прекрасно до сих пор.

А. Хорошо, пусть этот принцип безупречен, как, впрочем, и любые другие принципы — от законов Ликурга до «Морального кодекса строителя коммунизма». Согласимся с тем, что американец — это свободный человек, реализующий свои творческие потенции в предпринимательской деятельности. Но давайте посмотрим на него поближе.

Вы говорите, что наша иерархия липовая. Однако и американцы живут согласно некой системе ценностей. Взглянем на мистера Смита, который свободно и неза-

висимо выбрал себе точно такой же образ жизни, который ведут миллионы его соседей.

Жилье его находится не в городе и не в деревне, а в пригороде, говоря по-русски, на даче. Его кожа гладка, одежда опрятна, машина современна, дело доходно, жена хозяйственна, дети послушны, собака дружелюбна.

Жизнь мистера Смита подчинена строгому ритуалу, который не делается менее обязательным оттого, что выбран им добровольно. Служба, коктейль, телевизор. По пятницам — покер с соседями. В субботу — шопинг¹. В воскресенье — покраска забора.

Работает он там, где больше платят, а живет там, где ближе к работе. Он действительно хозяин в своей стране, потому что в любой точке США его ждет точно такой же коктейль, телевизор, соседи.

Его жизнь предопределена до мельчайших деталей. Вся она — цепочка причинно-следственных связей. Учеба — чтобы зарабатывать, жена — чтоб семья, банк — чтобы на старость.

Что же после этого удивляться, что американцы так моложавы и так скучны. Жизнь, прожитая столь здоровым образом, не дает состариться и даже повзрослеть. Она лишена внутреннего драматизма, глубины, эмоционального и интеллектуального достоинства.

Американцы часто кажутся нам существами двухмерными, как персонажи мультфильмов. Или как силуэты американских городов, которые ведь тоже похожи на театральные декорации. Небоскребы — вырезанные из бумаги фигурки, лишенные глубины, объема.

И отношения между людьми тут рационализированы, упрощены, сведены к удобству и этикету. Люди вступают друг с другом в контакт в служебном качестве — коллега, партнер, жена, даже любовница.

Когда смотришь на Америку со стороны, особенно из России, она кажется прекрасной. Но вблизи, в тесном, непосредственном контакте, американская жизнь представляется упрощенной, выхолощенной. Она сродни гигиенической и безвкусной здешней кулинарии.

Вот вы смеялись, когда мы рассуждали о целях. Но послушайте, что говорил своим соотечественникам американский писатель Генри Торо: «Главное, чего не

¹ Поход по магазинам. *Здесь и далее примечания редактора.*

хватает в каждом штате, где я побывал, было отсутствие высокой и честной цели в жизни его обитателей. Когда культура будет нам нужна больше, чем картофель, а просвещение больше, нежели засахаренные сливы, тогда будут разрабатываться огромные ресурсы мира, а результатами или главными продуктами производства будут не рабы, не чиновники, а люди — эти редкие плоды, именуемые героями, святыми, поэтами, философами и спасителями».

Это было сказано 125 лет назад. Ну, и как с урожаем?

Б. И вы серьезно говорите это про Америку, куда, например, свозят каждый год почти все Нобелевские премии?

А. Кстати, один физик говорил нам, что сегодняшняя наука в США делается руками эмигрантов. Получается, что Америке есть чем платить ученым из Европы или Азии, но она не может сама производить новые поколения интеллигенции. Все время нуждается в притоке свежих мозгов.

Б. Шарлатан ваш физик. Пусть покажет соответствующую статистику, прежде чем делать такие бредовые заявления.

Но дело даже не в этом. Вы принимаете внешнюю сторону жизни за ее внутреннюю сущность. В действительности нет никакого мистера Смита, а есть миллионы *разных* людей. И каждый из них живет неповторимой, уникальной, загадочной жизнью. Я, например, знаю одного программиста, который подходит под ваше описание. Так вот, каждый год этот, по-вашему, заурядный человек на месяц отправляется в джунгли Бразилии и бродит там в полном одиночестве, изучая индейские диалекты.

Вы хотите свести Америку к стереотипу, который существует только в вашем эмигрантском воображении. Ну а как быть с тем же Торо? Разве он не продукт американской цивилизации, которая порождает самых острых критиков собственной системы? Ведь эта страна существует в динамическом равновесии, которое вы принимаете за ущербную упрощенность.

А. Вы отвергаете возможность обобщений? Но вспомните, когда подлетаете на самолете к любому американскому городу, внизу простираются мили застроенных одинаковыми домишками пригородов. Раз-

ве не отражается в этом единообразии общенациональная система ценностей?

А если взять телевидение? Из года в год, из вечера в вечер Америка смотрит сериалы, в которых жизнь разворачивается именно по той упрощенной схеме, о которой мы говорили. Американское массовое искусство работает на крайне примитивном материале крайне профессиональным способом. В этом его опасность.

И почему, черт побери, в стандартный американский гарнитур не входят книжные полки?

К чему вообще сводится здесь духовная жизнь?

Мы привыкли считать, что высшим продуктом цивилизации, ее целью и оправданием, является культура. Только в ней проявляется совокупный человеческий гений.

Но в Америке культура низведена до второстепенного уровня. Часто ее просто подменяют постыдными суррогатами. Женские романы в супермаркетах и Достоевский — это не одно и то же. И Феллини нельзя сравнивать с Сильвестром Сталлоне.

Не потому ли американская жизнь представляется такой духовно скудной, что из нее изъяли за ненадобностью стержень культуры?

Вот в Советском Союзе, закрытом тоталитарном обществе, европейский пиетет к культуре сохранился несмотря ни на что. Мы как-то выступали с лекцией в одном пенсильванском университете, где общались со студентами гуманитарного факультета. Надо признаться, что их советским сверстникам было бы не о чем говорить с этими студентами. Даже американскую литературу они знают «от сих до сих» — только то, что в программе. А ведь это будущее американской интеллигенции.

Пренебрежение культурой мстит за себя. Старая европейская система ценностей распадается, а новая не появляется...

Б. Российский пиетет к культуре основан на недоразумении. Там, в условиях нищеты и бесправия, книги, искусство вообще стали убежищем, в котором личность прячется от хищного общества. Отсюда историческая любовь к культуре, заслоняющая реальную жизнь.

Вы нападаете на Америку с позиции «кухонного аристократизма» советской интеллигенции. Измерять уровень культуры количеством прочитанных книг —

смешная нелепость. Есть тут что-то от средневековой схоластики. К Новому Свету не подходят критерии Старого. В Америке заботятся не о творчестве совершенной культуры, а о творчестве лучшей жизни. Здесь поклоняются не музею, а свободной личности. Творческой!

Вы оплакиваете гибель культуры, но на самом деле речь идет только о той культуре, которая соответствует вашим представлениям. Как пишет Бродский: «Культура гибнет только для тех, кто не способен создавать ее, так же как нравственность мертва для развратника».

Америка не страна, а цивилизация. Новый виток в развитии человечества. Ее разнообразие, противоречивость создает новое качество жизни.

Люди умирающей античности с ужасом глядели на христиан, этих варваров, презирающих утонченную языческую культуру, поклоняющихся распятому безумцу, верящих в нелепые чудеса.

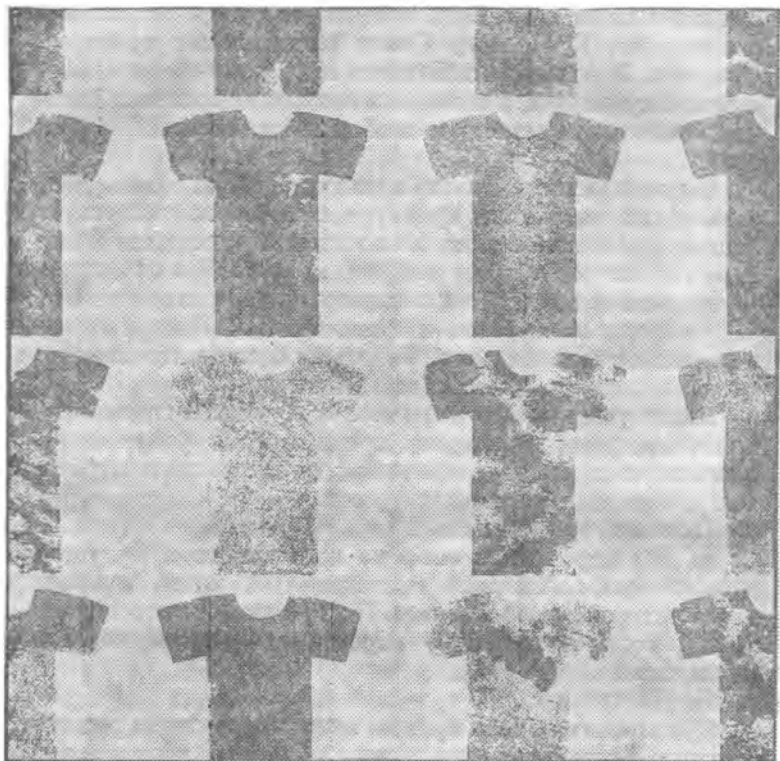
Похоже, не правда ли?

А. Вы переносите спор из настоящего в будущее. Может быть, Америка станет такой, когда откроет свою историческую миссию. Но произойдет это только тогда, когда мещанство перестанет быть и нормой и идеалом.

Б. Да что вы...

Тут мы, пользуясь правом авторов, заткнем рот оппоненту. Если бы мы знали, чем закончить этот диалог, мы не стали бы его вести. Ведь, как ни крути, А.— это мы, но и Б.— это тоже мы.

В эмиграции раздвоение личности не исключительное, а нормальное состояние. И только наивные люди думают, что с самим собой проще договориться.



О ПОРТАТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ

«Готовь сани летом, а телегу зимой» — это изречение долго было для нас этнографической глупостью из передовиц. Наш коллега каждый год писал два репортажа — к посевной и уборочной кампаниям: «Готовь сани летом» и «Готовь телегу зимой». И так девять лет подряд, пока его не перевели за талант в инструкторы ЦК.

Суть пословицы мы оценили только в Америке. Оказалось, здесь промтоварами торгуют с упреждением; а мы-то, прилетев в Нью-Йорк зимой, таранились на тапочки в витринах. Благодаря невиданной сообразительности мы уже через год поняли, что летом выставляют плащи, осенью — шубы и т. д. Отсюда, собственно, американцы и узнают, какое время года ждет

их впереди. Довольно примитивный способ, между прочим. У нас все было глубже, метафизичнее: уж если чего не было на витринах, того не было никогда. Потому мы и жили в единении с природой: зимой — мерзли, осенью — мокли, о весне по скворцам узнавали. Тут весна бушует всюю в февральских витринах. Мы больше любим осень: осенью выставляют меха, и женам надеяться не на что. Сейчас они разглядывают платья и мило щебечут («Ах, душенька, тебе нейдет палевое!» — «Мне нейдет палевое?!»), а мы угрюмо смотрим на майки: они дешевле. Они куда интереснее: во всяком случае, на майках что-то написано. И можно воображать, как эти надписи будут выглядеть весной, на телах-носителях:

«Я на этой планете с коротким визитом». Это, конечно, потерявшая надежды девица: вопль о контакте, пусть и неземном.

«Все это и плюс мозги!» Лучше всего в обтяжку на не слишком пышных, но приятных формах.

«Хорошие девочки попадают в рай, плохие — куда угодно». О тех, кто носит такое, не стоит и мечтать: не с нашим английским и не с нашей зарплатой.

«Ядерная война?! Прощай, моя карьера!» Четко вырисовывается подписчик «Нью-Йорк трибюн», стойкий антикоммунист, по молодости лет циник.

«Вступайте в армию: вы увидите далекие экзотические страны, встретите необычных, интересных людей и убьете их». Такое мы надели бы и сами, если бы были похожи на свою заветную мечту: стоим мы, суровые, обветренные, в каждой руке по водородной бомбе...

Подавляющее большинство справедливо полагает, что место философии на самых пыльных полках библиотеки. Слова «антология», «антиномия», «суперфосфат» и «эсхатологический» употребляются только в качестве скороговорок. Вроде «Шла Саша по шоссе и сосала сушку». Если человек может правильно выговорить «экзистенциализм», его принимают в интеллигенцию, и дальше он уже может спокойно играть в домино и ругаться матом, не помяная Кьеркегора. Но это не значит, что философия умерла. Она просто поменяла прописку. Из скучных фолиантов максимы и сентенции шагнули в будничную жизнь. Например, в виде надписей на майках. Придя к такому заключению, мы решили, дождавшись лета, собирать философическую коллекцию, списывая ее с груди прохожих. Довольно скоро

выяснилось, что это самый правильный путь постижения идеологии американского общества. Не читать же, в самом деле, Декларацию независимости. Поскольку женские формы привлекательнее мужских, то первые истины, которые мы обнаружили, были феминистскими: *«Дом — место для женщин. Белый дом, конечно...»*

Мужчин интересуют вопросы пола в более традиционных аспектах: *«Инструктор по сексу: первый урок бесплатно», «Господи, не введи во искушение. Я сам найду дорогу».*

С возрастом, правда, и эта жизнерадостная тема приобретает томный аспект: *«Когда-то было вино, женщины и песни. Теперь — пиво, старухи и телевизор». «Помните то время, когда воздух был чистым, а секс грязным».*

Впрочем, иногда томность переходит в мизантропию: *«Если ты любишь кого-то, отпусти его на волю. Если он не вернется, найди и убей!»* Зато светятся простотой наши защитники, нью-йоркские «копы»¹: *«Обеспечь свою безопасность. Спи с полицейским».*

Молодость жадно ищет ответы на все мировоззренческие вопросы (не только на те, которые связаны с сексом). Философия сама спрашивает и сама отвечает. Иногда глубокомысленно: *«Опыт — это то, что вы получили, когда вам не досталось того, чего вы хотели»*, иногда парадоксально: *«Я безумен, но это предохраняет меня от сумасшествия»*, иногда весьма разумно: *«Жизнь слишком важна, чтобы принимать ее всерьез»*, иногда по-русски: *«Кайф — ответ на все вопросы, которые я уже забыл»*. Последняя надпись украсила бы юношу в майке с текстом: *«Я нюю, чтобы сделать других людей интереснее».*

Но, в принципе, задача философии — построить всеобщую модель мира, в которой не останется места для загадок. Поэтому майки — это энциклопедия, которая решает проблемы, как в практическом, так и в абстрактном ключе. Вот, например, абстрактное рассуждение о дружбе: *«Друзья приходят и уходят, а враги накапливаются»*. А вот конкретный вывод из этого тезиса: *«Вы никогда не узнаете, сколько у вас друзей, пока не снимете дачу».*

Как и положено, в стране бизнеса особенно популярны темы труда и денег. Конечно, *«Единственная*

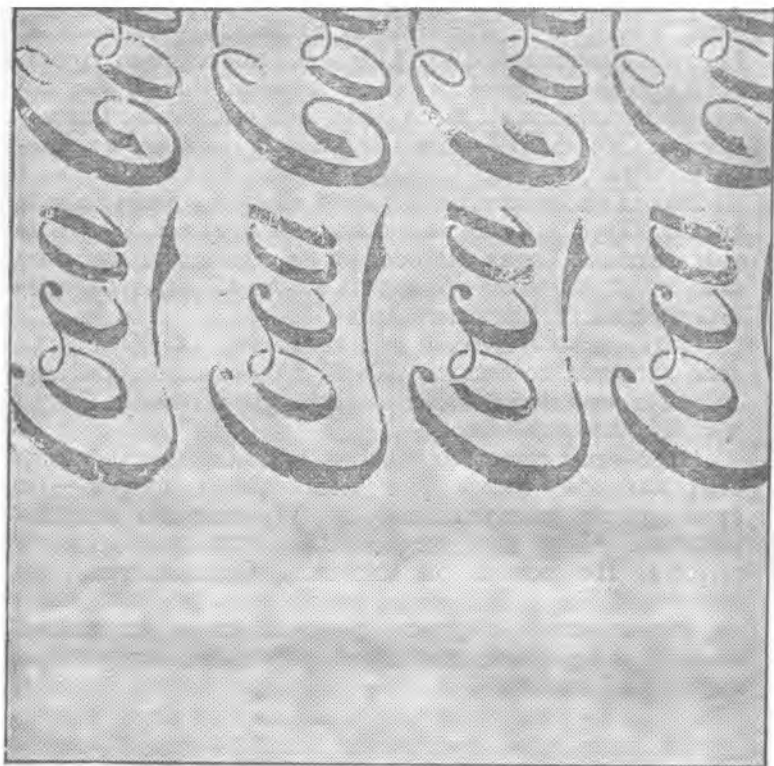
¹ Полицейские.

вещь, которую нельзя купить за деньги, — бедность». Но это не значит, что вся Америка в восторге от трудового процесса: «Что хорошего может быть в дне, который начинается с того, что надо выбираться из постели». Особенно — если «Вся неделя состоит из понедельников».

Выход из этого тупика нашел человек в майке с надписью: *«Труд завораживает меня. Я могу наблюдать за ним часами»*. Такая философия не порождает зла и не вынуждает человека объявлять миру: *«У меня нет предрасположений. Я ненавижу всех»*.

Оптимисты полезней для человечества. Даже если дело касается политики: *«Когда я был маленьким, мне говорили, что любой может стать президентом. Теперь я вижу, что это так»*.

Перебирая свою коллекцию, мы видим, что спектр американской философии необозримо широк — от вульгарного материализма до утонченного неоплатонизма. Чего нам не хватало, так это родного штриха. Но вот и он нашелся. Оказывается, что покойный Карл Проффер, основатель замечательного издательства «Ардис», радовал своих студентов майкой с мудрым лозунгом: *«Русская литература интересней секса»*.



О РЕКЛАМЕ

Мало что мы так ненавидим в Америке, как рекламе. Это и понятно — мы ее знаем лучше, чем все остальные сферы американской жизни вместе взятые. На нас, как и на любого другого среднестатистического американца, приходится по 75 телевизионных «коммершелз» в день — 27 тысяч в год! Плюс по полторы тысячи в день объявлений в журналах и газетах. Плюс уже никем не учтенные рекламные щиты, которые эксплуатируют нас в любой точке страны, за исключением Вермонта, где они запрещены, но, к несчастью, в этом штате мы бываем редко.

Так что каждый американец, включая и новых, — крупный знаток рекламы: он неизбежный ее потребитель. Дилегантов тут не бывает.

Однако нельзя сказать, что мы, эмигранты, воспринимаем рекламу так же, как урожденные американцы. Она для нас все же была внове. Мы не впитали ее с молоком матери, наши первые слова были «мама», «папа», «Ленин», но не «*Good to the last drop*»¹ (этот существующий по сей день лозунг кофе «Максвелл», кстати, сочинил президент Теодор Рузвельт и упоминал в стихах Маяковский).

Конечно, коммерческая реклама есть и в Советском Союзе, мы даже недолго работали в этой системе. Однако там она была не только бессмысленна, но и упоительно анекдотична. Российские торговые объявления — источник роскошных афоризмов, которые до сих пор украшают наши воспоминания: «Монет не опускайте гнутых, вам автоматы не вернут их». Или такое: «Пейте пиво завода «Главпиво».

Казалось бы, в Америке мы должны были стать легкими жертвами изощренной рекламной индустрии, что называется — на новенького.

В действительности на эмигранта реклама действует устрашающе. Можно смело сказать, что распространенное убеждение в бездуховности американской жизни сложилось под воздействием «коммершелз». Идиотизм западной рекламы поразил наши нежные, незащищенные сердца: мы приняли жизнь, изображенную в «коммершелз», за настоящую. И только значительно позже догадались, что рекламу нельзя принимать напрямую. К ней следует относиться как к произведению искусства.

Содержание рекламы не равнозначно предмету, который она стремится нам продать. Ее смысл всегда шире того, что мы видим на поверхности. Рекламу нельзя пересказать своими словами точно так же, как это нельзя сделать со стихотворением или фильмом.

Реклама работает на подсознательном уровне, обращается к иррациональному в природе человека. Ее влияние и глубже и сильнее, чем мы наивно думали, потешаясь над каким-нибудь слабоумным персонажем вроде пропагандиста бытовой электроники Крейзи Эдди. Кого и в чем может убедить этот шут гороховый? Оказалось — нас. Но не в том, что его товары дешевле и лучше, а совсем в другом — в преимуществах нового образа жизни.

¹ Вкусно до последней капли.

Дело в том, что Мэдисон-авеню (это такой же символ рекламного бизнеса, как Уолл-стрит — биржи) занимается не кошельком потребителя, а его душой, причем с большим успехом, чем церковь.

Когда американец смотрит в зеркало, он видит разумного, цивилизованного, жизнерадостного человека. Таким человеком его сделала реклама — она подогнала сырой материал под законченный и совершенный образ делового оптимиста.

Однако рекламные психологи знают, что внутри каждого из нас скрывается совсем другое существо — боязливое, неуверенное, рефлектирующее. Задача рекламы в том и состоит, чтобы внутренний облик совпал с внешним. Результат — проданные товары.

На этом построена вся рекламная тактика. Скажем, косметические фирмы, которые тратят на рекламу больше всех — 20 процентов от стоимости товара, продают нам не крем для освежения кожи, а надежду на вечную молодость. Автомобильные компании продают не машины, а престиж и средство самовыражения. Пивовары торгуют не пивом, а весельем. В Америке продаются не товары, а душевное состояние.

На Мэдисон-авеню точно знают, чего хочет потребитель. Знают потому, что ему не верят. Широкая пропасть лежит между тем, что он думает о себе, и тем, чем он является на самом деле.

Мужчины бреются тысячи лет. И всегда они жалуются на эту скучную и неприятную процедуру. Фирмы, производящие бритвы, решили выяснить, насколько искренни эти жалобы. Нескольким сотням мужчин предложили ответить на вопрос: купили бы они крем, который раз и навсегда избавил бы их от бороды? 98 процентов категорически отказались.

Оказывается, мужчинам нравится бриться. Это позволяет им снова и снова убеждаться в своей мужской полноценности. Естественно, изыскания в области чудокрема, заменяющего бритву, тут же прекратились.

Реклама просто не могла бы существовать, если бы ее авторы верили потребителям. Однажды в Америке произвели опрос с целью выяснить, какой журнал больше всего читают. Выяснилось, что на первом месте высокопородный, утонченный «Атлантик мансли». Если бы это было правдой, тираж журнала был бы в 30 раз больше, чем на самом деле. Но опрошенные врут, стараясь выглядеть интеллигентнее, чем они есть.

Реклама знает людей лучше, чем писатель, священник, политик, — она знает человека лучше, чем он сам. И в этом секрет ее могущества.

В XX веке, веке массовых средств информации, реклама стала частью естественной среды обитания. Она обволакивает нашу жизнь, как воздух, которым мы дышим. Западный человек — продукт рекламных манипуляций. Он выращен по ее рецептам. Между прочим, затраты на рекламу в США приблизились к бюджету школьного образования.

Социолог Маршалл Маклюэн назвал рекламу сегодняшней иконой. В ней спрессован образ современности. Поэтому ничто так полно не отражает социальную историю Америки, как история ее рекламы.

Естественно, что журнальная картинка и телевизионный «коммершелз» имеют такое же отношение к реальным образам, как икона. Чистые девушки, мужественные красавцы, любвеобильные матери, солидные отцы и крошки-шалопай представляют идеальный мир — мир, в котором царят любовь, красота, верность и прочие нетленные моральные ценности.

От рекламы и не требуется реализма. Задавая высокие нравственные стандарты, она порождает особое позитивное мышление. Пусть человек несовершенное, противоречивое, иррациональное существо, но он верит, что есть другой, идеальный мир, в котором жизнь строится по внятным, правильным законам. Задача рекламы состоит не в том, чтобы продать сковородку, а в том, чтобы потребитель подсознательно стремился отождествить себя с героем «коммершелз». Тогда он купит сковородку не для того, чтобы жарить яичницу, а для того, чтобы стать участником идеальной экранной жизни.

Позитивная картина мира приводит к поразительным результатам. Один врач изучал причины уменьшения смертности в США. Он пришел к парадоксальному выводу: помимо улучшения питания и гигиены, продолжительность жизни увеличилась прежде всего из-за того, что начиная с 20-х годов этого века американцы избавились от комплекса беспомощности и безнадежности. Они стали жить с верой в завтрашний день, превратились в нацию оптимистов. И на этой духовной трансформации никак не отразились ни великая депрессия, ни война, ни атомная бомба.

Как тут не вспомнить, что именно в 20-е годы на-

чался бурный расцвет рекламы, которая в то время впервые освоила радио.

Реклама, а не религия или искусство, преуспела в создании новой духовной панацеи. Найдя универсальный способ управления коллективным сознанием, реклама двигает не только торговлю — все общество по пути к нарисованному ею идеалу. И идеалы эти все время меняются.

Слепые экономические законы вынуждают рекламу создавать у потребителей все новые потребности. Чтобы продавать товары, американцев надо ежедневно убеждать жить все лучше и лучше. Но материальное изобилие ставит естественные пределы на этом пути.

В 50-е годы реклама пропагандировала вещи — дома, машины, холодильники. Ее задача была в том, чтобы создать представление: свобода, успех, светлое будущее зависят от приобретения тостера.

Мы видели пропагандистский фильм эпохи Маккарти. В нем зрителям объясняли, почему Америка лучше России. Показывали это так. Средняя семья — муж, жена, ребенок и собака — приходит в супермаркет (собаку, правда, не пустили). Камера ползет по густо заставленным полкам, подробно показывая бакалейные, мясные, фруктовые и прочие россыпи. Наконец в кадре появляются спокойные, полные уверенности в завтрашнем дне лица рядовых американцев. Они знают, какие ценности защищают в холодной войне — материальные.

Такой рекламный образ до сих пор безотказно работал бы в Пензенской области, но в самой Америке привлекательность материального изобилия стремительно тускнела. Чем больше богатели американцы, тем очевиднее становилась ограниченность сугубо материального идеала.

Бунт 60-х родился в первую очередь из пресыщения — не вещами, а идеалом приобретения. Лидер тогдашнего молодежного движения Абби Хофманн говорил: неожиданно мы обнаружили, что все обещания «коммершелз» сбылись. У нас уже есть дом, холодильник, машина, вторая машина. Что дальше?

Дальше были хиппи, которые отказались от рекламной утопии, сочтя ее бездуховной и скучной. Кризис американского образа жизни в 60-е годы оказал благотворное влияние на страну. Из-за него мы живем сегодня в обществе с более высоким, чем раньше, идеа-

лом. Теперь понятие «качество жизни» не ограничивается простым приобретением вещей. Изобилие вынудило рекламу создавать новый, более духовный стандарт потребления.

Если сравнить сегодняшний рекламный мир с тем, который был в 50-е, то мы увидим, что нынешние идеальные американцы стали куда утонченнее, интеллигентнее, взыскательнее. Они пьют хорошие вина, едят заморские деликатесы, слушают оперу, ходят в музеи, путешествуют по всему миру, читают толстые книги, носят экстравагантную одежду. А главное — они ироничны и насмешливы. В них нет той обреченной веры в крепкие моральные устои, которую разделяли все без исключения рекламные герои 50-х, включая и мультипликационных мышат.

Конечно, это не значит, что Америка стала другой страной. Просто рекламный имидж задал другие потребительские ориентиры. Американец не станет покупать сверхсовременные диски вместо граммофонных пластинок, если его не убедить в том, что сейчас правильно вслушиваться в нюансы пения Паваротти.

Раньше домашнюю хозяйку уговаривали купить кофеварку, чтобы готовить кофе, как «дома у мамы». Теперь — чтобы кофе получался, как в роскошном, да еще и заграничном ресторане.

В «коммершелз» 50-х влюбленные познакомились на бейсболе, теперь — на выставке Ван Гога.

Американское общество меняет не политика, а экономика. Необходимость продавать все больше товаров вынуждает развивать вкусы, создавать для новых товаров подходящую среду.

В этой ситуации реклама выполняет грандиозную функцию социального организатора. Тут проявляется ее идеологическая природа. Собственно, реклама является новым видом искусства, которое ведь всегда ставило своей целью пропаганду высоких идеалов. Греческая статуя, готический собор, ренессансная мадонна — все это способы «продать» социальный и нравственный идеал.

Сходство тут даже глубже, чем может показаться сначала. И рекламный художник, и великие мастера прошлого равно несвободны в своем творчестве. И тех и других связывают требования заказчика, вкусы эпохи, художественные шаблоны, эстетический канон.

Художник XX века после многовековой борьбы за-

воевал себе свободу творчества. Но это завоевание оказалось весьма опасным. Чистое искусство превратилось в искусство элитарное. Художник оторвался от масс, что обернулось для обеих сторон трагическими последствиями. На долю толпы достались безвкусовые поделки, художник остался в гордом и голодном одиночестве.

Реклама представляет возможность компромисса. Еще Гете писал: «Принуждение обостряет разум». Коммерческое искусство, в отличие от обыкновенного, вынуждено считаться и с формальными законами жанра, и с массовым вкусом. Однако эти уступки отнюдь не носят фатального характера. Жесткие рамки могут способствовать творческой дисциплине, могут стать стимулом для художественного изыска. В конце концов, вся история культуры совершалась в условиях подчинения творческой свободы определенным формальным правилам — будь то иконописный канон, сонет или классицистская трагедия. В принципе, коммерческие цели мало чем отличаются от любых других, которые мы привыкли считать более возвышенными. Ценность театральных афиш (рекламных!) Тулуз-Лотрека ничуть не меньше, чем других его произведений.

Другое дело, что подлинное искусство рекламы находится еще в зародыше. Рекламой всюю пользуются, но ее еще не привыкли считать искусством. Она еще не оторвалась от старой культуры. Кстати, поэтому не сумели преуспеть в рекламном бизнесе такие мастера, как Олдос Хаксли, Бернард Шоу, Хемингуэй, Фолкнер (все они пытались писать рекламные тексты).

Зато гениальным коммерческим художником стал Энди Уорхол, сумевший освоить искусство массового общества. Замечательные образцы агитационного искусства (та же реклама) дали русские авангардисты.

Как любое новое искусство, реклама еще не осознала своих истинных возможностей, еще не нашла своего специфического языка. Отсюда и чудовищная пошлость подавляющего большинства «коммершелз». В них царит эклектика — чаще всего это смесь проповеди с комиксом.

Но в рекламе все очень быстро меняется — поэтому-то и приходится все время ее менять. Старое перестает работать.

Однажды мы видели всемирный фестиваль «коммершелз», на который 50 стран представили 22 тысячи

своих лучших рекламных роликов. По этому фестивалю видно, как реклама становится искусством. Сюжеты «коммершелз» построены при помощи своих собственных средств. Лаконизм, яркая экспрессивность, минимальный набор приемов. К тому же многие просто остроумнее обычных комедий.

Например, в одном английском ролике показан юноша, который бежит навстречу женщине. Голос за кадром предупреждает: все зависит от точки зрения. Действительно, пробежав мимо девушки, парень бросается к солидному человеку с портфелем. Мы уже решили, что герой — грабитель. Но голос за кадром повторяет свое предупреждение. И тут мы видим, что парень бежал, чтобы спасти предполагаемую жертву ограбления от смерти: на того падает кирпич. В конце появляется только одно слово — «The Guardian». Оказывается, рекламировалась английская газета, которая, как следует из «коммершелз», представляет читателю разные точки зрения на события, да еще и называется «Хранитель».

Вот такой 30-секундный шедевр приоткрывает возможности рекламного искусства. Он, втягивая зрителя в игру, создает динамичный, напряженный и неожиданный сюжет. При этом рекламируется не столько товар, сколько идея. Продается не газета, а имидж английской демократии и терпимости. Выводы, необходимые заказчику, покупатель сделает уже сам.

Другой пример рекламного искусства висит у нас на Бродвее. Огромный, в три этажа плакат изображает обтянутый джинсами зад. Самое интересное, что непонятно, чей это зад — мужской или женский. Тут продаются, опять-таки, не штаны, а идея чистой, отвлеченной даже от пола сексуальности.

Нам кажется, что реклама в лучших своих образцах позволяет заглянуть в будущее современной культуры. Мы живем в век массового общества. Это вопрос не количества, а нового качества жизни. Привыкнуть к этому трудно. Мы часто думаем, что культура умирает, что она задыхается в толпе посредственности. Но вообще-то любая эпоха считала себя декадентской. В любые времена нарождающиеся художественные формы казались, да и были, варварскими. Прошлое всегда прекрасно — мы ведь ценим его по лучшим образцам. Будущее — пугающе туманно.

Однако будущее реальнее прошлого, хотя его труд-

но принять. Современное искусство не может быть элитарным, каким оно было раньше. Оно вынуждено искать массовые формы. В век электронных средств связи мы все связаны воедино, мы — одна большая толпа. И искусство должно это учитывать. Массовое общество постепенно поглощает индивидуальность художника. Мы как бы возвращаемся к временам первобытного фольклорного сознания (об этом писал тот же Маклюэн, который назвал рекламу аналогом пещерной живописи). Искусство перестает делиться на производителя и потребителя — оно вторгается прямо в жизнь, модулирует ее по своим законам.

Поэтому наиболее характерными формами современной культуры являются те, которые не производят предмет искусства (книга, фильм, картина), а преобразуют саму жизнь.

Ну, например, Нью-йоркский марафон, к которому так или иначе имели отношение два миллиона человек. Или фестиваль рок-музыки, организованный в помощь голодающей Африке.

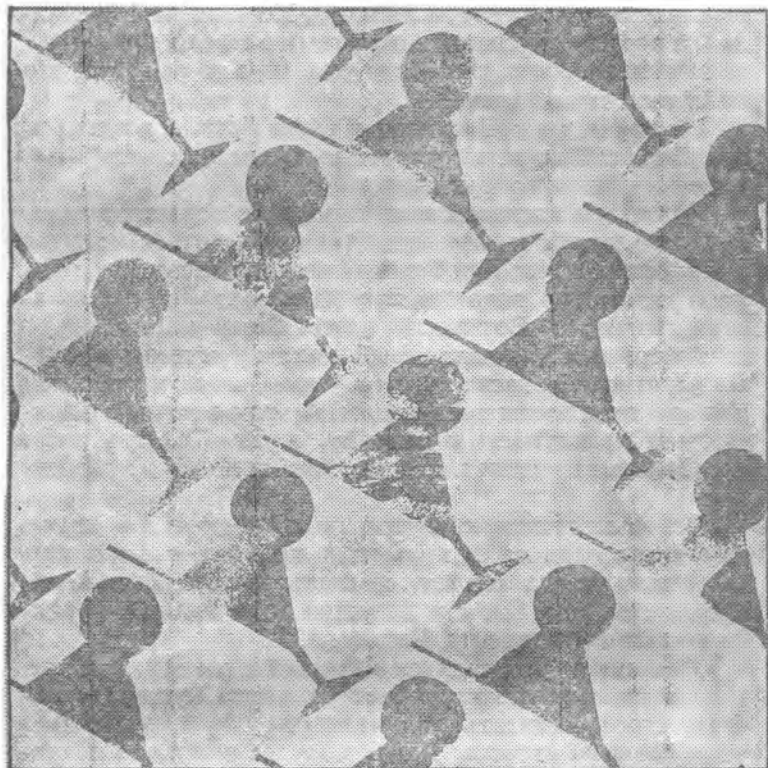
Или совсем уже ритуальное действо — «Hands across America»¹. Сотни тысяч человек протянули руки друг другу через всю страну. Какой смысл в этом фантазматическом хороводе? Может быть, в том, чтобы ощутить свою жизнь хэппенингом, превратить жизнь в искусство, а искусство в жизнь?

Реклама — дирижер таких хэппенингов, искусство организации бытия. Она придает обществу гомогенную структуру, создавая универсальные идеалы и поведенческие стереотипы.

Хотим мы того или нет, реклама внедряет в наше сознание (и подсознание!) свою утопическую картину жизни. Такие манипуляции с бессмертной человеческой душой могут нас возмущать или пугать, но мы не можем спорить с реальностью массового общества.

Эволюция культуры всегда кажется современникам бессмысленной. Смысл в ней обнаруживают лишь потомки.

¹ Букв.: руки через Америку.



О ДРУЖБЕ С АМЕРИКАНЦАМИ

Время от времени мы вылезаем из своего уютного эмигрантского подполья и отправляемся на американское «парти»...

Мучения начинаются с самого слова «парти». Эмигранты, продвинутые в местном языке, произносят его нежно — «пари», люди пожилые говорят «вечеринка», бесшабашные переводят — «балеха», мы же стараемся избегать и этого слова, и этого дела.

Мы любим Америку. Но не настолько, чтобы пересекаться с ее населением. Нам достаточно телевизора и газет, иногда официанта. Но в дело вмешиваются жены. Выясняется, что они тоже люди и что они тоже имеют право повеселиться, как все, а не как эти, кото-

рые до полчетвертого о влиянии Комара на Меламида¹, а воду не спускают и окурками в масло. Они хотят на американское парти — с мужьями, а то не верят, что не соломенные вдовы.

На нас надевают галстуки, велят быть скромными, но общительными, выглядеть умными, талантливыми и не толпиться вокруг спиртного.

И вот мы вступаем в праздничные чертоги американского парти, к нам подводят знакомиться первого американца, и мы, приняв позу легкого интеллектуального утомления, заводим пустой, но остроумный светский разговор: «Вот э найс везер! Везер найс из?»²

Американец, подавленный нашим умственным превосходством, отвечает, что «из», и возвращается к своим недалеким товарищам. А мы с мрачной решимостью приступаем к ритуалу парти. То есть жуем картонные сэндвичи и следим, чтобы водку не разбавляли.

Все американские парти похожи друг на друга. Мужчины садятся в кружок и говорят о машинах. Моргедж всегда растет, машины всегда ломаются, кроме той, что была у дедушки и не знала ремонта со времени президента Вильсона.

Женщины тоже садятся в кружок и говорят о диете. Самая толстая отколупывает от торта кусочек с ноготь, чтобы показать, как мало она ест, а пухнет под воздействием стресса. Дамы похудее злорадно сочувствуют.

Иногда женские и мужские кружки соединяются. Это значит, что пришла пора показывать фотографии — детей, собак, страховых агентов. Мы в этих забавах принимаем участие спорадически: отпустим время от времени тонкую реплику и опять уткнемся в водку «стрейт ноу айс плиз»³.

Незлобные по натуре американцы пытаются рассеять наш сплин. Подходят, спрашивают — откуда, за чем, не проездом ли? А убедившись, что из России, за свободой, навсегда, — широко разводят руки и говорят: «Уэлкам»⁴.

¹ В. Комар и А. Меламид — советские художники, эмигрировавшие в США.

² Какая хорошая погода! Правда, хорошая?

³ Не разбавленную, без льда, пожалуйста.

⁴ Добро пожаловать.

Другие русские (те же жены) иногда пытаются перевести американские партии на отечественные рельсы. Скажем, рассказать анекдот.

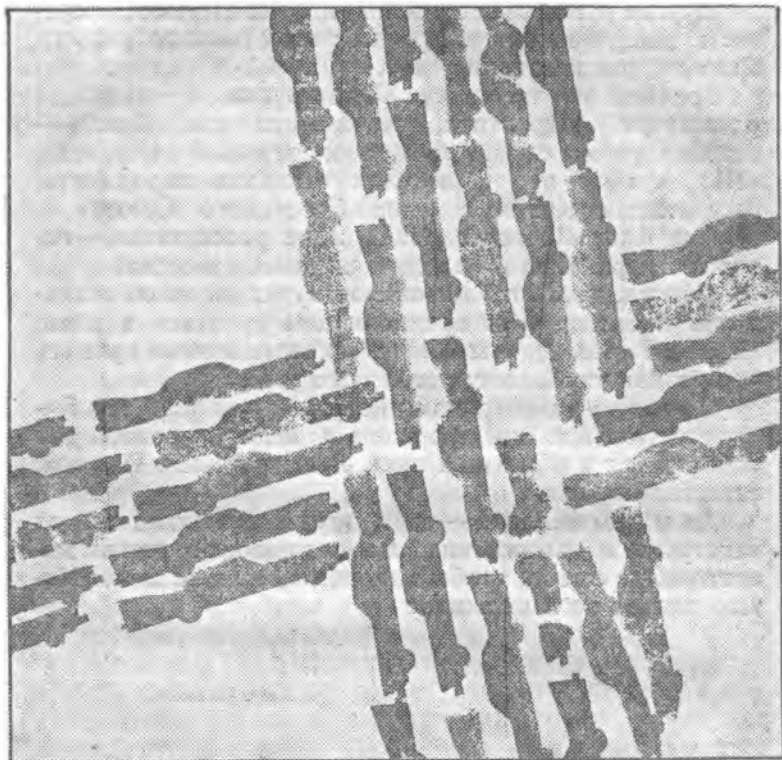
Зрелище это тягостное. «Один чукча...» — начинает рассказчик. «Простите, чукча — это съедобное?» — перебивает вежливый, но любознательный слушатель. «Нет, чукчи — это маленькая отсталая народность, населяющая Крайний север Советского Союза». — «Очень фанни¹, очень. Надо жене рассказать», — говорит американец и отходит, видимо, навсегда.

Нет уж, пусть по-английски шутят люди со стальными нервами. Мы предпочитаем кутаться в плащ Чайльд-Гарольда — мрачное молчание можно принять за признак глубокого, несуетного ума.

Чем хороши американские партии, так тем, что быстро кончаются. Еще про машины недоговорено, а уже собираются в обратный путь. Все довольны. Пьяных, естественно, нет.

Да и нам неплохо — едем домой, освобождаясь от галстуков и напряжения. До следующего партии достаточно времени, чтобы наконец выяснить, зачем Комар влияет на Меламида.

¹ Смешно, забавно.



О ВРЕМЕНИ НЬЮ-ЙОРКСКОГО МЕРИДИАНА

Еще до приезда в Америку мы знали, что все тут непомерно большое. Небоскребы — это банальность, про это знал каждый. Но нам было, например, достоверно известно: в Калифорнии такие крупные апельсины, что девять штук составляют дюжину.

Насчет апельсинов все оказалось святой правдой. Плюс к этому выяснилось, что и арбузы здесь — собака не перепрыгнет. Черника — величиной с черешню, черешня — со сливу, слива — с яблоко, яблоко — с наддувной шарик. И все примерно одинакового вкуса.

Когда мы приехали, Америка соответствовала собственному образу и на улице. То есть автомобили были приблизительно такими, как на знаменитой Американской выставке в Москве. Какие это были машины! Крылья спереди, крылья сзади, в салоне можно на ве-

лосипеде кататься, цвет — «брызги бургундского». Про бургундское никто не знал, а брызги — обожали. Эту роскошь мы успели застать тринадцать лет назад и были горестными свидетелями упадка и измельчания. Японские «тойоты» и «хонды» смутили практичных американцев, забывших свои имперские амбиции. Редко-редко, напоминая о былом величии, проплывает «бьюик» 1968 года.

Зато, чтобы сохранить Нью-Йорку репутацию непомерного города, свое взяли пешеходы. За эти же годы сильно изменилась толпа, став еще ярче, наряднее, экстравагантнее. Правда, рейгановская бизнесменская поросль увеличила общий процент галстуков и жилетов в городском пейзаже. Но неистребимая тяга к крайностям все равно побеждает конформистские тенденции. В целом, несмотря на растущий американский стаж, мы чаще прежнего вздрагиваем и озираемся на улицах Нью-Йорка.

Более всего, конечно, разукрасили город панки. Гордые волосяные гребни на бритых черепах напоминают о книге Джованьоли, а сходство с римскими гладиаторами усиливает обилие металла на панковских телах.

Самое привлекательное в панках — готовность превратить себя в объект эксперимента. Заметим — себя, а не других, что встречается куда чаще. Человек, рисующий себе на лбу оранжевого зайчика или вешающий в ухо амбарный замок, почти наверняка не станет командовать дивизией.

Панки лидируют в украшении города, но они далеко не единственные из тех, кто, не желая останавливаться на полпути, хочет дойти до пределов человеческого воображения. Недавно мы встретили на Восьмой авеню одетую в рыбацкую сеть женщину. Это не аллегория: мы до поэзии не опускаемся. На даме была действительно сеть, причем с довольно крупной ячейей. Под сетью была только сама дама.

В двух кварталах от нас всегда прогуливается с пустой коляской другая жительница Нью-Йорка — полная противоположность той дочери рыбака. Она закутана, как ябеда на катке. На ней шаровары (фланелевые, с начесом), шерстяная юбка, пять-шесть свитеров, толстые носки, купленная у русских эмигрантов пыжиковая шапка. Все это в июле — и ни капли пота на смышленном, живом лице: наша соседка поет, под-

мигивает, что-то умножает про себя. К октябрю, когда станет прохладнее, она принарядится: поверх всего наденет черную плюшевую кофту и глубокие департаментские калоши. К зиме появится шарф того отвратительного сорта, который в детстве назывался «кашне», а в руках — крохотная бутылочка «смирновской». Когда к нам в Вашингтон-Хайтс приезжают гости, мы показываем им замок, вывезенный Рокфеллером из средневековой Европы, и эту славную женщину.

Лучшее время года в Нью-Йорке — осень, но смотреть его, если позволяет климат, надо летом. Когда проходит этот безумный сезон, все мы выйдем примерно одинаково. А уж зимой и вовсе вводится всеобщая униформа: боты и норковые шубы. Зато лето — разгул страстей. Мозги плавятся, делаясь гибче и податливее неожиданным извивам моды. И если сейчас большинство женщин похоже на китайских старшеклассниц, переросших свои прошлогодние штаны, то все-таки обязательно взгляд отдохнет на чем-то свежем и оригинальном.

На Пятой авеню встречаем огромную соломенную шляпу с гроздью винограда и попугаем. Ближе к Сохо из-под пожарных лестниц выходят люди в прозодежде пошива Богородского текстильного комбината. Как-то мы стояли у Публичной библиотеки (совершенно случайно), как вдруг оттуда вышел стройный брונет в ефрейторской шинели — все честь по чести: с погонами связиста Советской Армии с одной лычкой. Он быстро сел в такси, а мы как тогда оцепенели, так до сих пор никому не рассказывали, боясь обвинений в недонесении. Ефрейтор, правда, был в джинсах под шинелью, но это мы, опираясь на свой американский опыт, отнесли на счет перебоев в вещевом довольствии шпионской сети. А может, у них каптенармуса убили.

Вообще приметы советского быта довольно популярны среди нью-йоркской молодежи: то и дело встречаешь девушку в буденовке, как из песни Окуджавы. Негритянские кепки с пуговкой расхватили бы в воронежском сельпо. Лыжные ботинки — изыск наших 50-х — все чаще мелькают на тротуарах Гринич-Вилледж. Россия становится ближе. Когда в «Карнеги Синема» выступал Евгений Евтушенко и возле кинотеатра толпились любители автографов, проходящие мимо че-

тыре молодых негра поинтересовались, зачем толпа. «Ждем знаменитого русского поэта», — ответили любители. Молодежь среагировала моментально: «Пушкина?»

Мы ленивы и нелюбопытны. Попросите любого из своих знакомых назвать негритянского поэта XIX века, и увидите, как он покраснеет от стыда. Можно, конечно, сказать, что негритянские юноши считают Пушкина своим — по арапу Ганнибалу. (Были же времена! У Пушкина прадед был Абрам, у Баратынского — даже отец, и ничего.) Но вот на совместном вечере Евтушенко, Вознесенского и музыканта Винтера позади нас сидел чернокожий атлет лет 25, в шортах, меховом берете и с бейсбольной битой в руках. На шее у него было ожерелье из зубов человека. Атлет очень живо реагировал на происходящее, а когда Андрей Вознесенский читал «Гетто в озере» — оглушительно захохотал. Если учесть, что билеты на эти места стоили по 15 долларов, приходится признать, что сатирически настроенный негр не мог попасть на вечер случайно. Спросить мы постеснялись и решили, что просто теперь на нас мода. Легко вообразить обмен мнениями в вечернем Гарлеме: «На «Янкис» я не пошел. Они — шит¹. И «Никс» я тоже фак². Я был на концерте русских комиков. Много черного юмора. Фан».

Такое внимание следует рассматривать как положительное явление. Как и тот факт, что гомосексуалисты Америки борются за свободу угнетенных собратьев в России. Мы своими глазами на нью-йоркском параде «гэев»³ видели, как желтолицый дальневосточный человек громко выкрикивал: «Рашен гэй — ту Ю Эс Эй!» Солидарность западных гомосексуалистов с советскими имеет давнюю традицию. Известно, что в 30-е годы будущий нобелевский лауреат Андре Жид решительно поставил перед Сталиным вопрос о правовом положении педерастов. Сталин, который не каждый день был кровавым тираном, осадил зарвавшегося Жида, сказав, что ему не до этого: грядет ежовщина и скопилось много более важных дел. Так что педерастов замели вместе с эсперантистами исключительно из-за темноты чекистов, которые путали

¹ Дерьмо.

² ... имел.

³ Название гомосексуалистов на сленге.

одних с другими. Неудивительно, что американские гэи страшатся повторения прошлого, призывая русских коллег на волю.

Эта прослойка населения вообще является достопримечательностью американских больших городов, удивляя и пугая провинциалов и иностранцев.

Надо сказать, пугаться совершенно нечего, в среднем толпа гомосексуалистов выглядит намного интеллигентнее любого другого массового сборища: например, оперного театра или русского ресторана. Это в основном белые молодые люди, чисто и аккуратно одетые, с правильной речью и высшим образованием. Непомерность тяготеющей к предельным крайностям Америки сказывается, конечно, и тут — стоит только побывать в признанных гомосексуальных столицах: Сан-Франциско, Кристофер-стрит в Нью-Йорке, Провинстауне на Кейп-Коде. Странновато наблюдать массовое, многотысячное проявление однополрой любви — как, впрочем, не вполне стандартно проводить время на двуполых оргиях или исключительно среди язвенников. Все, что чересчур, — удивляет. Но удивляет кого угодно, только не американцев. Они как-то привыкли к тому, что все у них чрезмерно. Может быть, потому они так редко и неохотно ездят в Европу, что бродят там, как среди кукольных домиков.

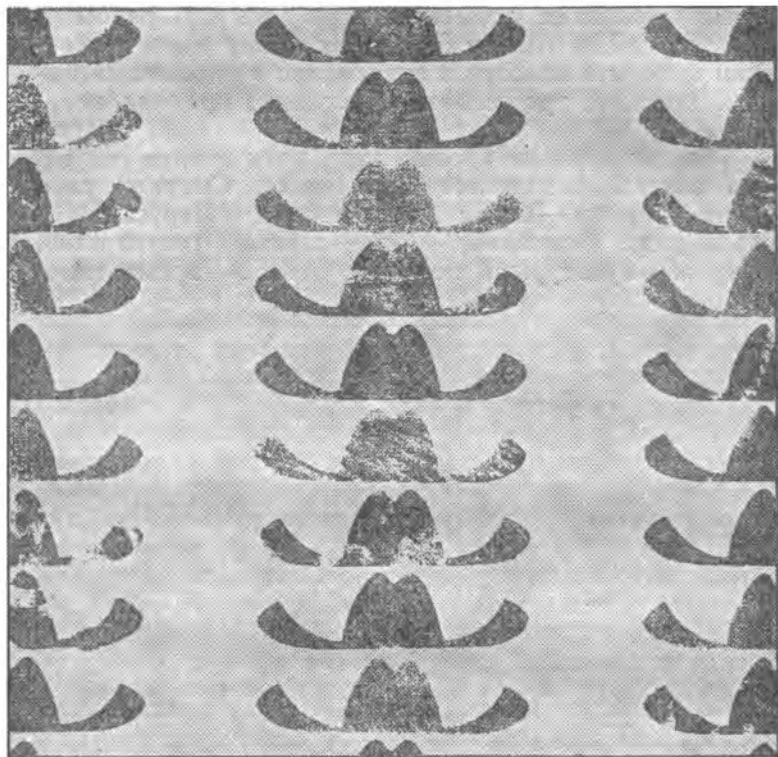
После Нью-Йорка блеклой кажется цветовая гамма любого города мира. Поколения русских людей замирают над строками: «В дождь Париж расцветает, точно серая роза...» Психически здоровый американец только диву дастся: что же хорошего в серой розе. Даже в Оклахоме известно, что роза должна быть ярко-красной, как в том магазине на углу — вместе с тюльпаном, хризантемой и двумя ромашками: вот это букет.

У Нью-Йорка своя икебана, и только с непривычки она кажется смесью цветочных пятен, лиц, реклам, автомашин, платьев. Просто здешняя гамма строится по иным, еще не очень ведомым законам новой гармонии, учитывающим вместе со светотенью и перспективой — скорость, деньги, плотность населения.

Когда Малевич в 1913 году нарисовал свой «Черный квадрат», было не очень понятно, зачем он нужен. И только потом разъяснилось, что Ма-

левич поставил геометрическую фигуру рядом с Джокондой, и только благодаря этому мы в состоянии находить красоту и очарование в параллелепипедах диванов, треугольниках сережек, призмах небоскребов.

Так же пока не вполне ясно, хотя вполне ощутимо высшее назначение Нью-Йорка. Сыграли свои роли Афины—исток цивилизации, Иерусалим—хранилище святынь, Рим—завязь государства, Париж—культурный полигон. Сейчас—время Нью-Йорка.



О ВЕСТЕРНАХ И ТРИЛЛЕРАХ

Как и положено людям, ведущим интеллектуально-растительную жизнь, мы часто спорим.

Спорить лучше на ходу — когда пейзаж движется в ритме неспешной прогулки, подбрасывая пищу размышлениям. Однажды мы вот так неспешно прогуливались по мостовой Квинс-бульвара — главной магистрали этого убогого нью-йоркского района. Минут 20 мы шли вдоль обочины, и только тогда один из нас оглянулся и с ужасом обнаружил, что за нами в темпе похоронного марша едет колонна машин, конец которой теряется в тумане. Обогнать они нас не могли, но почему не задавили, до сих пор не понимаем. Спор, который нам чуть не стоил жизни, а нью-йоркским шофе-

рам — нервов, шел о сравнительных достоинствах вестернов и триллеров.

Дело в том, что, как все российские интеллектуалы, мы обожаем Платона, Шагала и Феллини. Но в свободное от интеллектуализма время предпочитаем Конан Дойла, Шишкина и телевидение.

Однако на последнем пункте наше единодушие кончается. Если один с наслаждением следит за приключениями ковбоев, то другой — за приключениями духа, то есть духов. Ну, знаете, разные там привидения, заколдованные дома, сверхъестественные вампиры, поющие минералы. Каждый из этих жанров находит в нас страстного защитника и не менее страстного обличителя (по одному на жанр).

Тот, кто защищает вестерны, прибегает к таким примерно аргументам: следует руководствоваться моралью вестерна. Нигде библейская этика не выражается так наглядно. Нигде злодейства плохих людей и добродетели хороших не обрисованы так выпукло. Конечно, в вестернах выполнение Моисеевых заповедей сопряжено с изрядной стрельбой. И если один негодяй обидел сироту, то за это будет уничтожен целый негодяйский город.

Но с другой стороны, Библия пестрит подобными примерами. Стоит только вспомнить Содом и Гоморру. Вестерны расчленяют цветную человеческую душу на черно-белые варианты и в таком виде превращают жизнь в притчу, басню, аллегория. А разве не к этому стремилось все искусство? Только Толстому потребовалось четыре тома «Войны и мира», а вестерну хватает полутора часов. Таким образом, смотреть, как наказывают порок и как торжествует добродетель, приятно и для души полезно. К тому же уверенность в счастливом конце избавляет от лишних седых волос.

Перед лицом таких аргументов другой должен был бы отступить, но институт соавторства, как сталинское искусство, признает только конфликт хорошего с лучшим.

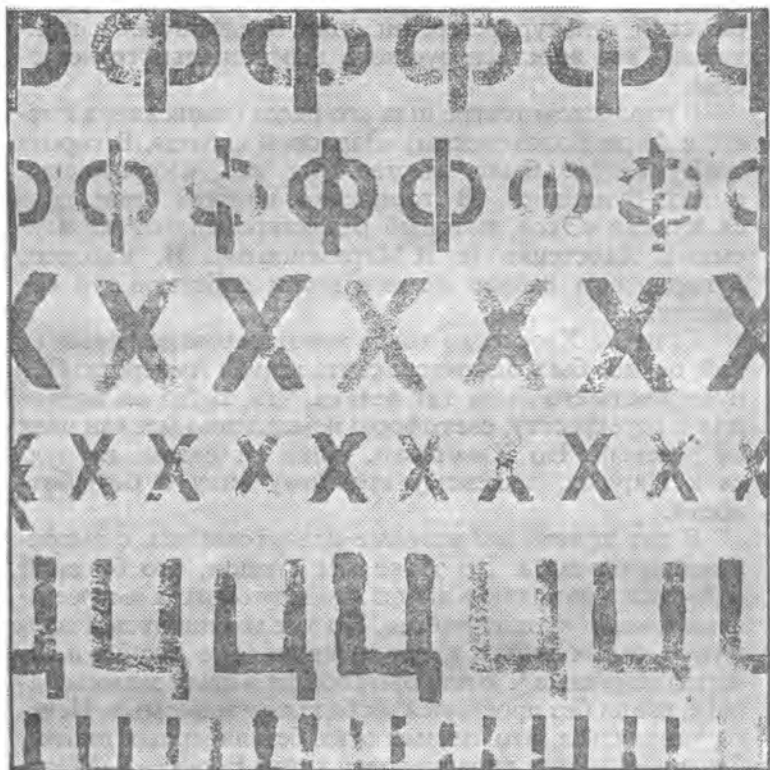
— Да, — говорит соавтор, — вестерны — это, конечно, вещь. Пусть они удовлетворяют наше чувство справедливости. Пусть они зовут к утопическому царству истины, где добро расправляется со злом при помощи винчестера. Но где приключения духа, то есть духов? Где темная часть нашего сознания и подсознания? Где рок, судьба, предначертания? Не упрощают ли вестер-

ны нашу жизнь? Не лишают ли они ее необходимого иррационального момента?

То ли дело триллеры. В них то же столкновение добра и зла и в конце концов тоже все будет хорошо, но поэтика триллера учитывает потребность в ужасном. Катарсис невозможен, если перед зрителем не откроются бездны. А что это за бездна, если на хорошего ковбоя нападают сто плохих? Ведь всем же ясно, что он их перестреляет, как белок. А в триллере хорошую, без предрассудков, семью атакует стадо озверевших вампиров, франкенштейнов или бестелесных, но от этого не менее опасных привидений. Семья, конечно, спасается благодаря кресту или могоендовиду. Но какой урок она вынесет из этого испытания? Если до атаки потусторонней нечисти хорошие, но простые люди жили в позитивистском мире, где за каждой причиной шло свое следствие, то теперь они знают, что мир полнее, разнообразнее и страшнее, чем они думали.

Триллеры составляют компилятивный миф современного человека. Раньше люди искали сверхъестественное в церкви, теперь они черпают метафизику из триллеров в готовом увлекательном виде. Причем за те же полтора часа. Разве это не прогресс?

На этом месте спор приходится прервать, так как в 4 часа по телевизору показывают вестерн. И триллер — по другому каналу.



О ПЛЕМЕНИ СЛАВИСТОВ

Мы приближались к месту нашего назначения — маленькому университетскому городку Амхерст в штате Массачусетс. (В России это название мог выговорить только прилежный читатель Фенимора Купера.) Здесь проходил фестиваль современного неофициального русского искусства и литературы. Мы были его официальной частью — гостями и ради этого случая везли с собой одолженные у солидных друзей галстуки.

Десять фестивалей назад мы присутствовали на открытии этого благородного начинания (без галстуков). Тогда здесь царил Алексей Хвостенко. Па-

рижский культуртрегер, он один представлял американцам все ипостаси русского неофициального искусства.

В городском театре шла его пьеса (написанная вместе с Анри Волохонским) «Запасной выход». В городской галерее были выставлены его «Упражнения в дзэн-буддизме». В городских киосках продавался журнал «Эхо», который редактировал тот же неуемный Хвостенко (с В. Марамзиным). И, наконец, в городском кабаре он пел песни собственного сочинения.

Если бы Хвостенко тогда заинтересовался политикой, он мог бы в одночасье стать мэром Амхерста. Популярность его была так велика, что, когда он подходил к перекрестку, светофоры немедленно меняли цвет на зеленый. Но Хвостенко, устав от славы, вернулся к Парижу, дешевому красному вину и беззаботности.

В тот приезд мы впервые познакомились с американской богемой. До этого мы думали, что богемой в Америке называют людей, пользующихся «мерседесом» вместо «роллс-ройса». Но тут мы влились в коммуны веселых нищих, которые знали все о Джойсе и ничего о моргедже¹. Жили они сообща в немыслимом бараке, спали без простыней и обедали у знакомых. Нечего удивляться, что силами этих безалаберных пиитов была поставлена инсценировка книги Ерофеева «Москва — Петушки». А могли бы осилить и «На дне» Горького.

Памятуя о них, мы приехали в Амхерст, чтобы провести семинар о роли богемы в русском искусстве. Но времена меняются. В сегодняшней Америке бедность непопулярна. Студенты предпочитают изучение хлебных профессий валянию дурака. Оздоровилась общая атмосфера. В кампусах читают не романиста Маркеса, а автопромышленника Айякокку, и мы с нашей темой выглядели как стареющие хиппи, зашедшие погреться в вестибюль банка.

Во всяком случае, аудитория у нас была малочисленная. (Не то чтобы слушателей нельзя было пересчитать по пальцам, но «малочисленная» звучит приличнее.) Зато слушатели представляли все студенческие категории: девочки, которые пришли под угрозой отчи-

¹ Закладная.

сления, старательный юноша с толстой тетрадью, обросший бородой юноша постарше, которого мы приняли за реинкарнацию Че Гевары. (Потом выяснилось, что мы были правы. Бородач пришел, чтобы выяснить, собираемся ли мы свергать президента.) Были, правда, еще и профессора, которые выгодно отличались от студентов тем, что понимали, о чем мы говорим.

Американские слависты заслуживают отдельного разговора.

Их уникальность состоит в том, что только они проявляют хотя бы минимальный интерес к существованию русской культуры. Эта их очевидная ненормальность позволяет осуществлять контакт.

Все-таки приятно сосет под ложечкой, когда встречаешься с безупречным джентльменом, посвятившим себя проблеме «Образ чиновника у раннего Боборыкина».

Конечно, безупречные джентльмены гораздо чаще занимаются не образами чиновников, а стратегическими планами советского генштаба. Помнится, когда мы, желторотые новички, попали на вашингтонский конгресс славистов, нас поразило количество ученых в генеральских и адмиральских мундирах. До тех пор нам казалось, что славистика — мирное дело. Но оказалось, что тема «Энергетические ресурсы гражданской обороны» собирает аудиторию раз в триста большую, чем семинар по поэтике Платонова.

Американские слависты в штатском (к людям в форме мы из трусости не подходили) подкупают своей вежливостью и дотошным знанием одного предмета — своего. Необычайно льстит их прилежный интерес к русским. Мы для них объекты исследования, а это предусматривает определенную загадочность нашей натуры.

Есть, конечно, в таком отношении и кое-какие неудобства. Объекты исследования не должны становиться его субъектами. Согласитесь, что было бы нелепо, если бы вождь племени ирокезов написал грамматику ирокезского языка. Достаточно того, что он им владеет.

Один славист-профессор, а они, как все нормальные люди, обожают говорить о глупостях коллег, рассказал нам забавную историю об отношениях объектов

и субъектов. Писатель Саша Соколов попросил «грант» (стипендию) в солидном университете, чтобы писать новый роман. Ему отказали. Через месяц в этот же университет за «грантом» обратился американский ученый, собирающийся написать диссертацию о романе Саши Соколова. Его просьба была немедленно удовлетворена.

Не то чтобы среди славистов совсем не было русских эмигрантов, но все же их меньше, чем казалось бы нам естественным. Другой профессор, на этот раз коллега по третьей волне, объяснил ситуацию вполне доходчиво. Представьте себе людей, посвятивших жизнь изучению устриц. И вдруг эти самые устрицы заговорили сами. Развязные и нахальные, они претендуют на право заниматься самоанализом. Они утверждают, что лучше посторонних знают свой устричный язык, лучше разбираются в проблемах раковины, мантии и перламутрового слоя, что им точно известно, какая отмель лучше подходит и сколько из них скрывают в себе жемчужину. Может, они врут, может, говорят правду, но ясно, что своей разговорчивостью устрицы мешают плавному течению академической мысли...

Как мы уже сказали, Амхерст находится посередине Массачусетса, Массачусетс — посередине Новой Англии, а Новая Англия — посередине необъятной лесной чащи.

Дикий характер местной природы странным образом отразился на литературной географии этого края. Если благодаря Одессе русская словесность располагает Юго-Западной школой, то благодаря здешним штатам будущие ученые, те же слависты, смогут говорить о новоанглийской русской литературе.

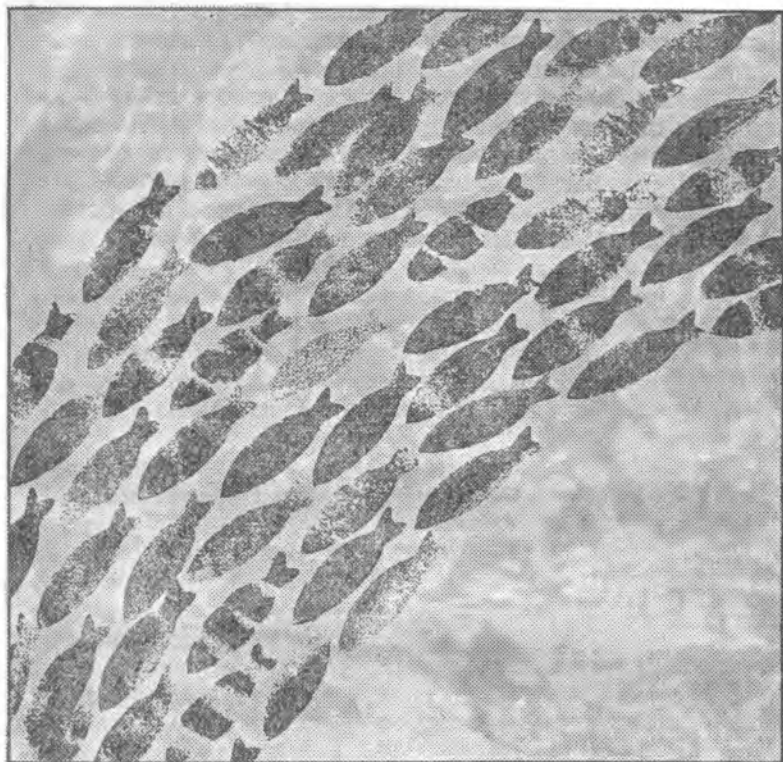
В самом деле, в недалеком Вермонте живет Солженицын. Там же периодически поселяется кочующий Соколов. В соседнем Нью-Хэмпшире обитает поэт Лосев, в Коннектикуте — прозаик Алешковский, и нет ничего странного в существовании русского издательства Романа Левина «Нью-Ингленд корпорейшн».

Кроме того, возле Амхерста стоит дом Бродского, подолгу читающего лекции в бесчисленных массачусетских университетах.

Интересно, что привлекает русскую литературу в Новую Англию? Относительная дикость (говорят,

что медведей здесь больше, чем в Сибири)? Европейские аллюзии британской топонимики? Традиции американской классики?

Лично нам показалось, что этот северо-восточный уголок страны меньше других принадлежит Америке. Прародина Соединенных Штатов слишком старомодна, чтобы быть по-настоящему американской. Не поэтому ли здесь есть фестиваль русского искусства, а «Макдональдз» мы так и не-нашли?



О ПИОНЕРАХ НАШИХ ДНЕЙ

Новый год мы встречали «на природе». Это замечательное, почти забытое выражение возникло из молодости, когда «на природе» — означало все, происходящее за чертой города. С ранних лет не представляя, что можно жить где-то вне каменных домов и асфальтированной земли, мы носили, видимо, в себе не вполне осознанный протест против урбанизации жизни.

Так или иначе, в нашей среде считалось правильным выпить ту же самую бутылку портвейна не в квартире или городском парке, а в дюнах взморья. Позже знакомый врач-нарколог объяснил, что целебный воздух прибалтийских сосен в известной мере нейтрализовал сокрушительное действие крепленых вин — во всяком

случае, позволил дотянуть до Америки с ее кристально чистой и совершенно безвредной шведской водкой «Абсолют».

Вульгарная и презируемая целлофановая сосиска приобретала благородство и букет, будучи поджарена на летучем костре из сухих веточек. И даже скромный друг юности — плавленный сырок («и мой сырок со мною») — преображался, впитывая терпкий вкус хвои.

«На природе» красивее и успешнее всего разворачивались романы, и мы рано научились ценить тишину лесного озера, шум речных порогов и великолепии морского заката — используя их как дополнительные козыри в ремесле неназойливого, но взволнованного увещевания.

При всей утилитарности такого отношения долговременное пребывание «на природе» давало и побочные эффекты, что особенно стало сказываться с сокращением активного и ростом созерцательного начала — неизбежное возрастное перерождение. Попросту говоря, мы привыкли находиться «на природе» и первое время в Америке горько сетовали на каменные джунгли, сочувственно цитируя Маяковского:

Асфальт — стекло. Иду и звеню.

Леса и травинки — сбриты.

Маяковскому простительно: он провел в Штатах три месяца. Прожив здесь чуть дольше, мы выяснили, что не все леса сбриты даже в полчасе езды от Нью-Йорка. Дальше же простирается девственная, как Сибирь, страна.

Это было, пожалуй, самым большим сюрпризом, который преподнесла нам Америка. Уже на севере Нью-Йорка, уже на востоке и на западе Пенсильвании — штатов, занимающих в стране соответственно второе и пятое места по численности населения, — царит дичь и безлюдие. Нечего и говорить о Монтане, Дакотах, Айдахо. Три четверти американского населения живут в двух часах езды от большой воды — одного из двух океанов или Великих озер. Внутри — пустота.

Но даже и эта прибрежная людская кайма прорежена так, что как-то нам пришлось полдня ехать по цивилизованному штату Мэн, ни разу не встретив жилья. Из людей попадалась только обслуга заправочных станций. К вечеру мы обнаружили придорожное заведение — одновременно лавка, бар и гостиница из двух номеров. Остановившись на ночь, мы сообщили, что из

Нью-Йорка, и ответили на стандартный вопрос — на каком языке разговариваем между собой. Хозяева поехали, спросили, сколько продержится Горбачев, а потом сказали, что в позапрошлом году у них ночевал «один из ваших». Мы удивились: «Русский?» — «Да нет, — отвечали хозяева, — один из Нью-Йорка».

Усадьба нашего приятеля Андрея, где мы встречали Новый год, еще ближе к Нью-Йорку, чем тот дремучий постоянный двор: всего два с половиной часа на машине. Но трудно себе представить более тихое, уединенное и дикое место. Цивилизация присутствует: унитазы в усадьбе точно такие же, как на Пятой авеню. Но здесь начисто исчезают всякие представления о том, что где-то есть город, Америка, другие люди вообще. Ничего этого нет. Есть плавный склон, обрамленный огромными елями, крутой спуск к реке, поднимающийся вертикально вверх другой берег Делавера. Взгляду уютно в этом ландшафте. Простор здесь не бескраен, но достаточен. Глаз, упирающийся в покрытую лесом стену, волей-неволей возвращается к более близким предметам. Эта вынужденная пристальность придает некую конкретность окружению. Зрачок и мысль не уходят в никуда, как это случается на море или в степи, и это располагает скорее к сосредоточенности, чем к мечтательности. Как писал поэт Уильям Каупер:

Беспорны мои права
На все, что измерил я взором.

(Возможно, в плоскости рельефа — разгадка исторической судьбы русского народа. Какие уж там права, если взор ничего измерить не в состоянии.)

К усадьбе через лес ведет длинная немощеная дорога. Мы уже лет десять не видали проселочных дорог. Да еще таких, через которые непрерывно скачут косули, еноты и специфически американские звери — скунсы. Косули подходят к самому дому. Им нет дела до того, что мы вытащили на террасу винчестер Андрея и собираемся исказить тишину стрельбой в цель.

В косулю стрелять не хочется. Прежде всего непонятно — что с ней делать потом. Но вдруг, на короткий миг, возникает ощущение оружия, инстинкт охотника и преследователя. Появляется чужое, кажется, чувство, что можешь выстрелить и убить, и не только убить, но и освежать и поджарить на сделанном самим вертеле. Это, надо полагать, нормально. Атави-

стические инстинкты — признак душевного здоровья, сигнал из глубин генной структуры о том, что ты еще существуешь как биологический вид. Но привет от первобытной орды быстро улетучивается, и мы прилежно палим в бесчувственную жестянку на березе.

Родовую память мы удовлетворяем рыбной ловлей — занятием вроде бы более невинным, но, если вдуматься, куда более жестоким. Удел попавшей на крючок рыбы — пытка и медленная смерть. Но человек рыбу не жалеет, потому что она непохожа на него: живущая в воде без рук и ног, совсем чужая.

Приезжая к Андрею летом, мы встаем вместе с ним в четыре часа утра и долго варим кукурузную кашу для карпа. Сами мы пьем пустой кофе, чтобы как следует проголодаться к завтраку, а каша пахнет так, что нас посещает желание заправить ее на молдавский манер мясной подливкой и помидорами и никуда не ходить. В холодильнике остужается что положено, и к завтраку можно достичь полного блаженства. Но нас ждет карп, как ждала Рыба старика Сантьяго, а Белый Кит — капитана Ахава.

Правда, карпа ловит неизменно Андрей. На нашу долю достаются мелкие костистые твари, годные только на первый заброс в уху. Но зато мы смотрим, как сходит туман, на метр покрывавший реку. Мы сидим на разных концах лодки и часами не разговариваем друг с другом, что довольно-таки странно для соавторов. Странность эта легко объяснима — в течение всего времени в голову приходит только одна мысль: за три часа ни одной мысли. Поникнув головой, сидишь посреди реки, сжимая удочку и неотрывно глядя на леску, и понимаешь, что эта нить толщиной в десятые доли миллиметра — единственное, что связывает тебя с природой. Ненадолго. Ненадолго потому, что уже завтра ты окажешься в своей квартире с двадцатью четырьмя электрическими приборами — от кофемолки утром до телевизора вечером, с компьютером, на экране которого ты будешь читать собственные жалобы на бессмысленную пунктирную жизнь.

Но пока вокруг полным-полно шедев. Большие селетки-шеды поднимаются высоко к истокам Делавера, совершенно спятив от икрометания, и ведут себя, как накурившиеся дури подростки. Они ходят неровными кругами вокруг лодки по самой поверхности, так что плавники торчат над водой, словно в фильме «Челю-

сти». Они уже не жильцы, но если не хотят жить, то и умереть с достоинством отказываются. Шеды не клюют, пренебрегая подброшенной к самому носу наживкой с аппетитной кашей и вкусными червями. Кажется, что шеды пресыщенны, как шведы, но на самом деле они просто ничего не соображают. Кашу и червей сжирает мелочь без названия, которую мы все-таки выбросим лишь после того, как выварим, но вся надежда на Андрея. Он бьется с карпом и, конечно, побеждает. На обед у нас гигантская рыба длиной в 30 дюймов. Вес неизвестен. Рулетка у Андрея есть, потому что он строитель. Весов нет, потому что он не торговец.

Еще до того, как мы дали Андрею прочесть великую книгу Генри Торо «Уолден, или Жизнь в лесу», он не раз говорил о своей неприязни к заработку путем торговли и перепродажи чего бы то ни было. Это дело кажется ему вторичным, не основным, не изначальным. Выдающийся писатель и отшельник Торо писал так: «Пробовал я торговать, но установил, что тут требуется лет десять, чтобы пробить себе дорогу, но тогда уж это будет прямая дорога в ад».

Андрей настроен не столь решительно. Многие его друзья, еще с Союза, стали владельцами торговых бизнесов и различными посредниками. Просто для него самого этот вариант неприемлем. Ему не нравится и нынешняя работа: изготовление какой-то мебели. Андрей с точностью подсчитал — когда он сможет окончательно перебраться в усадьбу, чтобы никогда уже не жить ни в Нью-Йорке, ни в любом другом месте с населением больше трех человек, составляющих его семью.

Разумеется, это будет жизнь, ограниченная только необходимым. Но понятие необходимости относительно. У Андрея нет галстука, но есть трактор.

Представить его в галстуке мы не в состоянии, потому что единственный вид одежды, который видели на нем, — комбинезон. Это вполне отвечает завету Торо: «Человеку следует быть одетым так просто, чтобы он мог найти себя в темноте». Формула превосходна, и ей уже давно следуют Андрей и его семья. Жена — в женском комбинезоне, сын — в детском. (Кстати, в английском слове *overall*, в отличие от нейтрального русского звучания, есть оттенок превосходства и торжества: не просто «поверх всего», но и «над всем».) Когда в новогодний вечер все отправились по комнатам переодеваться, мы заключили пари на наряд хозяи-

на. Но он обошел нас, явившись к столу в неизменном комбинезоне, только ослепительной белизны.

Капризная и сугубо личная категория необходимости заставляет Андрея, с одной стороны, не держать дома телевизора, с другой — не расходовать ни фута земли под огород. Земля ему нужна как таковая, он не хочет ее использовать, но готов бесконечно украшать. Ему ничего не стоит потратить день на причудливую раскраску скворечника. Неделю — на резьбу наличника. Месяц — на возведение беседки, которая нужна даже не для питья чая (в ней нет стола), а просто в качестве живописной детали пейзажа, видного из окна.

Торо построил себе примитивнейший дом своими руками, но горько жалел, что так роскошествует, а не живет в ящике. Андрей тоже сам построил свой дом и совершенствует его ежедневно. Все излишества ему необходимы, в них — пафос преобразования. Отшельничество Торо обернулось замечательной книгой. Книга Андрея — его дом.

Дом этот прекрасен, потому что его красота растет как бы сама по себе, изнутри, из нужд и прихотей хозяина, не реагируя на внешние условности — кроме самых естественных, вроде климата. В конце концов, естественный человек остается один на один с собой и с этими незыблемыми законами. Как сказал Торо: «Пока я дружу с временами года, я не представляю себе, чтобы жизнь могла стать мне в тягость».

Андрей резко выделяется из всех наших знакомых. Хотя еще недавно как раз напротив, на высокой горе над Делавером, жил еще один наш соотечественник. Он поселился на вершине в полном одиночестве, огородничал, разводил кур. Но когда внизу провели однокорейку — продал участок и уехал в Монтану. С его горы поезд был едва виден и совсем не слышен, да и вообще по этой дороге проходил один товарный состав в день. Но ненужные реалии вторглись в уединение — и этот загадочный человек отправился на Запад.

Кажется, что такие люди, как новый житель Монтаны или Андрей, не вписываются в Америку. Каким-то устоявшимся общественным мнением признано, что по-настоящему адаптировавшийся американец — это бизнесмен, юрист, врач. И уж, разумеется, горожанин, представитель прославленной и клейменной во всем мире урбанистической Америки. Человек, чью степень

адаптации можно измерить в долларах или автомобилях. Но мы вдруг сообразили, что это неверно. Во всяком случае, в этом нет чисто американской специфики. Преуспевший бизнесмен или врач в Штатах ничем принципиально не отличается от английского бизнесмена и французского врача.

Но вот чего не знает Старый Свет — вернее, что он забыл — это проблема человека наедине с природой. Америка — единственная из развитых стран, где не утрачена актуальность этого вопроса. (Есть еще Канада, но это частный случай той же североамериканской темы.) Европа уже давно беспокоится только о том, чтобы сберечь леса и реки. Там природа уже преодолена и освоена, движения нет. К примеру, во Франции XIV века городов было столько же и находились они на тех же местах, что и во Франции сегодняшнего дня. Они стали больше — это так, но больше их не стало.

Для Америки противостояние человека и природы хранит остроту конфликта. Во многом именно эта борьба сформировала американскую культуру. И неудивительно: перед человеком, пересекшим Атлантический океан, простиралась девственная страна. На ее просторах возник образ первопроходца, преобразователя, героя-одиночки, вдохновляющий американских художников по сей день. Пока Европа прошлого столетия все глубже погружалась в психологизм, признав пригодным для изучения жизни инструментом микроскоп, целостность нетронутого Нового Света не охватывала никакая подзорная труба.

В этом размахе и широте — величие рожденной в Америке культуры. Лучший американский роман XIX века — «Моби Дик» Германа Мелвилла — написан так, будто до него книг не было. «Моби Дик» — сразу обо всем. Существует множество теорий, так или иначе объясняющих книгу. Белый Кит — либо просто кит, либо воплощение мирового Зла, либо символический образ вселенной. Но главное — это то, что должно занимать мысль и дух настоящего человека: нечто огромное, трудно вообразимое и почти непостижимое. Капитан Ахав, гонящийся за желанным и проклятым китом, — это несовершенное божественное создание в поисках мирового совершенства. Невозможно вообразить подобную книгу в современной Мелвиллу изысканной и усталой Европе. По сути, автор «Моби

Дика» бросал вызов Библии, начиная роман фразой: «Зовите меня Измаил»—и сразу вводя библейского героя, сына Авраама и Агари, изгнанника и вечно-го скитальца. (Так позже, в наше время, явились латиноамериканцы, тоже начинающие с всеохватного мифа.)

Прошло больше столетия, и в перекличку с Мелвиллом вступил Хемингуэй. У него тоже человек один на один с окружающим миром. В 50-е годы XX века Америка уже была не задворками Европы, а мировым лидером. Но пафос преобразования и борьбы — тот же. И отношения старика Сантьяго с Рыбой те же — любовь и ненависть. «Рыба,— сказал он,— я тебя очень люблю и уважаю. Но я убью тебя прежде, чем настанет вечер». Каковы бы ни были символы, зашифрованные в Белом Ките или Рыбе,— важно понять, что лишь в молодой стране тема противостояния человека и мира природы могла стать основой, на которой развивалась не только самобытная культура, но и сам человеческий тип американца.

Для социальной и психологической проблематики Америка — не исключение. Страна и культура были ими захвачены так же, как и другие страны и культуры. Но, будучи моложе, Америка сумела сохранить свежесть цельного восприятия жизни, когда битва идет не с общественной несправедливостью или личным несовершенством, а сразу со всем миром — с горами, морями, холодом, зноем. Не с хозяином или дьяволом, а с большой рыбой.

Между книгами «Моби Дик» и «Старик и море» — огромное множество произведений, трактующих эту тему. В них зафиксирована ведущая американская идея: вызов.

Когда у Джека Лондона Смок Беллью говорит: «Почему вы не послали за помощью? Есть большой лагерь на реке Стюарт, и до Доусона всего восемнадцать дней пути», — мы чувствуем восторг и ужас автора. И сами испытываем нечто подобное: всего восемнадцать дней, при минус 40 по Фаренгейту. В этой небрежности — бездны героизма, который в худших своих образцах выродился в телевизионный мордобой детективов, а в лучших — дал Белое Безмолвие, Хемингуэя и Фолкнера.

Фолкнеровский медведь Старый Бен — родной брат Белого Кита и Рыбы. Это сама природа, о чем высоко-

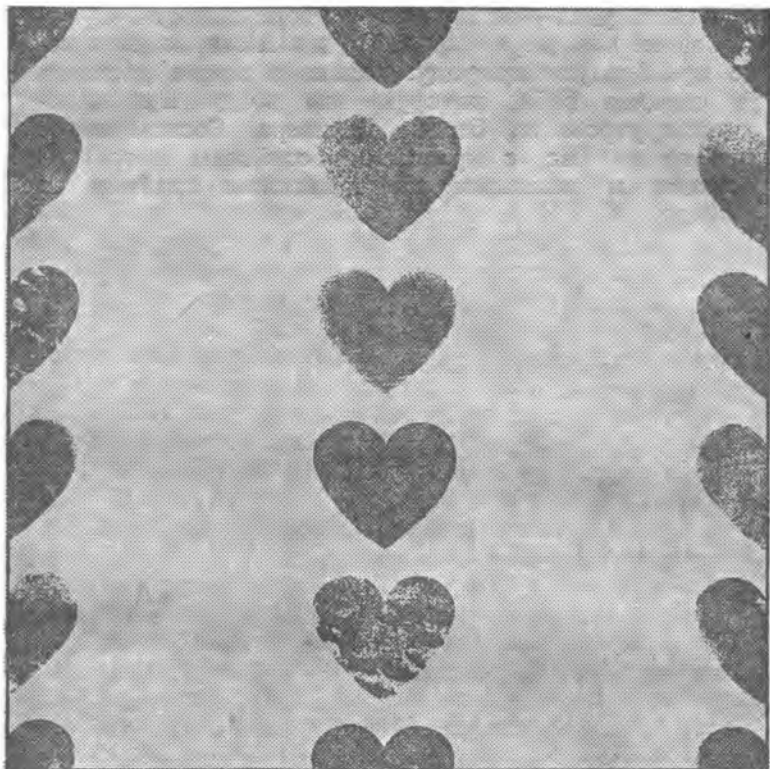
парно и прямо пишет автор: «Медведь, не простым смертным вихрем рыщущий по лесу, а неодолимым, неукротимым анахронизмом из былых и мертвых времен, символом, сгустком, апофеозом старой, дикой жизни». Но если медведь—это старая жизнь, то выслеживающий его мальчик Аик не есть знак новой жизни. Он не только не антагонистичен Старому Бену, но близок и родственен ему. Конечно, Аик самоутверждается за счет зверя, но насколько же гуманнее и честнее делать это за счет природы, а не других людей. И—одному, а не скопом.

Эти принципы лежат в основе американской этики, и в них ровно столько же недостатков, сколько и достоинств. Сама этика как категория жизни человечества находится вне этических оценок. Важно понять, что американская этика самостоятельна и восходит к конфликту одиночки и всего окружающего: конфликту, в котором диалектически достигается гармония.

Древнее ощущение единства мира, когда человек опустил в воду руку и не знал разницы между ручьем, рыбой и рукой, безвозвратно утрачено. Но можно попробовать хоть в малейшей степени восстановить его: через борьбу с природой, а значит—слияние с ней. Именно в этом глубинное значение для американской культуры опыта пионеров. Снова и снова об этом пишутся книги, снова и снова снимаются фильмы, и жанр вестерна не тускнеет. И нет в американской истории званий почетнее, чем «первопроходец» и «поселенец». Это и есть те неповторимые образы, возвращенные миру Новым Светом и закрепленные в шедеврах его культуры.

Движение пионеров не закончилось, что среди прочего доказывает пример нашего приятеля Андрея, у которого мы встречали Новый год. Похоже, что он гармоничнее всех наших знакомых вписался в Америку—именно тем, что не сделал ни малейшей попытки вписаться. Эта установка на индивидуализм и есть, пожалуй, самое ценное, что могла предложить нам Америка. Не видный никому и не видя никого, Андрей выравнивает склоны трактором и выходит с утра на реку, где в ожидании противника набирается сил 30-дюймовый карп—его личный скромный Белый Кит.

А наш удел — эклектика. Неукорененность. Существование меж двух миров. Но и мы стараемся и тоже преобразуем природу: только в марте растаяла та снежная баба, которую мы воздвигали новогодним утром на берегу Делавера. Ростом выше любого из нас, с красным российским носом из моркови и зелеными американскими глазами из авокадо.



О ПРАЗДНИКЕ ЛЮБВИ

Только отсталые пришельцы из Старого Света живут по календарю. Ньюйоркцам календарь не нужен. Течение дней они замечают по праздничным распродажам. Декабрь — месяц Санта-Клауса, из мешка которого валят рождественские подарки. Январь принадлежит Мартину Лютеру Кингу. Февраль знаменит президентскими «сэйлами»¹. То поодиночке, то вместе Вашингтон и Линкольн предлагают ньюйоркцам автомобиль или соковыжималку за полцены, за четверть, за одну десятую. Можно с уверенностью сказать, что отсталые элементы принимают прославленных президентов за коммивояжеров. И надо же, чтобы между двумя мощ-

¹ Распродажами.

ными распродажами затесался скромный романтический праздник — Валентинов день. 14 февраля каждого года уже больше двух тысячелетий влюбленные всех западных стран отмечают праздник любви. Валентином звали святого, но он попал сюда по ошибке. На самом деле это древний языческий праздник, в который молодые люди разного пола обменивались подарками с изображениями Купидона (так что все эти бесчисленные открытки с амурчиками пришли в Нью-Йорк прямиком из античности). О том, что происходило после обмена подарками, с известной откровенностью рассказала Офелия:

С рассвета в Валентинов день
Я проберусь к дверям
И у окна согласие дам
Быть Валентиной вам.
Он встал, оделся, отпер дверь,
И та, что в дверь вошла,
Уже не девушкой ушла
Из этого угла.

Явно намекая на подобные обстоятельства, 14 февраля Нью-Йорк украшается гирляндами сердец. Хорошо еще, что символом любви западному человеку служит красное сердечко. Вот в Индии для этой цели используется лингам. Представляете Нью-Йорк, украшенный гирляндами лингамов? Впрочем, те, кто не знает, что лингам — это натуралистически выполненный фаллический символ, представить себе такую гирлянду не могут. Те, кто знает, тоже не могут.

В Валентинов день все располагает к мыслям о любви или хотя бы о браке. Поэтому мы заглянули в раздел брачных объявлений одного нью-йоркского журнала. Сделали мы это из платонического любопытства. До этого нам приходилось видеть такие объявления только в эмигрантской прессе. Там они обычно поражают своей трогательностью и нетребовательностью. Вроде: «Я верный друг, и я нежна, хозяйка и совсем одна».

Но оказалось, что и у коренных американцев все не так просто. *«38-летний холостяк, католик, шести футов росту, романтический и привлекательный, владеющий тремя домами и четырьмя бизнесами, ищет женщину до 30, с чувством юмора»*. Вот так: с одной стороны — шесть футов католической плоти и четыре бизне-

са, а с другой — только эфемерное чувство юмора. Каким же невероятным изъясном обладает этот холостяк, что до 38 лет не сумел найти свой, прямо скажем, незатейливый идеал?

А вот обратный вариант: *«30-летняя, очень сексуальная, голубоглазая худая еврейка, сделавшая прекрасную карьеру, хотела бы познакомиться с мужчиной до 40, худым и искренним»*. Допустим, вы или не худой или не искренний. Тоже отчаиваться не стоит. *«28-летняя простоватая серьезная чувствительная еврейка, некурящая, ищет мужчину со вкусом к жизни»*. Господи, ну кто же видел мужчину без вкуса к жизни? Такие лежат на кладбище. А вот объявление, которое заставит трепетно перебирать копытами *любого* представителя сильного пола: *«25-летняя высокая, голубоглазая, красивая блондинка ищет обеспеченного мужчину, возраст не важен»*. Тут все портит только одно прилагательное — «обеспеченного». Где уж нам уж...

Не надо думать, что третья волна, плескаясь в американском океане, не добралась до бракопосреднического дела. Вот следы нашего проникновения на ярмарку любви: *«Еврей, 31, атлет, похож на Барышникова, ищет очень красивую, худую, остроумную, с хорошим образованием девушку до 23, должна быть из хорошей семьи»*. Понятно? Если похож на Барышникова — можешь выбирать, тут спорить не приходится.

Даже самым удачливым эмигрантам знаком синдром неприкаянности. Комплекс чужестранца, который мрачно бредет по посторонней Америке и угрюмо бормочет себе под нос: *«Мы чужие на этом празднике жизни»*.

В такие минуты неплохо полистать брачные объявления. Не для того, конечно, чтобы выбрать подругу (мы с аборигенами, как представители разных ступеней эволюции, практически не скрещиваемся). Нет, просто для того, чтобы понять, что мы не одни здесь бываем одинокими. Что где-то есть богатые холостяки, худые еврейки, атлетические католики, которым жизнь тоже не сахар. Ничто не приносит столько удовлетворения, как созерцание чужой неустроенности.



ОБ ОСТРОВЕ МАНХЭТТЕН

Манхэттен — это остров. Мы точно знаем, потому что однажды объехали его на пароходике.

До этого путешествия уверенности не было. Когда едешь по Нью-Йорку на машине, никогда толком не знаешь, находишься ли в Манхэттене, Бронксе или уже в каком-нибудь Коннектикуте. Про сабвей и говорить не стоит — под землей все равно.

Нет, чтобы убедиться в том, что Манхэттен — это часть суши, окруженная водой, нужно вернуться к водному транспорту. С палубы корабля, даже если это речной трамвайчик, только и можно разобраться в нашем географическом положении. Только так можно убедиться, что мы островитяне. А это дело немаловажное.

Остров всегда интереснее материка. В его замкнутости есть что-то таинственное. На континенте суша уходит в бесконечность, на острове она всегда кончается пляжем.

Отгороженные от большой земли, острова предполагают самостоятельность жизни. Может быть, поэтому здесь больше ощущается вкус к приключениям. Не зря классики авантюрного жанра обожали выносить в заголовки своих прославленных романов эту географическую деталь — «Таинственный остров» у Жюль Верна, «Остров доктора Моро» у Уэллса, «Остров сокровищ» у Стивенсона. Да и жизнь Робинзона Крузо потеряла бы немало притягательности, если бы Дефо поселил героя в заброшенном оазисе Сахары.

Изолированность предполагает сюжетную завершенность — большой, посторонний мир не вмешивается в личные дела персонажей.

К тому же остров — идеальное место для социальных экспериментов. Начиная с Атлантиды Платона, почти все утопии размещались на фантастическом острове. Коммунисты в этом смысле не придумали ничего нового. Идея «одной, отдельно взятой страны» имеет прямое отношение к традиции авантюрного романа. Тем более когда эта самая страна оказалась в «кольце врагов», заменившем морские просторы. Еще убедительней пример Кубы.

Манхэттен разделяет с другими островами все преимущества своего положения. Прежде всего, он самодостаточен.

Манхэттен уверен, что если бы завтра все остальные районы Нью-Йорка исчезли с лица земли, то никто бы не заметил пропажи. Зато без Манхэттена нет Нью-Йорка, а может быть, и всей Америки.

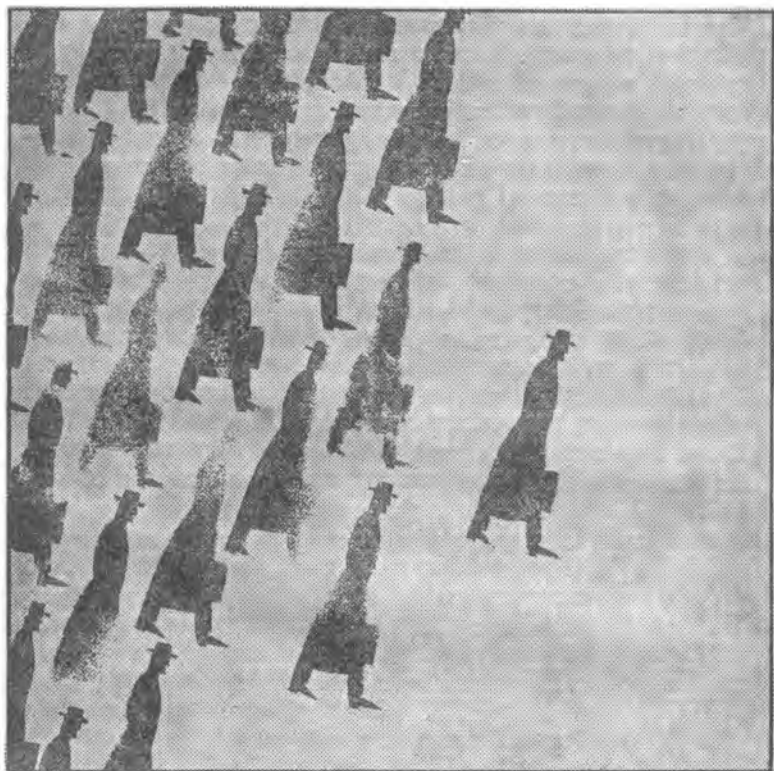
Островок в 35 квадратных километров узурпировал образ страны. Манхэттен — лого США, их эмблема, витрина, ядро. Здесь американская культура сконцентрирована до невыносимой густоты. Если по всей стране она размазана, как масло по хлебу, то в Манхэттене «американа» сгустилась в гротеск, в карикатуру. Весьма условная водная преграда превратилась в абсолютно реальную преграду психологическую — особый, островной снобизм. Настоящий манхэттенец точно знает, что там, где он живет, — пуп Земли. Это не мешает ему ругать свой остров на все лады. В глубине души абориген все равно знает, что лучше нет и не будет.

Что только здесь уют смешивается с экзотикой в нужной пропорции. Только здесь все безумства американской жизни наглядны и обозримы — их не рассеивает излишний географический простор.

Карта Манхэттена изобилует чудесами, как те карты, что прикладывались к старинным приключенческим романам — Гринич, Сохо, Гарлем, Централ-парк...

Все это может быть только здесь, только на этом острове. В биологии такая уникальность называется эндемикой. Бескрылая птица киви, тасманский волк, бульдог, харакири — для того, чтобы такие феномены возникли, нужны изолированные островные условия.

В Манхэттене эндемично все, но главное — чувство абсолютного превосходства над остальным миром. Даже имя этого острова читается как увлекательный и загадочный ребус: «ман хэт он» — «человек в шляпе на».



ОБ ЭНДИ УОРХОЛЕ, ПЕВЦЕ БАНАЛЬНОСТИ

Энди Уорхол был самым знаменитым американским художником. Более того, вместе с Сальвадором Дали он считался королем современного искусства. Статус суперзвезды, который до Уорхола в Америке был зарезервирован для актеров и певцов, сделал занятие искусством престижным в Соединенных Штатах. Во многом благодаря Уорхолу Нью-Йорк превратился в столицу художников, затмив традиционный Париж.

Уорхол был несомненно одним из тех, кто придал Америке тот образ, которым она обладает. При этом Уорхол пальцем не пошевелил, чтобы переделать хоть малейшую деталь в ее облики. Он не столько создавал новую реальность, сколько скрупулезно

воссоздавал уже существующую. Революционным было не искусство Уорхола, а его отношение к нему. Поэтому для нас Уорхол—фигура символическая, пророк нового мира, апостол массового общества. Он был не просто художником, а художником нашего времени. Разница очень существенная.

В наш век искусство и жизнь не разделены такими жесткими границами, как раньше. Прежде всего, искусства стало намного больше. В XIX веке люди потребляли прекрасное, как черную икру,—изредка, в праздничных одеждах, тайно вздыхая о цене. Процесс эстетического переживания происходил в специально отведенных для этого местах—в художественных салонах, театрах, концертных залах. Сюда не заходили по пути со службы. Нужно было надеть цилиндр или турнюр, взять с собой воспитанных детей и кружевной зонтик.

Спектакли шли с длинными антрактами, вернисажи посещали придворные, и даже романы читали вслух. Искусство принадлежало избранным. Художник творил для элиты. И роль его, соответственно, была мизерной.

Как, скажем, Репин влиял на внешний облик российской жизни? Да в общем никак. Его полотна висели в музеях. О них писали критики и поэты. Но в обыденную жизнь миллионов искусство не вмещивалось. Пусть Репин обращался не к аристократам, а к народу. Народ об этом узнать не мог—он просто не ходил в музеи.

Только в XX веке, когда кино, фотография, пластинки уничтожили понятие уникальности художественного произведения, искусство стало сопровождать нас в каждую минуту жизни. Искусства стало много, и принадлежит оно всем.

Мы слушаем музыку, смотрим кино и телевизор, глядим на репродукции в журналах. Хлеб и зрелище стали уже неотделимы друг от друга. Мы не представляем себе, как можно прожить без искусства один день.

Естественно, что изменилось и отношение к нему. Глупо натягивать галстук перед тем, как включить телевизор. Никто не станет созерцать рекламный плакат. Барьер между миром прекрасного и обыденностью перестал существовать.

Естественно, что художники XX века увидели тра-

гедию в том, что их изгнали из храма. Одни отказались растворять свое творчество в толпе. (Некий критик довольно точно назвал их «террористами».) Они бросились строить баррикады, охраняющие святое искусство от масс. Творчество их делалось все более непонятным для непосвященных, а посвященных становилось все меньше.

Другие пошли на компромисс с толпой и разнесли храм в щепы.

Мы живем в эпоху, когда споры эти уже неактуальны. Нравится нам или нет, но искусство теперь принадлежит народу.

Самые логичные и последовательные выводы из этого тезиса сделали художники поп-арта — течения, одним из основоположников которого был Энди Уорхол. Его звезда взошла стремительно. Еще совсем молодым человеком он прославился как рекламный художник. Грандиозный успех принес Уорхолу плакат с рекламой обуви. Критики говорили, что художник сделал «портрет башмака». Башмак был так прекрасен, что заказчики даже смутились — не издеваются ли над их продукцией?

То, что король поп-арта пришел в искусство из рекламы, — факт основополагающий. Мы редко отдаем себе отчет в том, что реклама стала эстетическим фоном в жизни западного человека. И если он не замечает рекламы — это еще не значит, что она не работает.

Энди Уорхол был одним из первых, кто увидел спор между поэтом и толпой уже давно решен в пользу толпы. В то время как художники еще вели последние бои (тогда была эпоха абстракционизма), он и другие лидеры поп-арта обнаружили, что новое искусство уже давно существует: это реклама. Нужно было только придать рекламе статус искусства. По сути, только в этом и заключается новаторство Уорхола. Он написал картину, изображающую банку супа «Кэмпбелл», — произведение, ставшее одним из самых известных в изобразительном искусстве XX века.

Критики пытались приспособить открытие Уорхола к старой эстетической системе. Они хотели видеть в пресловутой банке супа издевательский вызов потребительскому обществу. Им казалось, что Уорхол ищет трагический символ массовой культуры. Что,

возводя на престол высокого искусства пошлую рекламную картинку, художник призывает человечество опомниться.

Ничего подобного Уорхол в виду не имел. Один критик язвительно сказал художнику: «Если можно выставить рекламу «Кэмпбелла», то почему нельзя нарисовать пиво «Балантайн».

Уорхол немедленно с ним согласился. На следующий день экспозиция была дополнена «портретом» пива этой марки.

Другой критик заявил, что таким искусством может заниматься любой. И с этим Уорхол согласился, добавив, что когда-нибудь каждый человек сможет стать знаменитым хоть на 15 минут.

В поп-арте искали скандала. Так, например, спрашивали: за что платит бешеные деньги человек, купивший картину Уорхола, изображающую ящики с мылом «Брилло»? За идею? Но в чем она?

Художники только усмехались и замечали, что теперь вообще нельзя написать настолько плохую картину, которую кто-нибудь не повесил бы на стену.

Про Уорхола с изумлением писали, что он берет готовые образцы и отказывается их даже редактировать. Почему же он тогда художник? Уорхол отвечал, что он и не претендует на такое звание, предпочитая называть себя машиной, а свою мастерскую — фабрикой.

Он действительно симулировал множительную машину. Например, выставлял вместо одной Моны Лизы — две. Или писал долларовые банкноты. (Когда его спросили, зачем он это делает, Уорхол сказал, что учитель рисования советовал ему изображать то, что больше всего любишь.)

Теперь критики пишут, что мы смотрим на наше время глазами Уорхола. Что он создал иконы современности, что он уничтожил границу между серьезным элитарным искусством и абсолютной тривиальностью, между вкусом и безвкусицей, между художественным шедевром и фабричной поделкой.

Вообще-то что хорошего? Чему тут радоваться?

Однако культуре наплевать на наши эмоции. Если она выбирает себе кумира, ей лучше знать, почему она это делает. Бессмысленно спрашивать, заслуженна ли слава Уорхола. Можно только вежливо ин-

тересоваться — почему она к нему пришла. Видимо, его попадание в точку объясняется тем, что он отказывался судить реальность. Он бесстрастно ее воспроизводил. Уорхол интересовался исключительно стереотипами общества.

Певец банальности, он без конца писал портрет обыденного. Вот его картина, изображающая ряды бутылочек с кока-колой. Нам хочется увидеть в ней символ американской культуры. Мы бы написали, что вездесущая кока-кола заменила в сознании американцев другие, более достойные символы. И что, если на американском флаге появятся вместо звезд бутылки с кока-колой, никто не заметит разницы. Короче, хотелось бы увидеть в картине унижение стереотипа.

Но Уорхол просто рисует кока-колу. Ничего больше.

Средневекового художника волновали мадонны и ангелы, современного — суп «Кэмпбелл» (Уорхол сказал, что выбрал именно такой сюжет, потому что 20 лет ест этот суп на обед).

Поп-арт вводил в сферу эстетики новые регионы. Выставляя заурядный предмет, художники предлагали относиться к нему как к произведению искусства.

В эпоху, когда искусства стало так много, что оно неотделимо от жизни, неизбежно их взаимопроникновение. В конечном счете — все есть искусство и все есть жизнь. От Моны Лизы до кока-колы. Уорхол уничтожает эстетическую иерархию. Он снимает проблему критерия. Отказывается от права личности на свое, индивидуальное суждение. Он идет на поводу у действительности, выхватывая из потока жизни самые распространенные стереотипы. Поэтому многочисленные портреты Уорхола изображают звезд — Джеки Кеннеди, Мэрилин Монро, Мао, Элизабет Тейлор. Звезды — та же кока-кола. Люди у Уорхола неотличимы от рекламных картинок. Это те же стереотипы, выбор которых продиктован не отношением художника, а спросом. Именно поэтому Уорхол адекватно выражает суть массового общества.

Когда-то Томас Манн писал: «Искусство окажется в полном одиночестве, одиночестве предсмертном, если оно не найдет пути к народу, то есть, выражаясь неромантически, к массам».

Но что такое массы? Испанский философ Ортега-

и-Гассет, всю жизнь искавший ответ, пишет: «К массе духовно принадлежит тот, кто в каждом вопросе довольствуется готовой мыслью, уже сидящей в его голове».

Эти «готовые мысли», стереотипы общественного сознания Уорхол и сделал предметом своего искусства.

Но в поисках банальности он пошел еще дальше. От заурядных вещей перешел к заурядным действиям. Он снимает фильм «Сон», в котором неподвижная камера шесть часов следит за спящим человеком. Фильм «Еда», где показан жуящий мужчина. Наконец, фильм «Эмпайр», где камера просто снимает фасад нью-йоркского небоскреба. В этих лентах ничего не происходит. Вернее, не происходит ничего интересного. Но ведь банальность и должна быть скучной. Скучны ряды бутылочек с кока-колой. Скучны одинаковые портреты Мэрилин Монро. Скучно смотреть много часов подряд на спящего человека. Механическая повторяемость, автоматизм действий и восприятий, нерасчленимая череда стереотипов — такой предстает жизнь у Уорхола. И художник не выделяет себя из нее. Он лишь терпеливо держит зеркало перед обыденностью нашего существования.

Его индивидуальность растворена в массе. Он — человек толпы, который бесконечно занимается тавтологией: жизнь есть жизнь, сон есть сон, кока-кола есть кока-кола. И никаких символов. Никакого высшего значения. «Я — поэт Ничто, — сказал о себе Уорхол, — и когда у меня будет свое телевизионное шоу, я назову его «Ничего особенного».

Нам творчество Уорхола представляется трагически современным. Дело в том, что мы как раз приехали из страны, где поп-арт одержал триумфальную победу задолго до всяких Уорхолов. Мы выросли в обществе серийной культуры. Разве сравнятся безобидныеделки Уорхола с бесконечными стереотипами советской жизни! Разве сделать ему столько портретов Мэрилин Монро, сколько мы видели портретов Ленина!

Размноженные клише массового общества ужасны не тем, что они обозначают, а тем, что их много. Значение слов, смысл лозунгов, черты портретов стираются, но бесконечное повторение всех этих атрибутов не проходит бесследно. Стереотипы создают колею в созна-

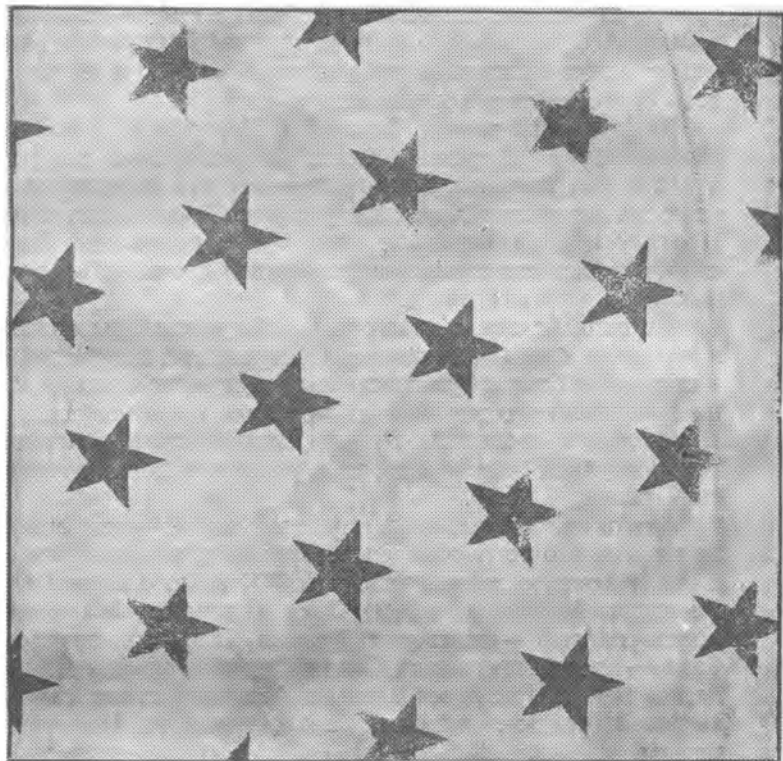
нии, а может — в подсознании. Эта колея и есть инструмент построения массового общества. Важно не содержание, а форма, в которую выливаются наши мысли.

Мы знаем, что люди бывают бедными, но честными, суровыми, но справедливыми и что после прогулки мы возвращаемся домой усталыми, но довольными.

Власть стереотипа сильнее любой другой, да и освободиться от нее сложнее, чем выбраться из тюремных застенков.

Уорхол отразил те главные черты массового сознания, которые растекаются по всему миру, мало обращая внимания на государственные границы и политические системы. Стереотипы, певцом которых был Уорхол, лишены родины. Они — примета времени, а не пространства.

Уорхол потому попал в короли *современного* искусства, что был *современным* художником. Во всем трагическом смысле этого слова.



О БЕЛОМ ДОМЕ

Европеец, попавший на экскурсию в Белый дом, приходит в недоумение. В конце концов, это резиденция главы самой могущественной державы мира, построившей свое величие и благополучие на принципах демократии. Оплот равенства возможностей. Ниспровергатель сословных барьеров. Цитадель республиканской идеи.

При всем этом Белый дом — жалкое подобие загородного замка какого-нибудь мелкого европейского монарха.

Те же золоченые панели, те же штофные обои, те же гнутые ножки пузатых диванчиков, те же невнятные темно-коричневые портреты в тяжелых рамах. И экскурсанты понуро шаркают ногами по дубовым пар-

кетам, пляясь на испанские гобелены и голландские изразцы. А солнечный зайчик играет на инкрустированном столике миланской работы, пробиваясь через занавесь брюссельского кружева.

Виндзорский замок, Зимний в Петербурге и Екатерининский в Царском Селе, Королевский дворец в Мадриде, венский Шенбрунн — все это родственная поросль не чужих друг другу европейских монархий. Потому и неудивительно, что после появления Версаля, потрясшего своим великолепием, его подобию возникли во всех столицах.

Но ведь Америка построила себя именно на отталивании от старых образцов. Суверенитет, полученный в кровавых боях с британским самодержцем, зиждился на совершенно отличных от прошлого принципах.

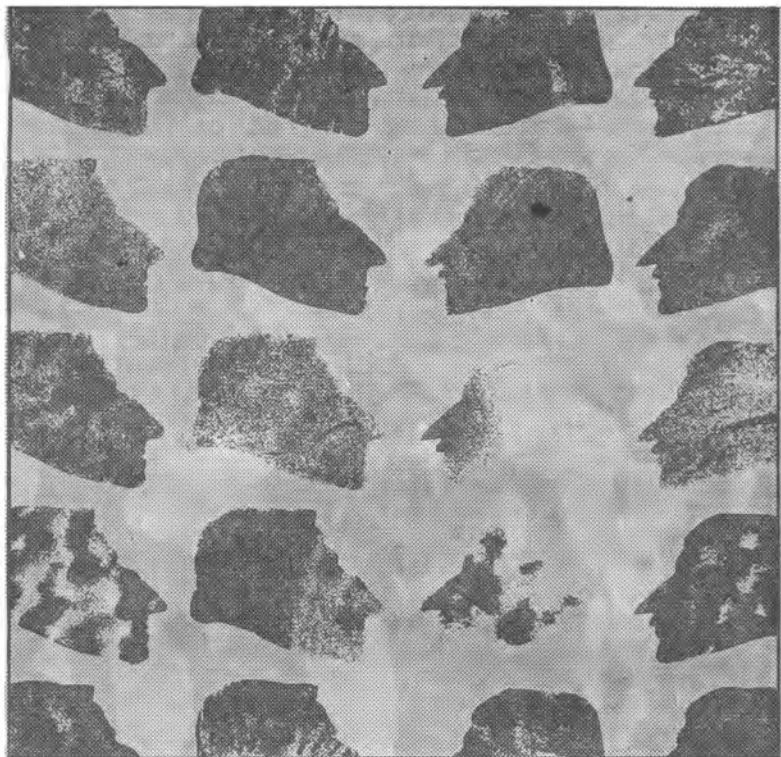
Отменив сословия, титулы, привилегии, Америка продвинулась далеко вперед в развитии демократических основ.

Американцы сильны в науке и технике — это общепризнано. Но те глобальные открытия, которые изменили духовную жизнь человека XX века, сделаны все же европейцами: радио изобрел итальянец Маркони, кинематограф — французы братья Люмьер, автомобиль — предшественники Генри Форда — немцы Даймлер и Бенц. При этом именно Америка стала самой мощной радио-, кино- и автодержавой. Но — уже потом.

И самые эпохальные достижения в искусстве принадлежат людям Старого Света. Переворот в литературе совершили ирландец Джойс, француз Пруст, писавший по-немецки пражский еврей Кафка. По новому пути направили живопись русские Кандинский и Малевич. Иную музыку создал немец Шенберг. Философские идеи, изменившие мир, вышли из кабинетов датчанина Кьеркегора, австрийца Фрейда, немца Ницше. И вновь — открытия мысли и духа лучше всего прижились на американской почве. Но — после.

Вот и Белый дом, опора демократии и бессословности, — не более чем слепок версальского интерьера. Трудно сказать, чего мы хотели бы от такого заведения, как резиденция президента США. Но, во всяком случае, чего-то отличного от прежних эталонов. Может быть, стоило бы нагнетать суровую простоту обстановки — что-то вроде комфортабельной казармы. Может быть, отдавая дань коренному населению Америки, по-

строить огромный вигвам с тотемом белоголового орла на лужайке. Может быть, возвести стеклянный куб, символизируя открытость любым идеям и индивидуумам. Ведь, кстати сказать, Версаля-то все равно не получается — масштабы не те. Так, охотничий павильон Короля-Солнца в ухудшенном варианте.



О «РЕВИЗОРЕ» НА 22-Й СТРИТ

В сознании русского человека Гоголь почти такой же свой, как Пушкин. К нему можно и нужно относиться фамильярно, запанибрата, слегка свысока. Это довольно странно: ничто в жизни Гоголя не располагает к насмешливому отношению. Не сравнить, например, с Толстым. Тот и вегетарианец был, и ханжа, и пахать выходил исключительно к курьерским поездам — казалось бы, поводов для иронии множество. Но как-то не откликнулось народное творчество на толстовские чудачества.

Совершенно избежал надругательств Достоевский, никак не отражен в фольклоре Тургенев, никаких порочащих фактов не рассказывают про Гончарова. Гоголь

же следует вплотную за Пушкиным, опережая даже Лермонтова,—в качестве героя невероятных историй, фантастических домыслов и главное—анекдотов.

В знаменитой серии анекдотов про русских классиков—с полным пренебрежением авторитетами, с немислимо грязными подробностями интимного быта, с простодушным цинизмом и наивной грубостью—Пушкин, несомненно, главный герой. Но если завязка всегда одинакова: «Как-то Пушкин с Лермонтовым...», то и к развязке почти всегда поспевают неизменный Гоголь (часто— вместе с императором Николаем).

Непьющий, целомудренный, тихий— чем это он так потрафил фольклору? Ну, длинноносый, ну, смешная фамилия— вроде бы этого мало.

Все дело, конечно, в чувстве юмора, в смехе. В том, что гоголевские произведения можно пересказывать хохоча. В том, что его повести и пьесы сами вошли в сознание как анекдот: независимо от личности автора (у Пушкина как раз он сам анекдотичен).

Очень уж немного смеха в русской классической литературе, чтобы его редкие вкрапления не ценить как золотую жилу. В одних только Гоголя и Чехова ушла вся российская веселость. Атрофировано чувство юмора у Толстого, Тургенева, Бунина. Едва-едва брезжит у Гончарова. Даже у Салтыкова-Щедрина все, кроме «Истории одного города»,— мрачная, сосредоточенная сатира. Особый случай—с Достоевским. Его блестящий юмор существует как-то сам по себе, в отрыве от образа писателя и представления о его творчестве. Должно, видно, пройти время, чтобы Достоевский занял место не только в ряду философов и психологов, но и в ряду юмористов.

С Гоголем же все ясно: он уморительно смешон, и потому над ним можно беспрепятственно и безнаказанно смеяться. Самое гениальное издевательство над Николаем Васильевичем Гоголем принадлежит Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду.

Поставленный им в 1926 году «Ревизор» так потряс российскую публику, что возмущению и восторгу не было конца. Разумеется, возмущения оказалось больше— как всегда, когда затронуты святыни. В России такой святыней уже полтора столетия служит родная

классическая литература — даже больше чем самодержавие, народность и партийная принадлежность. Во всяком случае, насмешки Гоголя над самодержавием, так явно заложенные в образ Городничего и его шати, такого сильного впечатления на самого самодержца и его окружение не произвели. Цензор Никитенко вспоминает в «Дневниках», что Николай Первый «хлопал и много смеялся», а его августейшее семейство «комедия тоже много тешила».

Когда через 90 лет после премьеры «Ревизора» Мейерхольд поставил гоголевскую пьесу, спектакль вызвал бурю негодования посягательством на самое сокровенное. И теперь возмущались не просто тупые чиновники, но и прогрессивные писатели, художники, артисты. Злую и блестящую пародию на мейерхольдовскую постановку оставили в «Двенадцати стульях» Ильф и Петров.

Интересно, что не только Гоголь, но и давно уже Мейерхольд записан в классики, и Ильф и Петров являются авторами классической юмористики. И в этой невероятной каше в полном смысле классик на классике сидит и классиком погоняет.

Мы же недавно стали свидетелями очередного — веселого и талантливое — поругания русской классики. Будем считать, что это уже четвертый план издевок. Мейерхольдовскую постановку «Ревизора» показал американский театр «American Shakespeare Repertory». Насмешки начались сразу, как только мы подошли к зданию «Театра-22».

Он назван без всяких затей — просто потому, что находится на 22-й стрит Манхэттена. Это один из тех домов, которые охотно фотографировали советские журналисты, снабжая снимки зловещими подписями: «А всего в нескольких кварталах отсюда — богатые особняки Пятой авеню...» Здание живописно: отвалившаяся штукатурка слежалась на тротуаре мощными сталагмитами, на голубых когда-то дверях застыли золотистые потеки, ушами спаниеля повисли полуоторванные афиши, ступеньки похужей на трап лестницы почти все целы.

Главное удовольствие ждало нас в фойе. Так мы решили называть лестничную площадку, где продавались билеты и щебетали в предвкушении театралы. Все было устроено очень удобно: у стены стояли

стулья, на которые можно было присесть, рассматривая программу. Мы выяснили, что глава труппы — Дуглас Овертум, он же исполняет сегодня роль почтмейстера. Режиссер — Джанет Ферроу. Девушка с метлой попросила нас поднять ноги, чтобы она могла подмести. Мы подивились простоте нравов и продолжили изучать программу: музыка — Шостаковича, Прокофьева, Глиэра — подобрана со вкусом. Сильное впечатление произвел перечень прочих постановок театра: Софокл, Сенека, Шекспир, Мольер. Толковая дама эта Джанет Ферроу, решили мы и пошли спрашивать, не могут ли русские журналисты задать несколько вопросов миссис Ферроу. Добродушная билетерша помахала рукой: «Джанет! К тебе!» Девушка с метлой высыпала совок в урну и, потирая ладони, направилась к нам. Но поговорить с режиссершей не пришлось: где-то ударили в гонг, и миссис Ферроу с необычайным проворством взобралась по веревочной лестнице в прибитую к потолку деревянную конуру. Мы хотели броситься в зрительный зал — и бросились было, но некуда. Выяснилось, мы уже полчаса находимся в зрительном зале и, собственно, уже сидим на своих местах.

Та рогожа, которую мы принимали за нарочито демократическое оформление фойе, оказалась занавесом. Рогожа поднялась, открыв пространство сцены. Билетерша (она же гример) прошипела нам, чтобы мы не вытягивали ноги, — и вовремя: они были бы раздавлены вошедшим с лестницы Держимордой.

Мы долго не могли привыкнуть к тому, что сидим в первом ряду, и все боялись — как бы невзначай не съездил по уху Городничий или не ущипнула Марья Антоновна. Вообще-то мы предпочитаем бельэтаж, но в «Театре-22» с этим никто не думал считаться, и мы, если захочется, могли называть бельэтажем второй ряд, потому что третий уже был балконом, а дальше шла глухая стена. Зрительный зал, как мы заметили, рассчитан на 32 места, но в этот вечер был аншлаг, и ввиду грандиозного успеха переполненный театр вместил 41 любителя искусств. Если учесть, что в спектакле заняты 17 актеров, то соотношение — в нашу пользу. Ошеломленные всем увиденным, мы вначале настроились скептически и грустно отмечали забавности текста: «перекладные» обернулись новым

видом транспорта «public troika», в мечтах Городничего о лакомствах рыба «ряпушка» стала «eels». ¹

Мы даже думали, что переименован в какого-то Колесникова главный герой — однако все дело в особенности произношения: «Кхолестакофф».

Но постепенно все больше и больше захватывала гоголевско-мейерхольдовская фантазмагория, помноженная на абсурд американской постановки.

Сменившая метлу на магнитофон Джанет Ферроу из конуры под потолком подавала музыкальные сигналы, и четко менялись мизансцены, без запинки разыгрывались эпизоды, с механической определенностью праздновали свой карнавал монстры из уездного города николаевской России.

Три главных греха усмотрела советская критика в мейерхольдовском спектакле: мистику, эротику, асоциальность.

Эротика у «American Shakespeare Repertory» хоть отбавляй. Совершенно непристойная (и довольно невнятная) сцена, которой у Гоголя не было, — возня слуги Осипа с полойкой, — вызвала наш интерес, особенно пристальный потому, что разыгралась прямо у нас под ногами, так что слюна сладострастия летела на ботинки. Через плечо почтмейстера мы рассматривали порнографические открытки, которые он показывал развратной дуре Марье Антоновне. Анна Андреевна переодевалась так подробно и так близко, что хотелось в смущении выйти в фойе, если бы оно не служило зрительным залом и сценой.

Мистика была обильно и превосходно представлена шествием персонажей с курительными трубками разных конфигураций и размеров. Адские клубы дыма, извергаемые чиновниками, окутали нас, погрузив в атмосферу нереальности, хотя уж куда нереальнее сам тот факт, что все происходило в центре Манхэттена.

Что касается асоциальности, то есть поворота от сатиры на самодержавный режим к общечеловеческим проблемам, то Мейерхольда правильно ругала советская критика: гоголевские чудовища из «Ревизора» живут всегда и везде: в Санкт-Петербурге, в Америке, на

¹ Угри.

Брайтон-Бич. Да что далеко ходить — мы и сами такие. Уже после спектакля мы говорили с Дугласом Овертумом, который рассказал, как просиживал в библиотеке над записями Мейерхольда и описаниями его затей. Все «ревизорские» выдумки гениального режиссера Овертум и его коллеги тщательно и осторожно перенесли на сцену своего театра. Собственно, тут слово «коллеги» не вполне точно постольку, поскольку речь идет не о работе в обычном смысле слова.

Не много долларов набирают они даже в дни аншлагов. Помножив 41 на 8 (цена билета), получим всего только 328 долларов. А помещение, а свет, а аппаратура, а костюмы, а печать программки? А разделить на 17 актеров?..

В существовании такого театра — абсурд, который не снился ни Гоголю, ни Мейерхольду, и над этим, возможно, не стали бы смеяться смеявшиеся над всем Ильф и Петров. Не потому, что есть какие-то запреты на насмешку и существуют пределы иронии, а потому, что при всем абсурде своего бытия американский театр поставил мейерхольдовский спектакль по гоголевской пьесе — хорошо. Смешно, изобретательно, лихо.

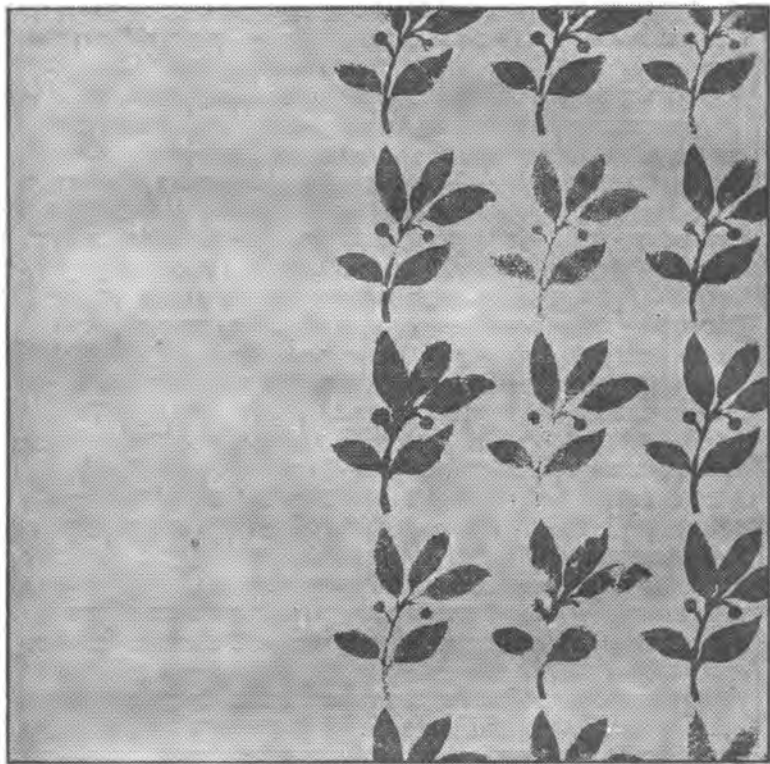
Какой-то совсем другой образ возникает. Что-то непохожее на ту Америку, в которую мы ехали и в которой оказались. Разве это не наша российская привилегия: безденежная духовность? Разве не мы одни во всем мире отвергаем материальные блага ради интеллектуальных радостей? Разве не одни российские подвижники творят вечные ценности, наплевав на карьеру и добывая жалкие гроши истопниками, сторожами, лифтерами?

Как легко рушатся удобные и приятные схемы: у них — деньги, у нас — дух. Как просто убедиться еще и еще раз в том, что такое разделение проходит не по государственной границе и национальной принадлежности. Дуглас Овертум, Джанет Ферроу и их товарищи — стопроцентные американцы, достаточно молодые, чтобы выбрать любой иной путь в жизни, и достаточно взрослые, чтобы не считать свое занятие юношеским увлечением.

То, что большинство из нас не знают такой Америки и таких американцев, — наша беда и вина. Это нам

нравится повторять, что тут всех интересуют только деньги и карьера; кроме тех, конечно, кто спит на скамейках в парке, клянчит квотер¹ в метро и лежит в куче тряпья на вентиляционных решетках. На самом деле красота бедности не выдумка жителя бочки Диогена, а способ существования: надо только знать, зачем быть бедным (как, впрочем, хорошо бы знать, зачем быть богатым). Потому что бедность может быть унижительной и убогой, а может — свободной и веселой.

¹ Двдцатипятицентовая монета.



О ТРИУМФЕ АМПИРА

Наверное, всем эмигрантам когда-то снилась Америка. В Вене, Италии или еще дома. В последние предотъездные дни, когда семья спит на полу, положив под голову вместо упакованных подушек библиотечные книжки, американские сны были особенно горячими.

Помнится, было в этих снах что-то белоснежно-огромное, грандиозно-стеклянное, бетонно-железное в брызгах шампанского. И по всей этой роскоши ездили взад-вперед длинные, не меньше линкора, машины. За рулем сидели мы — высокие блондины, а рядом наши жены — высокие блондинки...

Сны, кстати сказать, вообще вещь замечательная, но непредсказуемая. Кому на них везет, кому нет. Вот, скажем, в нашем соавторском коллективе. Одному по-

стоянно снится, что он стоит на трибуне ООН рядом со Сталиным и Черчиллем. А другому — что едет в трамвае без билета. Так рождается черная зависть.

Зато в эмигрантских снах царило равноправие.

В наших сновидениях почему-то преобладала архитектура. От нее веяло нездешним модернизмом космического масштаба. И мы долго не могли простить Нью-Йорку, что наяву он оказался совсем другим. Сейчас-то уже притерпелись, но вначале до дрожи возмущения поражало, как главный город Америки посмел быть таким старомодным. Даже заштатный Ростов в целом выглядит поновой. Стеклопанная закусовая «Ветерок», театр в виде трактора. А здесь нет ни одного подземного перехода для пешеходов. Плюшевые занавески — крик моды.

Патриархальный облик Нью-Йорка легко объясняется историей. В отличие от Ростова его не бомбили. Здесь все как поставили, так и стоит. Отсутствие оккупационной армии немало способствует консервативным тенденциям.

Впрочем, именно недостаток военных воспоминаний привел к тому, что господствующим архитектурным стилем Нью-Йорка стал ампир. В виде компенсации.

Ампир — это бесконечные колонны, триумфальные арки, гипсовые венки, лиры, стрелы, лавры, орлы, львы и так далее. Рабочий язык ампира — латынь. Стиль этот покорила Европу вместе с Наполеоном и предназначен был исключительно для воспеваания воинских доблестей.

Лучший образец ампира в Америке — доллар. Вглядимся в строгий дизайн этого небезразличного каждому предмету. Все здесь соответствует требованиям стиля. Гордый орел, зажавший в одной лапе пучок стрел (символ войны), а в другой — оливковую ветвь (что как-то связано с маслинами). Пирамида с римскими цифрами — интересно, сумеет ли их расшифровать поколение, привыкшее к калькуляторам? Загадочные латинские тексты — «новус ордо секлорум»¹.

Кругом ампирный орнамент — меандры, аканты, пальметты. Даже надпись «ONE» (другой купюры мы у себя не нашли) выполнена в классической манере. Несомненно, доллар — самая героическая деталь амери-

¹ Новый порядок веков (лат.).

канского обихода. В советских банкнотах преобладала сельскохозяйственная тематика.

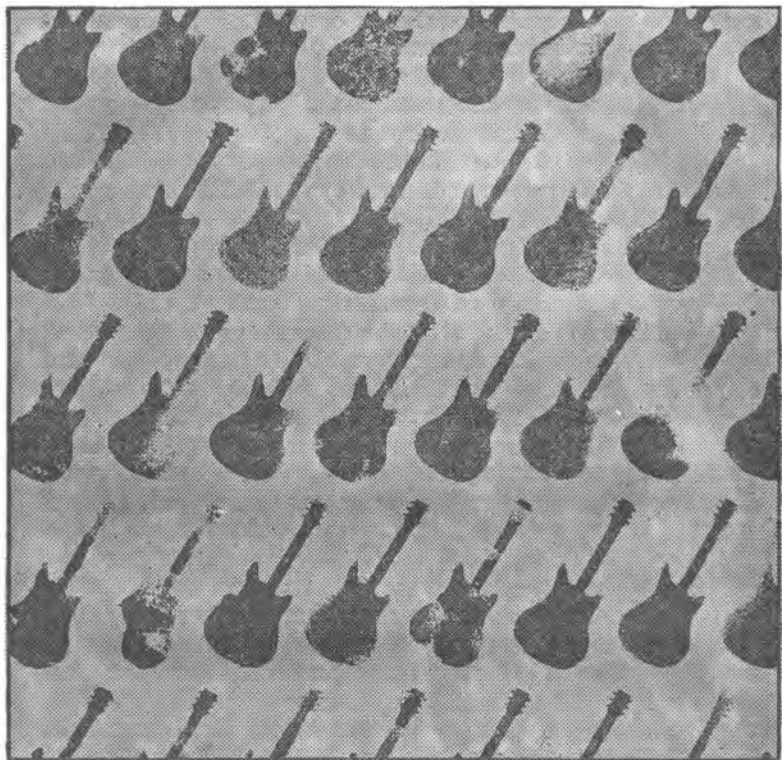
Если как следует всмотреться в нью-йоркскую архитектуру, то легко заметить, как она похожа на доллар. Та же смесь армейского парада с зоопарком — стрелы, копыта, львы. Причем необязательно искать ампирную символику на триумфальных арках. Она повсюду. На фонарных столбах, в сабвейных будках, даже в оформлении общественных уборных.

Античные аксессуары в равной степени украшают библиотеки, школы, тюрьмы, ночлежки.

Местные жители, не отягченные излишней эрудицией, наверное, и не замечают, что их город целиком слизан с древнего Рима. (Наполеоновский Париж использовал тот же образец.) Но европеец сразу обнаруживает плагиат. Вот что сказал, например, Менделеев, попавший в Америку в прошлом веке: «В Новом Свете людские порядки остались те же — старосветские. Там просто повторяют на новый лад все ту же латинскую историю».

Латинская история продолжается и сегодня. Все так же стоят капитолии, все так же заседают сенаторы, все тот же императорский орел объясняется на все той же золотой латыни. И эту государственную преемственность прекрасно иллюстрирует нью-йоркская архитектура. Даже в суперсовременных зданиях ампир берет свое. Поднимаясь на 46-й этаж какого-нибудь небоскреба, обратите внимание на решетку лифта, и вы обязательно обнаружите знакомых — оливковые венки, львов, лаврушку.

Стиль всегда торжествует над человеческими намерениями. Он лучше знает, на что похожа Америка. Тем более в Нью-Йорке. Где прямо на автомобильных номерах написано: «Имперский штат».



О МУЗЫКАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Мало в мире есть вещей, в которых мы бы разбирались так плохо, как в музыке. Редко, но сильно от этого страдают наши родственники — когда мы поем. Но хорошо проверенное отсутствие знаний по этому вопросу нам не мешает.

Вместо эрудиции мы придумали теорию, согласно которой невежество плодотворнее знаний. В самом деле, только отсутствие специального образования позволяет человеку обо всем судить широко, размахисто и безответственно, то есть парадоксально. Только круглый невежда считает, что он обо всем располагает достаточными сведениями. Тогда как специалист — поневоле человек предельно осторожный. Свое мнение он бережет, как главное сокровище, и никогда не согла-

шается с ним расстаться. Больше всего на свете специалист боится категоричности. Поэтому его речь пестрит нудными оборотами — «трудно сказать» и «будущее покажет».

Вот невежде всегда говорить легко, и будущее не хранит от него тайн. Невежество вообще более творческое состояние, потому что для этого занятия необходимо хамство. А у кого его больше, чем у человека, с легкой душой утверждающего, что лучший роман в мире — «Три мушкетера»?

Кроме всего прочего, невежество значительно доступнее эрудиции. Мы это знаем по собственному опыту. Вышеизложенная теория нам позволяет писать о музыке. Правда, тут еще хорошим подспорьем служит ненависть. Дело в том, что, ведя сравнительно мирную жизнь, мы рассчитываем, что мир нам ответит тем же. Как бы не так! Повсюду в наши скромные будни вторгаются наглые агрессоры. Это — люди с приемниками.

Раньше мы думали, что транзисторы изобрели, чтобы уменьшить размеры этих жутких агрегатов. Но теперь видим, что с годами технического прогресса их габариты только увеличиваются.

Вот, скажем, идет вам навстречу такой террорист, сгибаясь под двухпудовой тяжестью радиомонстра. Идет он нетвердой, усталой, но все же торжествующей походкой. В его распоряжении акустическая мощность, достаточная, чтобы насытить звуком целый Манхэттен. И можно не сомневаться, что именно это он и собирается сделать. Ведь главное качество культуры, которую он несет (буквально) в массы, — *громкость*. И тут кончается наша наносная демократичность, тут мы забываем о преимуществах свободного мира перед тоталитарным, тут мы перестаем считать, что на зло надо отвечать добром. Нам хочется немедленно террором ответить на террор.

Но прежде чем купить на Брайтон-Бич автоматы «узи» и приняться за дело, хочется все же понять, что движет нашим врагом с транзистором.

История знает разные эпохи. Были времена, когда ее главным украшением являлась живопись — Италия Ренессанса. Или литература — Россия прошлого века. Или кино — довоенная Америка.

Но сейчас — и уже давно — мы живем в мире, которым безраздельно правит музыка.

Даже не правит, а обволакивает. Музыка стоит между нами и реальностью как своеобразный фильтр, сквозь который внешняя жизнь пробивается только в облагороженной, ритмизованной форме.

Музыка звучит всегда. Если не у вас, то у вашего соседа. Электроника сделала ее вездесущей. Ей незачем замыкаться в оперных театрах и концертных залах — она стала переносной, комфортабельной, всеобщей. От нее не скроешься даже в бомбоубежище, потому что у каждого она с собой — в виде крохотного магнитофончика, наушников или огромного, как старые чемоданы, переносного радио. Но никому и в голову не придет от нее прятаться — музыку любят, а не боятся. Современный человек не только добровольно, но и с радостью отдается всеобщему музыкальному потоку — им он отгораживается от окружающего. Попробуйте что-нибудь сказать человеку в наушниках. Он просто не услышит вас, и на его лице по-прежнему будет играть счастливая улыбка. Он и музыка хотят быть наедине в счастливом трансе. И только произвольное ритмичное притопывание внешне выражает радости этого союза.

Сейчас принято говорить об упадке искусства. Интеллектуалы со стоном вспоминают легендарные времена Шекспира и Пушкина. Но на самом деле никогда еще искусство не было так могущественно, как сегодня.

Музыкальная цивилизация затопила мир. И нужно быть глухонемым, чтобы барахтаться на поверхности.

На первый взгляд кажется странным, что самому абстрактному из искусств досталась абсолютная власть над душами. Но в этой абстракции и кроется причина ее глобальности. Звуки, организованные в музыку, выражают не мысли, а эмоции. То есть ту туманную эманацию, которую невозможно описать словами. Музыка позволяет общаться на внезаковом уровне — напрямую. Она, как телепатия, не расчленяет сообщение на слова-знаки, а передает их в непосредственной форме.

Например, чтобы мир ощутил трагедию голодающих эфиопов, нужно было не сказать о ней, а спеть. Газетная информация, переведенная на язык музыки («Мы — мир, мы — дети...»), превратилась в чистую эмоцию, которую не надо расшифровывать и расклады-

вать на причинно-следственные категории. Она понятна, вернее, ощутима и так.

Только музыка способна объединить миллионы, хотя бы потому, что она проникает в сознание, по сути, минуя его. Людям уже не нужно постигать истину в философском диалоге. Они получают ее в готовом виде, в едином, всеобщем эмоциональном порыве. Музыка — это действительно «язык душ», как по-старомодному называли ее раньше.

Но как ни прекрасно торжество всеобщности, трудно не вспомнить, что человечество всю историю шло от монолога к диалогу. Что оно понимало философский прогресс как сосуществование разных точек зрения вместо монополии одной, пусть и прекрасной. Сегодня если что и объединяет наше поколение, то это музыка. Скажем, музыка «Битлз». Что мы знали о Западе в ранние 60-е годы? Почти ничего. Но нашими любимыми песнями были «Герлз», и «Йестердей», и «Ши лавз ю, е-е-е». Все знали, что битлы из Ливерпуля и что Ливерпуль — это наш Харьков. Трикотажная рубашка-водолазка, гитара, голос Леннона — вот что объединило мир в общем музыкальном порыве. Музыка не нужен язык, поэтому ей не страшны границы. Она творит свой собственный мир, который не имеет отношения ни к географии, ни к политике. Только к самым абстрактным, к самым всеобщим эмоциям зовет музыка. И на этой платформе ей удастся сделать то, что не под силу религии, — достичь человеческого братства.

Впрочем, современная музыка и есть религия. Причем самый древний ее вид. Знаменитый этнограф Клод Леви-Стросс писал: «Музыка сохранила целостное отражение мира, свойственное мифу».

Это значит, что современная музыкальная цивилизация пытается отречься от анализа реальности, заменяя его синтезом. Миф отвечал сразу на все вопросы — что есть жизнь и смерть, правда и ложь, победа и поражение. Он отвечал даже на те вопросы, которые еще не задавались. Миф всемогущ именно потому, что он знает все. Живя в мифологизированном мире, человек наслаждается комфортом предрешенности. Ему не нужно принимать решения. Надо только раствориться в мифе, слиться с ним, стать винтиком в прекрасной глобальной машине мироустройства.

Потому без мифа и невозможно любое тоталитарное общество, что оно нуждается в фаталистическом отношении к себе. Индивидуальность передоверяет свою судьбу мифологическому институту — партии, правительству, Старшему Брату. И за это она освобождается от мучений, которые приносит личная ответственность. В мире, где правит миф, легче быть счастливым.

Именно такую роль «всеобщего объяснителя» и играет сегодня музыка. Для того чтобы завоевать любовь, ей надо максимально абстрагироваться от частностей, стать универсальной, уничтожить различия между умными и глупыми, детьми и взрослыми, богатыми и бедными, черными и белыми, мужчинами и женщинами, наконец. И она это делает.

Во время «Битлз» их песни ощущались еще протестом против старых ценностей — войны, денег, мещанства. Но музыка по самой своей природе гораздо больше подходит к воспеванию, чем к отрицанию. Как у любого мифа, ее главная задача — позитивная программа. И «Битлз» ее строили. Простую, всем доступную и потому тотальную программу. «Все, что тебе нужно, — любовь», — пели они, и весь мир подхватывал припев. Этот призыв решает все проблемы, которые не только стоят перед человечеством, но и которые поставит перед ним будущее.

Кумиры наших дней пошли дальше. Они представляют собой уже реализованный идеал музыкальной цивилизации. Майкл Джексон и Принц — два короля поп-музыки — сломали не только барьер между людьми разных стран. Они уничтожают вообще все различия между людьми как биологическими особями. Ни черные, ни белые. Ни взрослые, ни дети. Ни мужчины, ни женщины. Последний фактор настолько важен, что многие социологи даже считают, что здесь начинается новая сексуальная революция, которая уничтожит последние следы неравенства между людьми. Вместо взаимоотношения полов — чистая, абстрактная сексуальность, замкнутая на самой себе.

Любопытно, что это стирание границ уничтожает даже такую очевидную вещь, как деньги. Всем известно, что музыкальные звезды астрономически богаты.

Но это не мешает их внеклассовому обличию. «Что делать бедному парню, если не петь рок-н-ролл?» — спрашивает в песне Мик Джекгер. И с ним соглашаются поклонники, игнорируя многомиллионное состояние своего кумира.

И это правильно, потому что сами создатели музыкальной цивилизации растворены в ней. Они не боги, а пророки новой религии. Богом является сама музыка. Эмоциональное взаимопонимание, заражающее сопереживание — вот что предлагают пророки музыкальной культуры своим адептам. Сами кумиры этой культуры — вне разобщенного человечества. Они посредники между ним и великим мифом музыки. Поэтому они и лишены телесности. Не зря Майкл Джексон сделал пластическую операцию, придавшую его облику ангельский оттенок.

Не зря они уклоняются от интервью. Не зря они как бы лишены личной, частной жизни. Они принадлежат всем, а не себе. Ибо если музыка спасет мир, то только сделав его единым. И чтобы объединиться, не надо обладать особыми знаниями и умениями. Достаточно лишь эмоционально влиться в гипнотизирующий музыкальный поток.

«Трехминутная пластинка научит нас больше, чем любая школа», — поется в одной из песен. И это верно, потому что речь идет о подсознательном, почти мистическом знании, об эмоциональном, чувственном контакте.

«Я не хочу быть поэтом, меня не заботят награды. Все, что я хочу, — это петь и танцевать», — поет Принц. И в этих словах отражены все приметы нового культа: музыка самоценна, она и цель и средство, это синкретическая правда, которая доступна только личности, растворенной в мифе.

Кстати, именно поэтому совершенно неважно, что именно поет Принц. Слова — лишь рудимент в этой культуре. Важны эмоции, которые рождают звуковые образы. Важно лишь мощное гармоническое поле, которое преобразует нашу цивилизацию — ее стиль, образ жизни и мысли, способы общения, культуру поведения. И сегодня музыка — стержень, который может придать единообразие человечеству. В терминах музыкальной культуры это и означает спасти его.

Однако вернемся к нашему врагу с транзистором. Вернемся к практическому аспекту наших спекуляций. Пусть наш враг включается в борьбу за но-

вую музыкальную цивилизацию. Пусть он растворяется в эмоциональном братстве своих сторонников. Но какое он имеет право делать это так *громко?*

Мифологический мир всегда агрессивнее атеистического. Он не признает нейтралитета. Всеобщность должна быть достигнута любой ценой.

А значит, у нас остается только один выход. И мы отправляемся на Брайтон-Бич покупать автомат «узи».



О ДРАМЕ СНЕГОПАДА

В Нью-Йорке выпал снег. Снег как снег. Белый. Ничего вообще-то страшного. Одна треть земного шара покрыта снегом — и ничего. Живут. В школу ходят, на работу, даже влюбляются.

Но не в Нью-Йорке. Здесь по такому случаю объявляется осадное положение. Дети сидят дома, взрослые. Даже собаки. Старушкам на парашютах фудстемпы¹ сбрасывают. Метро не ходит, банки закрыты, по телевизору триллеры показывают.

Раздражает это чудовищно. Хочется выйти и закричать, как в провинциальном театре: «Дворника!» Но выйти не получается. И как будет дворник по-

¹ Продовольственные купоны.

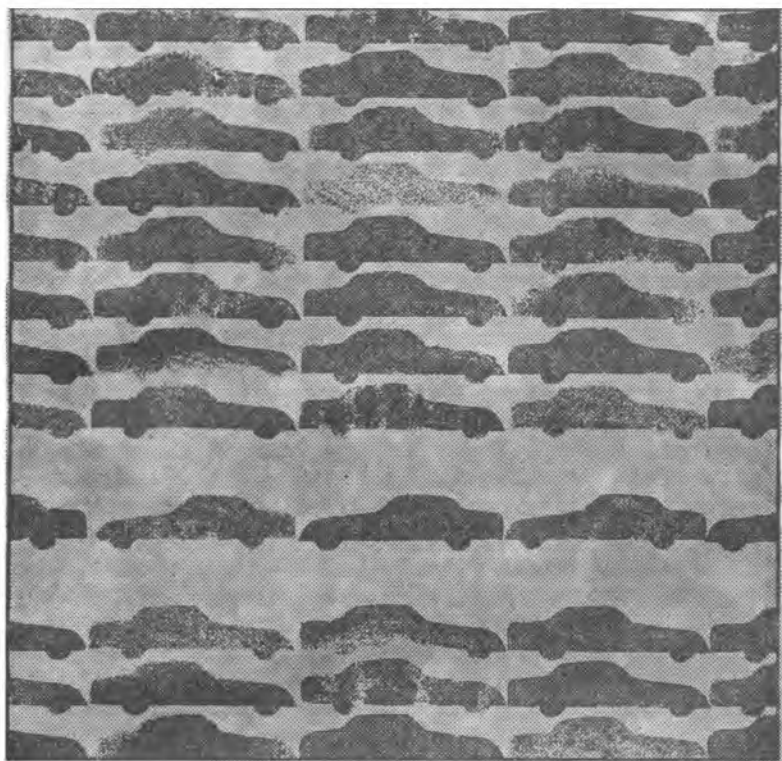
Английски? Не суперинтендант же. Попробуйте крикнуть такое слово.

Поэтому кричать приходится дома. На домашних. Благо у всех есть время слушать. На работу идти не надо — снег. Вот мы и кричим: «Что ж это за Америка? А если война? Приходи на лыжах и бери всех голыми руками? Где порядок? Дисциплина? Внутренняя подтянутость? Как флаги вывешивать, так на каждом углу. А как на войну, так в Канаде родину защищаем. На авианосцах мороженое подают — одиннадцать тысяч порций в день. В окопах в пижамах спят...»

Но американцы нас не слушают — триллеры смотрят. На работу идти не надо — снег. И вообще они не волнуются. Им нравятся и флаги, и мороженое, и пижамы. И декоративный патриотизм их устраивает. И воевать они не хотят. Им нравится красивая жизнь. Комфортабельная, с теплым клозетом. Поэтому американцы не готовят себя к тяжелым испытаниям. Не привыкают к колбасе из целлофана, не стоят в очереди за туалетной бумагой. Даже маршируют не в ногу.

Просто живут американцы, без надрыва. И как-то все у них получается. Нобелевские премии хватают. Машины делают. Хлеб выращивают. И все это — несмотря на снег.

График у них душевный не тот, что ли. Не настроенный на трудности, чтоб через тернии к звездам. Звезды — есть, а терний нету.



О ПРАВЕ НА АВТОМОБИЛЬ

На трех этажах Центра Джавица — самого большого выставочного зала в мире — мы потерялись среди тысяч автомобилей. Сразу стало ясно, что зря мы сюда пришли с семьями, предвкушая спокойный воскресный отдых. Посещение ежегодной нью-йоркской автовыставки не досуг, а тяжелый труд хождения, любопытства, удивления, узнавания. Все это в особенности применимо к «Автошоу-90»: выставка как бы подводила итог 80-м и определяла ориентиры последнего десятилетия XX века в области, особенно важной и дорогой сердцу и разуму американца, — автомобильной.

Те первые эмигрантские годы, когда у нас не было ни гражданских, ни автомобильных прав, мы считали, что прекрасно разбираемся в Америке. Получение американского гражданства не излечило от этого заблуждения. Но вот когда становишься владельцем водительского удостоверения, наконец осознаешь, что эту страну невозможно понять с позиций пешехода.

Только сев за руль, начинаешь вникать в тайны американской души, чем мы и занимаемся до сих пор без особой надежды прийти к твердым и окончательным выводам. Но в одном можно быть уверенным: машина — средоточие американского духа, основа национального характера, символ страны, главное содержание ее цивилизации, форма, которую приняла ее душа.

Америку не было бы без автомобиля. И еще непонятно, что будет с Америкой, когда автомобиля не станет.

Чтобы ощутить все величие автмотива в американской истории, надо, пожалуй, быть пришельцем из безмашинной культуры.

Такого человека — эмигранта из Советского Союза, например, как мы, — каждый раз, когда он садится за руль, все еще охватывает предчувствие приключения. Наверное, где-нибудь в Калифорнии, где люди срослись с автомобилем на манер кентавров, вождение давно стало механическим процессом. Но у нас в Манхэттене машина скорее роскошь, чем необходимость, — уж как-нибудь и метро довезет.

Впрочем, надо думать, интимные отношения с автомобилем присущи всем без исключения. К средству передвижения люди всегда испытывали теплые чувства. Ну, скажем, к лошади. Или — верблюду. Или — трамваю. Или — поезду.

Сколько русских романов — и в одном и в другом смысле — завязывалось в вагоне. Это и понятно, путник подвешен между пунктами отправления и прибытия. Лишенный раковины-дома, он беззащитен, открыт, доступен. Дорога — это процесс, а не результат, промежуток между двумя оседлыми состояниями. Поэтому путешественник и готов открыть душу случайному встречному, что в стуже колес растворяется его социальная ограниченность. Пока поезд едет,

пассажир принадлежит только себе. Не случайно же Анна Каренина, которая так и не смогла добраться из пункта А в пункт Б, закончила свои дни под колесами поезда, ставшего знаком незавершенности ее пути.

Однако если в России железная дорога полвека кормила романистов, то в американской литературе поезда населяли лишь джек-лондоновские бродяги и жулики О. Генри. Америка не захотела делить любовь к автомобилю с поездом. Машина идеально соответствует национальному характеру потому, что она дает свободу и относительное одиночество: ни рельсов, ни случайных попутчиков.

В этой стране вождение награждает трансцендентным опытом. Машины, несущиеся по шоссе,— как передвижные церкви: человек, запертый в металлической скорлупе, остается наедине со своими мыслями. Он смотрит не столько по сторонам, сколько внутрь себя. Час за часом, день за днем, год за годом дорога высасывает из него подноготную. Человек за рулем исключается из обычного течения жизни — время замещает пространство. Мы ведь так и говорим: туда три часа езды. И эти три часа — время, отведенное экзистенциальным упражнением.

Подобное состояние напряженного безделья сродни тому, что мы испытываем в очереди, где время так же не заполнено содержанием. Если мы так не любим очереди, то не потому ли, что боимся остаться наедине с собой?

Считается, что Америка возлюбила машину, потому что на это ее обрекли география и история: избыток пространства при дефиците времени. Автомобиль действительно уничтожает пространство, но не время. Напротив, машина растягивает часы, приучая человека к терпению. Мы не раз замечали, что американцам, даже маленьким, отнюдь не в тягость провести целый день в автомобиле, тогда как нам уже через полчаса езды нужно себя чем-то занять.

Впрочем, все эти психологические штрихи относятся к области случайных и произвольных наблюдений. Другое дело — роль автомобиля в истории американского общества. Тут-то все поддается объективному анализу.

Машина заменила Америке революции, создав первое в мире бесклассовое общество. Автомобиль стандартизировал американскую жизнь. Благодаря колесам вся страна стала открытой, незамкнутой структурой, в которой потеряли смысл ценности Старого Света. Неслыханная раньше свобода передвижения уничтожила социальные границы, раскрепостила личность, поддерживая индивидуальность в борьбе с толпой: не рельсы, как в Европе, а шоссейные дороги сформировали облик Америки.

Автомобиль размазал всю страну по обочинам «хайвея»¹, явив миру образ первой цивилизации, обернутой не к селу, не к городу — пригороду.

Пригородный — по-нашему, дачный — образ жизни и есть то кардинальное отличие Америки от Европы, которое должно было бы поражать приезжих. Если этого и не происходит, то лишь потому, что выходцы из Старого Света не могут принять пригородную Америку за настоящую, предпочитая верить, что вся она живет в одном небоскребе.

На самом деле машина убила идею совместного житья. Она разрушила традиционные способы организации пространства, которые прежде объединяли людей. Вся Америка построена по горизонтали, а не по вертикали, что бы там ни говорили про Эмпайр Стейт Билдинг. Страна приспособлена к точке зрения сидящего — человека за рулем. Эти его потребности должны удовлетворять вытянувшиеся по прямой кафе, рестораны, магазины, прачечные, кинотеатры, парикмахерские и секс-шопы. Такой геометрии жизни подчинен весь американский ландшафт, который образован не горами и реками, а большими и малыми шоссе.

Колеса дали Америке не столько мобильность, сколько безразличие к пространству. Главным в конце концов стал не факт передвижения, а его способ — машина. До тех пор пока она исправна, мы ее не замечаем — как ногу или руку. Но сломанный автомобиль мешает жить, как та же рука или нога, но уже в гипсе.

Несомненно, что автомобиль давно уже ощущается физическим продолжением человеческого, во всяком случае — американского тела. Его часто сравнивают

¹ Шоссе.

с одеждой, но пожалуй, тут ближе аналогия с протезом. Действительно, американец без машины превращается в инвалида. Без посторонней помощи его ждет чуть ли не голодная смерть.

Помнится, однажды мы провели неделю в Лос-Анджелесе без автомобиля. Тут же выяснилось, что, если бы не друзья, мы были бы обречены на скитания по унылым окрестностям гостиницы, единственным украшением которых была бензоколонка. Хорошо еще, что там торговали сигаретами и спиртным.

Унизительная зависимость от дружеского участия, усугубленная еще и тем, что лосанджелесцы обожают двухместные спортивные модели, из-за чего одному из нас приходилось передвигаться в багажнике, дала нам почувствовать на своей шкуре беспредельную власть автомобиля в Америке.

Для нас автомобиль — дополнение к радостям жизни, для американца — необходимость, без которой жизнь теряет основную ценность: свободу и независимость.

Но не пора ли вернуться на выставку, от которой нас отвлекли общие рассуждения? Хотя именно они и должны объяснить, почему мы и коренные американцы смотрим на машину по-разному.

Для американцев выставка автомобилей — поход в царство мечты. Представьте себе райский уголок, где можно выбрать себе тело по вкусу — элегантное, но скромное, благородное, но модное, поджарое, но плотное или вальяжное, чтоб не жало. Принципиальная доступность машины — все они ведь продаются за деньги — облакает мечту в реальность: вы можете примерить свой новый облик, посмотреть, как вы будете выглядеть в «Корвете» или «Порше». Машина больше, чем демонстрация престижа, это манифестация личности во всей ее душевной и телесной полноте. Поэтому на нее и никаких денег не жалко.

Но мы так относиться к автомобилю, видимо, уже никогда не научимся. Для нас еще сохранилась прямолинейная, незатейливая связь между автомобилем и его функцией: машина — то, на чем ездят, а все остальное — скорее эстетика, чем метафизика. Поэтому экспонаты этой выставки мы оценивали, как любые другие, — с точки зрения красоты, а не пользы.

Такой подход оправдан еще и тем, что современный автомобиль доведен до предела комфорта. Ну, что еще можно придумать? Сидения с подогревом? Телеэкраны вместо зеркала заднего вида? Компьютер, встроенный в приборную панель? Все это, во-первых, или где-то уже есть, или вот-вот будет, а во-вторых, это мелочи, не стоящие тех тысяч, которые за них берут.

Нет, в сегодняшнем автомобиле главное — форма, а не содержание, дизайн, а не мотор, внешний облик, а не удобства. Машина для рядового потребителя уже потеряла зависимость от технологии, уже утратила родовую память о заводском конвейере. Нынешний автомобиль умело прячет свою структурность. Он выглядит рожденным, а не собранным.

Говорят, что знаменитую фордовскую «Модель-Т» 27-го года любой американец мог починить с закрытыми глазами. Тогда в машинах еще видели остроумное изобретение, доступное все же пониманию неспециалиста. Однако прогресс и в этой области, как и во всех остальных, обрек рядового человека на невежество: кто ж теперь знает, что находится под капотом? Машина, как телевизор или компьютер, требует от хозяина только одного умения — ее включить.

Техническая эволюция повторяет биологическую: приспособление к окружающей среде меняет дизайн так, чтобы машина вписалась в стиль нашей жизни. Не столько законы аэродинамики, сколько общие тенденции культуры диктуют очертания современной машины.

Если до войны автомобиль еще сохранял абрис кареты, если в 50-е годы господствовали долгие и бесцельные «корабельные» линии, то в 90-е машины приобретают более органические формы. Не зря «Автошоу-90» в целом порождает зоологические ассоциации. Это огромный зверинец, где можно найти самую причудливую фауну. «Корветы» с поднятыми кверху дверями, как птица, взмахнувшая крыльями; хищные приземистые «Ягуары», настолько компактные, что под их капот не засунешь и спички; веселые, розовые, как в сказках, слонopodobные «форды»; агрессивные, угрожающе собранные для атаки ястребиные черты «Ламборгини»; амёбная плавность и бесформенность какого-то неведомого нам «Циклопа». Здесь можно было бы найти аналогию

со всем животным царством — от человекообразных до инфузорий.

Пророки «машинного» века Хлебников и Уитмен начинали свою поэтическую карьеру со «звериных» метафор. Сегодня они бы наверняка вдохновлялись не настоящей, а искусственной, автомобильной фауной.

Но особенно нас поразила японский грузовичок «Гоби» — уж для него не украдешь сравнение из Брема, хотя и тут дизайн заимствован из мира животных, только не обыкновенных, а нарисованных, мультипликационных. «Гоби», с огромными лопухими дверцами и симпатичной круглой мордой, немедленно вызывал в памяти образ Микки-Мауса.

Это забавное детище «Ниссана» было на выставке далеко не единственным представителем новой автомобильной породы — несерьезных машин.

Похоже, тут заключено противоречие, которое предсказывает Америке грандиозные перемены. Поразительно, но при всей важности автомобиля для американца конструкторы представили на выставке завтрашние модели, в которых доминирует одна черта: курьезность. Это автомобили для хобби — туристские, охотничьи, рыболовецкие машины-вагоны, фургончики с особыми колесами, на которых катаются по пляжу, безмерной проходимости «джипы» для сафари. Все это автомобильное семейство легкомысленных расцветок и причудливых очертаний предназначено только для развлечений, причем с узкой специализацией (например, машина для серфинга!).

Конечно, такое мотохобби еще не заменяет основной машины, машины на каждый день. Но все же тут можно уловить тенденцию: автомобиль опять превращается из средства передвижения в роскошь.

Дело в том, что, как бы невероятно это ни звучало, машины в Америке доживают свой век. Страна, как насыщенный раствор соли, достигла предела: она не может позволить беспрепятственно плодиться автомобильному стаду.

Чтобы придать этой кощунственной мысли больше солидности, сошлемся на авторитет сенатора Мойнихена, который в журнале «Сайентифик америкэн» доходчиво объяснил читателям, что как в XX веке машины вытеснили поезда, так в XXI столетии автомобили

уступят место другим видам транспорта — прежде всего сверхскоростным поездам на электромагнитной подушке. К этому Америку толкает экологическая необходимость. Так, уже сегодня Калифорния приняла драконовские антимашинные законы. Уже сегодня стало ясно, что проблему дорожных пробок не решить строительством новых дорог: чем больше шоссе, мостов, туннелей, тем больше машин по ним ездят. И никогда дорожному строительству не угнаться за автоиндустрией.

Но главная причина даже не в том, что дальнейшее расширение автомобильного парка не оставит нам ни земли, ни чистого воздуха — многие готовы ради машины обойтись и без того и без другого. Самое важное — общая эволюция цивилизации, вступление ее в постиндустриальную фазу.

В будущем веке машины начнут вымирать, как динозавры, потому что на них некуда и незачем будет ездить. Электронная революция сделает ненужным физическое перемещение: двигаться будут не люди, а информация, пучок электронов. Мир, как предсказывал Маклюэн, станет большой деревней, жители которой будут сидеть по своим домам-пещерам, не испытывая нужды их покидать. Собственно говоря, и сегодня многие американцы ездят на работу больше по привычке, чем по необходимости. Например, программисты.

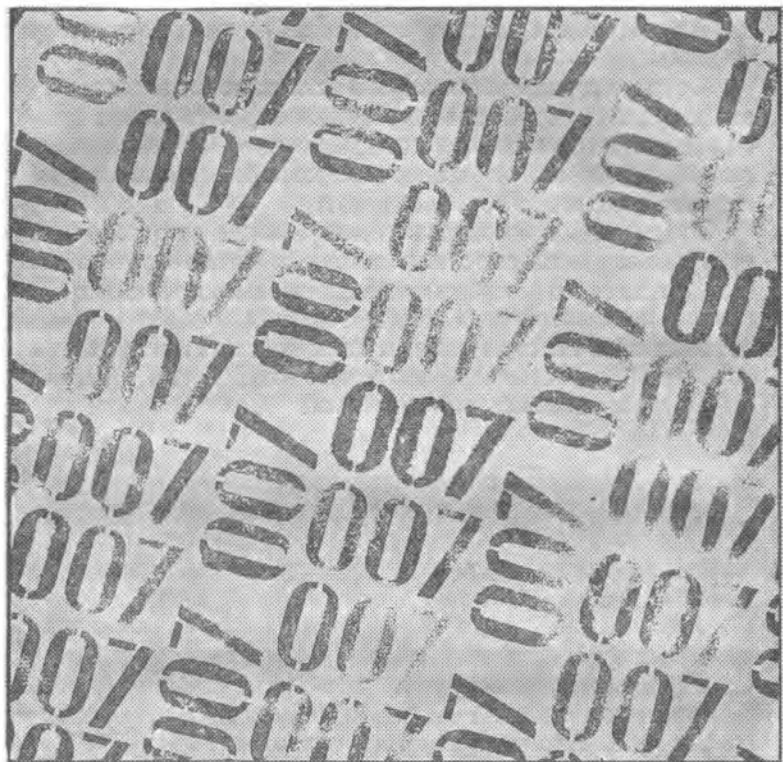
Труд, отдых, общение, покупки — уже очень скоро всем этим можно будет заниматься, не выходя из дома. И тогда машины — нет, не исчезнут, но станут способом проведения досуга, недешевым, но доступным хобби. Их ждет та же судьба, что и лошадь, которую прогресс сделал игрушкой для взрослых.

На «Автошоу-90», как обычно, демонстрировались модели для следующего поколения, того, что будет жить лет через тридцать. Характерно, что все они — изобретенные, естественно, в Японии — предназначаются исключительно для забавы. Тут показывали машину-кричалку, работающую на голосе, — чем громче кричишь, тем быстрее она едет; машину-каталку без крыши, которой управляют лежа, чтобы загорать; машину-робот, которая понимает человеческую речь, правда, пока только японскую; машину-многоножку, которая умеет ходить по лесам и болотам. Короче говоря, весь этот транспорт будущего имеет такое же отношение к средствам пере-

движения, как арабский иноходец к нью-йоркскому сабвею.

Когда в середине прошлого века пароходы вытесняли парусники, корабли научились строить самые красивые и быстроходные в истории суда — чайные клиперы. Но изощренное мастерство кораблестроителей не спасло, конечно, парусный флот.

Эта мысль приходит в голову, когда смотришь на прекрасные, декадентски утонченные машины, которые будут ездить по американским дорогам в последнее десятилетие нашего века. Не прощальный ли это парад автомобиля? Не станут ли модели 90-х для наших детей источником ностальгии по той эпохе, когда машина и Америка казались синонимами?



О БЕССМЕРТНОМ ДЖЕЙМСЕ БОНДЕ

Бонд — Джеймс Бонд, конечно, — отпразднует свой юбилей. Ему стукнет 30.

Ну, на самом-то деле он раза в три старше. Бонд появился на свет в 1953 году, в книге Яна Флеминга «Казино ройял». Тогда ему было 36 лет, значит, сейчас должно быть — сколько?

Однако кого волнует путаница с возрастом! Вымышленные герои плюют на метрику. Кто-то подсчитал, что, если бы персонажи Агаты Кристи и Сименона жили согласно биографиям, придуманным им авторами, то Эркюлю Пуаро было бы 180, а Мегрэ — около 200 лет. Требование правдоподобия привело бы к тому, что действие романов с такими героями-долгожителя-

ми могло бы разворачиваться только среди аксакалов Средней Азии.

Слава Богу, что в вымышленном мире действуют другие законы, законы греческого Олимпа. Герои, вкушившие амброзии, под которой можно понимать популярность, наслаждаются вечной зрелостью и бессмертием.

Джеймс Бонд, как Геракл, совершил свои подвиги и принят за них в сонм нестареющих богов.

Популярность Джеймса Бонда феноменальна еще и потому, что она всеобща. Он — любимец Джона Кеннеди и принца Чарльза. Когда умер отец сверхагента Флеминг, эстафету не побрезговал подхватить прекрасный английский прозаик Кингсли Эмис. Бонд давно стал идолом, образцом для подражания и пародий (в одной из них сыграл Вуди Аллен).

Такой успех не бывает случайным. Его не объяснишь низкими вкусами толпы, хотя бы потому, что сразу возникает вопрос — почему же этим низким вкусам потакает именно Джеймс Бонд?

Бессмертие, которым толпа награждает кумиров, не бывает незаслуженным. Толпа знает что делает, когда отдает свою страсть Робинзону Крузо или Шерлоку Холмсу. Часто она видит тайну там, где интеллектуал находит только пошлость.

Блестящая карьера Джеймса Бонда такую тайну в себе несомненно содержит. Но в чем она? Кто же этот герой, чей псевдоним напоминает номер телефона справочной службы?

По странному, но распространенному заблуждению, фольклор принято считать атрибутом древности. Почему-то мы полагаем, что анонимное народное творчество — это всякие былины, всякие «гой-еси, добрый молодец». Хотя кому как не нам знать, насколько плодотворна фольклорная стихия в стране, где анекдот, частушка, блатная песня были главными жанрами.

Жив фольклор и на Западе. Нас не должно смущать, что он теперь имеет конкретных авторов. Они идут всего лишь на поводу у народного сознания. Авторы только воплощают образы, созданные коллективным разумом. В этом смысле не только Джеймс Бонд, но и Элвис Пресли — фольклорные образы (не зря так живуча легенда о том, что Пресли не умер).

Как раз в нашу, постгутенберговскую эпоху, эпоху

массовых средств информации, фольклорный герой легко побеждает героя литературного. Современный писатель наделяет своего персонажа сложным и противоречивым внутренним миром. Герой же кинематографического боевика фантастически прост. Он целен, как гранитная глыба. Он даже не личность, это плоское, двухмерное изображение человека, лишенное внутренней структуры — сомнений, раздвоенности, нерешительности.

Простота эта происходит не от неумелости авторов, не от сознательной установки на примитивизацию образа, а от следования фольклорному механизму творчества. Нельзя сравнивать Бонда с Анной Карениной, но можно с героем волшебной сказки. Любой фильм про Бонда строго следует ее модели. Авторы никогда не уклоняются от хорошо изученной схемы волшебной сказки, примерно такой:

1. Сказочный герой отправляется в путь, чтобы, скажем, спасти принцессу. Бонд получает задание, скажем, спасти человечество.

2. Герою препятствуют враги — Змей Горыныч, Баба Яга. Бонду противостоит маньяк, сумасшедший профессор, агент КГБ.

3. Герой встречает помощника — волшебника, Сивку-Бурку, Серого Волка. Бонду всегда помогают прекрасные женщины.

4. Герой добывает волшебные предметы — огниво, ковер-самолет, сапоги-скороходы. Джеймсу Бонду приходит на помощь британская разведка. Его снабжают лазерными пистолетами, вездеходами, взрывающимися авторучками.

5. Герой попадает в беду — его сажают в бочку, собираются съесть или просто убить. Бонд оказывается в руках своих врагов, где ему угрожает какая-нибудь экзотическая смерть.

6. Герой освобождается из плена, решив трудную загадку. Именно этому и посвящено главное действие любого фильма о Бонде.

7. Торжество героя заканчивается женитьбой на принцессе. Эпилог фильма всегда застает Бонда в любовном объятии.

Бондиана принципиально бесконечна, как бесконечен фольклор. (Каждый фильм открывается эпизодом, который является развязкой предыдущего приключения.) Бонд никогда не меняется, ничему не учит-

ся, не вспоминает о своей прошлой экранной жизни, не приобретает новых качеств. Как грампластинка, он послушно повторяет одну и ту же древнюю схему. Самое интересное, что героем волшебной сказки он стал именно в кино. Джеймс Бонд Яна Флеминга — всего лишь персонаж очень плохой литературы. Автор описывает его по книжным, а не фольклорным канонам — наделяет внутренним голосом, позволяет рассуждать, жалеть, завидовать. Оказавшись в трудном положении, Бонд Флеминга не знает, что делать. Встретившись с женщиной, не сразу ведет ее в постель.

Враги книжного Бонда обладают зачатками биографии. Мотивы их злодеяний объясняются более или менее прагматически. То есть агент 007 из романов — продукт убогого воображения Яна Флеминга. Киношный Бонд находится всецело во власти фольклорного стереотипа. Причем сказочность бондианы возрастает с каждым новым фильмом. Все дальше он отправляется выполнять свои задания (за тридевять земель). Все труднее становятся сами эти задания (принеси то, не знаю что). Все более чудовищными чертами наделяются его враги (так, появился на экране чуть не трехметровый великан Джоз со стальными зубами).

Приключения агента 007 и есть не что иное, как воплощение мифа в формах современной массовой культуры.

Томас Манн писал: «Миф — это изначальный образец, изначальная форма жизни, вневременная схема, издревле заданная формула, в которую укладывается осознающая себя жизнь, смутно стремящаяся вновь обрести некогда предначертанные ей приметы».

Вот Джеймс Бонд и будит в нас бессознательную память об этой «вневременной схеме». Его создатели оперируют набором архетипов (тех первоэлементов, из которых складывается и волшебная сказка), находящих отражение в «глубинной психологии» каждого человека.

Происходит то, о чем писал теоретик мифологического сознания Карл Юнг: «Архетипические фигуры имеют свойство сопровождаться необычайно оживленными эмоциональными тонами, они способны впечатлять, внушать, увлекать». Обращение к таким фигурам — фундамент успеха поэта, политика, пророка. Каждый из них строит миф, основанный на подсознании людей. Например, Рейган воспроизводил архетип

всеобщего отца. Его популярность базировалась не на конкретных политических обстоятельствах, а на доверии к образу умудренного опытом защитника, доброго, терпимого патриарха. Джеймсу Бонду проще следовать мифологической схеме. В его вымышленном мире нет препятствий. Ему, как какому-нибудь Иванушке-дурачку, просто не на чем споткнуться.

Однако исключительную популярность Джеймса Бонда нельзя объяснить просто удачной эксплуатацией мифа. Ничем другим и не занимается массовая культура. Любой детектив, вестерн, боевик, любовный роман (из тех, что продают в супермаркетах) построен на стандартной комбинации архетипов. Любой из них укладывается в схему, подобную той, что мы использовали для Бонда. Потому дешевка так и популярна, что миф в ней обнажен, не замаскирован сверхсложной символикой Кафки, Маркеса или Феллини.

Чтобы найти ключ к успеху Бонда, мы должны перейти от доисторического уровня к историческому. Миф — всего лишь схема, форма организации материала, которая наполняется конкретным содержанием, продиктованным культурной и национальной традицией.

И вот тут важно, что Джеймс Бонд не только герой волшебной сказки, но и наследник западноевропейской традиции авантюрного жанра. Прямые предшественники нашего агента — д'Артаньян, Дон Кихот, Ланселот и все те, кто с детства пленяют воображение читателей своими приключениями. Впрочем, приключениями ли?

Считается, что любовь к остросюжетному, авантюренному произведению вызывается избытком приключений. Несомненно, битвы, пираты, похищения и всякие прочие внезапные, опасные и экзотические происшествия являются необходимым условием существования этого жанра. Но главное тут все же — особый герой. Только тогда приключенческий роман становится гениальным, когда автору удастся создать адекватного жанру героя. Что выделяет «Трех мушкетеров» из десятков романов того же Дюма? Герои!

Приключения сами по себе служат фоном для раскрытия образа. Разве нас волнует, узнает ли король об измене жены, вернет ли Бекингем алмазные подвески, какую тайну скрывает Атос, не соединят ли, не дай Бог, узы брака д'Артаньяна с госпожой Бонасье? Все это

сюжетный материал, нужный для построения романа, но оказывающийся лишним для посмертного — внекнижного — существования его героев.

Классические персонажи авантюрного жанра несравненно значительней тех произведений, в которых они появились на свет. Ни Дон Кихот, ни Шерлок Холмс, ни три мушкетера не исчерпываются своими приключениями. Главное — они сами.

Западноевропейская литературная традиция столетиями культивировала героя, доминирующей чертой которого было обостренное чувство собственной независимости. Персонажем приключенческого романа он стал именно потому, что условный характер этого жанра начисто отметал какую-либо бытовую или психологическую достоверность. Люди с гипертрофированной честью — существа идеальные, неспособные ужиться в реальном мире (что и доказывает пример Дон Кихота).

Если мы вспомним все, что известно о трех мушкетерах, то придется признать, что люди они неприятные и малоинтересные. Атос — скучный угрюмец, «его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делала его почти стариком». «Тщеславный и болтливый» фанфарон Портос. Арамис, про которого сказано: «Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом». Знаменитые мушкетеры начисто лишены интеллектуальных интересов или духовных порывов. Роман, повествующий, как заботливо указывает автор, о временах «меньшей свободы, но большей независимости», посвящен, собственно говоря, постоянной демонстрации этой независимости. Только о ней и заботятся его герои. В бесконечных дуэлях они демонстрируют, как дорога им честь. Они ищут приключений, чтобы еще и еще раз испытать не смелость — в ней смешно сомневаться, — а дворянский кодекс поведения. Нелепая, декоративная побрякушка становится моральным императивом. Честь для героев Дюма — священное право личности на автономию от общества. Честь противостоит долгу. Вернее, долг в том и состоит, чтобы хранить честь, ни в коем случае не жертвуя ею ради соображений пользы.

Мушкетеры Дюма — принципиальные нонконформисты. Противоречие общепринятому — основа их характера, главный мотив их поступков, единственное оправдание их существования. «Вступить в бой —

значило не подчиниться закону, значило рискнуть головой, значило стать врагом министра, более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек (конечно, д'Артаньян.— *Авт.*) понял в одно мгновение. И к чести его мы должны сказать: он ни на секунду не заколебался».

Вот если бы заколебался — он стал бы героем не приключенческой, а обыкновенной литературы. Именно это и случилось с российской словесностью. Честь для ее героев тоже не пустой звук. Как показательно, что испытаниям дуэлью подвергаются не только Онегин и Печорин, но и их авторы (с той трагической разницей, что вымышленные персонажи оказались более меткими, чем их создатели).

Однако героев русской классики ждала иная судьба. Они по-другому решили проблему соотношения личности и общества, ставшую со временем называться проблемой интеллигенции и народа. И как велика ни была русская литература, приключенческого романа в ней нет.

Зато он расцвел в Европе. Жанр, уходящий корнями в рыцарские представления о неприкосновенности личности, о ее праве противостоять обществу, произвел на свет десятки шедевров, сотни произведений посредственных и мириады дешевых поделок. Но в каждой из них прослеживается одна и та же основа — специфический герой. Такой, как Джеймс Бонд.

Чтобы ощутить, как далеко разошлись общие мифологические схемы в конкретной культурной традиции, достаточно сравнить Бонда с Штирлицем. Штирлиц в той же степени унаследовал особенности нашей классики, в какой Бонд — европейского приключенческого жанра. Если один секретный агент мог бы быть сыном Шерлока Холмса и правнуком д'Артаньяна, то другой пришел из книг Чехова и Достоевского.

Бонд — аристократ, всегда готовый к авантюре. Штирлиц — интеллигент, склонный к рефлексии. Один действует, другой размышляет. Первый не знает сомнений, решителен в своих поступках, не любит скрываться под маской (знаменитая сцена представления: «Бонд, Джеймс Бонд»). Второй — весь списан из Достоевского. Двойник — Штирлиц-Исаев — постоянно подвергается испытанию своей «правдой». И враги у него — искушенные, умные антагонисты (не зря любимцем телезрителей стал гестаповец Мюллер).

Но главное, смысл жизни Штирлица — служить своему народу. Джеймс Бонд — одиночка, авантюрист, спасающий человечество только из страсти к приключениям.

Ничего не стоит перевернуть ситуацию, и тогда Бонд окажется сверхпреступником, сверхзлодеем, не потеряв при этом ни одной из своих черт. Это и естественно — миф выше (или ниже) этики. Миф вне ее. Нам совершенно безразлично, сражаются ли мушкетеры за короля или за кардинала. Кому придет в голову спрашивать, на чьей стороне правда?

Крайний эгоцентризм Бонда выражается в том, что с любым заданием он справляется в одиночку. Британская разведка скорее мешает ему, чем помогает. Бонд и относится к своему начальству соответственно — выполняет только те распоряжения, которые считает правильными, презирает государственные награды, дразнит вышестоящих (вплоть до премьер-министра, но не до королевы, над которой запрещалось смеяться и мушкетерам Дюма). Джеймс Бонд никак не вписывается в свою роль агента. Его служба британской короне — фикция. Одинокий хищник с лицензией на убийство, он рыщет по миру в поисках приключений. Другого дела у него нет и не может быть. Бонд живет в авантюрной вселенной, где существуют только прекрасные женщины, ужасные злодеи и роскошные пейзажи. Естественно, что здесь нет места обычному, земному.

Бонд не знает ни порока, ни добродетели. Он не нуждается в семье (то-то его жену убили через час после свадьбы), в доме (он всегда живет в отелях), в деньгах. Бонд к ним безразличен. Все это возвышает его над толпой. Он — последний аристократ в мире победившей демократии. Бонд — прямая антитеза заурядному, банальному, массовому. Но не за это ли его так любит именно массовый зритель?

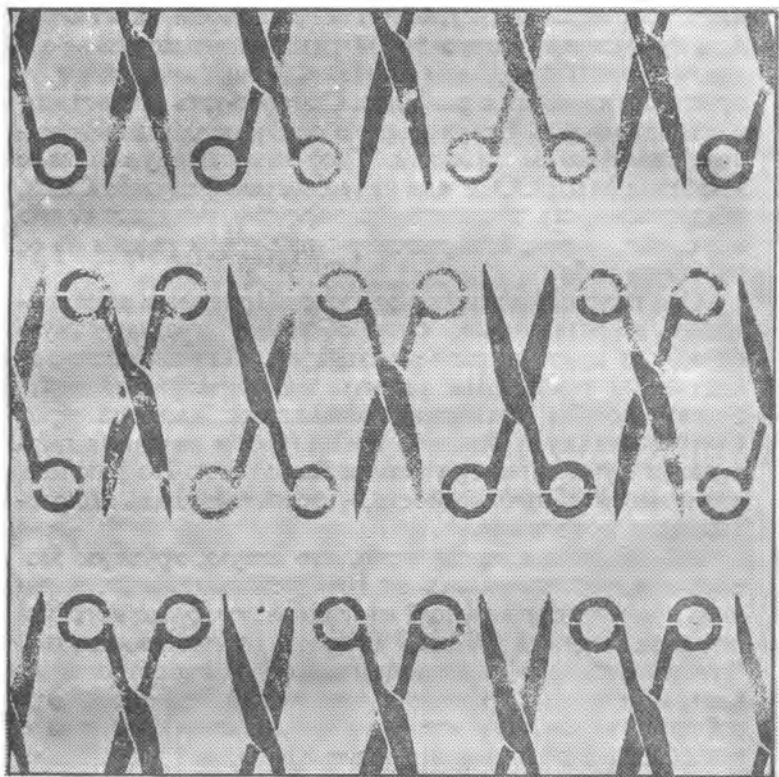
Как это ни парадоксально, но в мире торжествующего большинства, в эпоху всеобщего стереотипа, бунт против массовой культуры осуществляет самый банальный из штампов — агент 007. И в этом бунте человек толпы на стороне воинствующей индивидуальности. «Большой» человек Джеймс Бонд противостоит «маленькому», но последнему лестно ассоциировать себя с первым. Зрители бондианы — это толпа, презирающая самое себя.

И тут можно провести еще одну параллель, пусть она будет последней. Другой феномен популярности, несравнимый, конечно, с Бондом по художественным достоинствам,—фильмы Чаплина. Его Чарли тоже противостоял толпе, но он был ниже ее. Великолепный супермен и нищий бродяга находятся на противоположных социальных полюсах, но они равно далеки от мещанской нормы. Чарли не пускают в средний класс, а Бонд туда сам не хочет, и оба они отражают экстремальные модели поведения.

Слишком «большой» человек Бонд и слишком «маленький» Чарли воплощают самый древний из мифов — миф о личности, выделившейся из безликой среды.

Чем тотальнее становится массовое общество, тем больше его потребность соперничать архетипу такого героя.

Судя по всему, Джеймса Бонда действительно ждет бессмертие.



О ЦЕНЗУРЕ

Организация «Американский путь», поставившая своей задачей следить за выполнением первой поправки к конституции, опубликовала тревожные данные. За один год зарегистрировано более 1000 случаев изъятия книг, сокращения классических текстов и других вмешательств в школьную программу.

Сразу возникает вопрос: кто эту цензуру осуществляет? Ведь вроде бы никаких специальных инстанций в Штатах не предусмотрено.

Практически все возмутительные случаи цензурного вмешательства — дело рук школьных советов. То есть общественности.

Вообще-то общественность — явление отвратительное. Почти целиком она состоит из пенсионеров, не

имеющих серьезного хобби. На всем своем многовековом пути от инфузории до Эйнштейна эволюция не создала ничего гаже, чем отставной подполковник, не пристрастившийся к рыбалке. Способность общественной отравляющей среде не снилась никаким химическим заводам. Бесславно отслужив свое в войсках МВД СССР или интендантской службе США, общественность поселяется за городом, покупает ведро почтовых марок, и торжествующие трели рвутся из ее отечного зоба.

Она находит опечатки в газете «Правда» и энциклопедии «Британника». Она обличает транспортную службу и коммунальное хозяйство. Она забрасывает инстанции проектами защиты от насморка и нейтронной бомбы, стаканов-невыливашек, каналов через Сьерра-Неваду и Валдай, поголовного введения портупей и нумерации домашних животных. Но главное, что волнует общественность, — нравственность подрастающего поколения.

Ей, общественности, ясно, что юную, хрупкую мораль следует ограждать от всех нежелательных влияний, в том числе влияний классиков, которые преступно не заботились об этой стороне своего творчества. Что, например, может подумать об отношениях мужчины и женщины школьник, читающий Тургенева? Это сейчас кажется, что все его героини сидят на закате с толстой косой наперевес, а все герои стоят перед ними на коленях в костюмах-тройках. В девятом классе мы вычитывали из «Отцов и детей» совсем другое: «Этакое богатое тело! — продолжал Базаров, — хоть сейчас в анатомический театр». Надо сказать, такие обороты в целом полезны для изучения классики. Суть споров Базарова с Кирсановым давно стерлась в памяти, но, слава Богу, остался хоть сам нигилист, режущий лягушек и говорящий циничные слова. Но, с другой стороны, как не встревожиться, что ребенку внушаются с помощью высокого авторитета безнравственные понятия.

Точно так же рассуждает американская общественность, потребовавшая сокращения «Ромео и Джульетты» в школьном курсе. Вроде бы Скалозубы — хуже некуда. Но прочтем:

— Меньших лет, чем ты,
Становятся в Вероне матерями.
А я тебя и раньше родила.

Это наставляет дочь леди Капулетти, ту самую Джульетту, о которой чуть раньше сказано: «Ей нет еще четырнадцати лет». Шекспиру, значит, можно — а нам?

А Чосер, великий классик, выражается еще определеннее:

А вот апостол, это знаю твердо,
Он женщине не заповедал гордо
Быть девственной...
Советовать нам могут воздержанье,
Но ведь совет не то, что приказанье.

Тут-то школьный совет и задумывается: и так в школе, по некоторым данным, всего одна девственница — прыщавая учительница рисования.

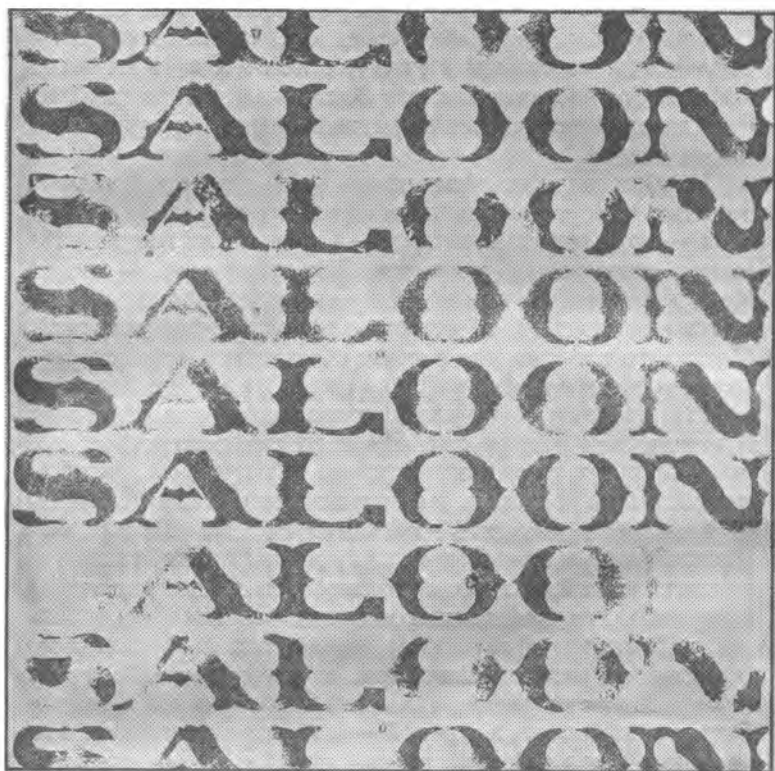
Едва только самые добропорядочные учителя и родители — члены школьного совета, собравшись с духом, захотят что-нибудь изъять или сократить, поднимается буря. И правильно поднимается: не для того классики писали, чтобы их подполковники редактировали. Но с другой стороны, и пенсионеров понять надо: под окнами до утра музыка, на улице хулиганство, никто не хочет идти на войну. И будет только хуже, не зря ведь читают в школе черным по белому написанные жуткие слова:

«В такой гнусной школе я еще никогда не учился. Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал... Было там несколько хороших учителей; и все равно они тоже притворщики... Сплошная липа. И учатся только для того, чтобы стать какими-нибудь пронырами, заработать на какой-нибудь треклятый «кадиллак», да еще вечно притворяются, что им очень важно, проиграет их футбольная команда или нет».

Вот сидит общественность и размышляет. Дать прочесть один из величайших американских романов — «Над пропастью во ржи» или спрятать от греха подальше? И конечно же, спрячут. Потому что запретить всегда проще, чем объяснить.

Так школьные советы в разных местах изъяли из библиотек Сэлинджера, Чосера, Шекспира, «Гекльберри Финна» Марка Твена, «О мышах и людях» Стейнбека, «Убить пересмешника» Харпер Ли и даже «Дневник Анны Франк». Последняя книжка попала под запрет, видимо, чтобы дети не расстраивались зря: это же все

давно было. Тысяча случаев цензуры. На 45 миллионов школьников. В общем-то немного: ведь каждый запрет касается, слава Богу, только одной конкретной школы. Это не указ об изъятии, действующий от Бреста до Камчатки. Но тут сравнения неуместны: когда порежешь руку, мало утешает соображение о том, что была мировая война.



О СТРАНЕ КАЛИФОРНИИ

За годы зарубежного житья мы довольно тщательно объездили Европу, посещали и другие части света, оставляя американский Запад на потом. Так столичные жители годами не бывают в театре — только потому, что он тут, рядом — и диву даются шустрым провинциалам, успевающим за неделю обегать все шумные новинки. Неизвестно, когда мы собрались бы на противоположный берег, но вот пришло приглашение из Сан-Франциско. Посмотрев город, мы взяли напрокат машину и двинулись по Калифорнии и Неваде, все больше удивляясь тому, что для поездки сюда не нужна виза. Чем больше мы удалялись от крупных городов, тем необычнее становилось все вокруг, и вдруг на бензоколонке мы недоуменно убеждались, что тут все тот

же язык, все та же валюта. Забравшись в горы Сьерра-Невады и даже перевалив через них, мы попали если и в Америку, то совсем в другую, не похожую на наши края. Такое впечатление, что Восточный и Западный берега заселили совершенно разные люди. Наверное, так оно и было.

Нам никогда не доводилось мыть золото. Главные золотые лихорадки пришлось на вторую половину XIX века — это первое. И второе — мы не были непризнанными советскими поэтами. (Признанными — тоже.) Как известно, в конце 50-х — начале 60-годов если поэт не печатали, он уезжал с геологической партией. С первого взгляда это вполне объяснимо: человек разочаровывается в устоявшихся ценностях и бросается во власть стихии в поисках душевного отдохновения и творческих импульсов. Но если присмотреться, все это выглядит довольно странно и глупо: от системы ценностей не убежишь, и с точки зрения тактической куда полезнее проводить изыскания не в поле, а в редакциях, а если уж примыкать к какой-то партии, то к коммунистической, а не геологической. Что же до творческих импульсов, то у настоящего поэта их всегда хоть отбавляй. Скиталец Байрон не превосходит богатством образов домоседа Шекспира, а по стихам Тютчева и Фета никак не видно, что один большую часть жизни был дипломатом, а другой — сельским хозяином. Но уж такое было в России романтическое время, что в геологи отправлялись многие умные и талантливые люди: Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Глеб Горбовский, Дмитрий Бобышев, Алексей Хвостенко и т. д.

По сопкам, сызнава по сопкам,
И радиометр трещит,
И поднимает невысоко
Нас на себе алданский щит.

Это — Бродский. Поэт — поэт, а знает, что такое радиометр, или знал, или ему, по крайней мере, известно было, что радиометру положено трещать. Мы ничего этого не знаем, и романтика поиска от нас всегда была далека (не считая поиска недостающего рубля, что тоже довольно увлекательно). А поэты бродили по разным там плоскогорьям, что-то искали. Естественно, что по тем же романтическим канонам правильнее было бы искать золото, а не селитру.

Впервые геологическими навыками мы овладели недавно на кухне в Манхэттене. Обидный парадокс заключается в том, что именно в этих местах находятся богатейшие россыпи в мире, но не залегают, увы, жилами, а рассованы по карманам совсем других людей. В таких условиях наши старательские таланты как-то не смогли проявиться: то ли не те жилы, то ли наоборот — жилы еще те.

На кухне мы работали со стопроцентной гарантией — это было обещано в инструкции к тому мешочку, который мы купили в Неваде, в городке Золотой Холм. Мы высыпали песок в плоский тазик, долили воды и стали встряхивать тазик круговыми движениями, выплескивая песочную жижу в раковину. Процедуру надо было повторить несколько раз, и нас очень беспокоило — как мы узнаем, что намыли золото. Нам никогда не приходилось видеть вблизи этот благородный металл — даже обручальные кольца попадались из сомнительных сплавов. Песка оставалось уже чуть-чуть, в кухню под видом праздного интереса набились алчные жены. Последний всплеск — и!..

Намытое золото сейчас хранится у нас поочередно, по месяцу у каждого, при передаче происходит проверка: дружба дружбой... Теперь мы следим за курсом и в благоприятный момент выйдем на рынок. Но главное даже не то, что мы разбогатели, а то, что впервые поняли, что означает этот ни с чем не сравнимый азарт.

Поразительно, что эти шесть крупинки, в общем-то похожие на лежащие рядом камешки и колчеданные огрызки, не оставляли никаких сомнений даже для наших невежественных взоров. Как-то вдруг наполняется содержанием абстрактное понятие «золото», которое давно стало просто синонимом роскошного дома или собственного острова. Есть настоящая, волнующая, мистическая загадка в этом металле, и нельзя его спутать ни с каким другим.

Знаменитую «Хванчкару» делают из винограда «александроули». Этого сорта по всей Грузии сколько угодно, но только собранный на крошечном единственном пяточке возле селенья Хванчкара он становится именно этим тончайшим вином.

Великая справедливость — в такой исключительности и редкости: драгоценных вин, золотых залежей, человеческих талантов.

Небольшой старательский опыт был необходим, чтобы понять ту другую Америку, которую мы увидели в Калифорнии и Неваде. Мы в Нью-Йорке сразу поразились его сходству с книгами Драйзера и с тех пор нашли здесь и Сэлинджера, и О. Генри, и Вашингтона Ирвинга. Скотта Фицджеральда мы обнаружили в Новой Англии. Не было, да и не могло быть любимых американцев детства: Марка Твена, Брет Гарта, Джека Лондона. Им принадлежал Запад. Это у них мы прочли про веселых, грубых и решительных людей, превыше всего ставящих дружбу и честное слово, которые шли на запад и на север открывать новые земли и добывать богатство прямо из этих земель. Эти люди должны быть похожи на наших непризнанных поэтов, поскольку тоже ехали за туманом.

Но туман туману рознь, и если те люди, которые в середине прошлого столетия появились в горах и долинах Сьерра-Невады и заблуждались на свой счет, то только в том смысле, что думали стать миллионерами уже через час после прибытия. Если быстро окинуть взглядом золотоискательскую литературу, то вдруг поразит мысль, что плохих людей в ней нет. Это похоже на советскую прозу 50-х годов, когда замечательный парторг боролся со вспыльчивостью замечательного директора. Некоторые старатели были чуть более алчны, чем хотелось бы, но в нужный момент они выбрасывали намытый песок, чтобы положить на нарты больного товарища. Другие слишком много пили, но зато были щедры, а если драчливы, то по делу. Третьи слыли скупердями, а потом оказывалось, что всю добычу они отправляют старикам родителям в Нью-Джерси.

Этот единственный в истории американской литературы «розовый» жанр достиг вершины в выдающихся рассказах Джека Лондона. Он писал о клондайкской золотой лихорадке конца века, но стереотип золотоискателя был тот же, заложенный на полстолетия раньше в Калифорнии и Неваде. Джек-лондоновские и бретгартовские старатели были похожи, как близнецы: и красными плотными рубашками, и высокими сапогами, и страстью к выпивке, и благородством к женщинам, и общим светлым образом. Они были так хороши между собой, потому что им противостоял общий враг: холод и снега на Аляске, горы и пустыни в Сьерра-Неваде. И там и здесь — голод, неуют, одиночество, напрасные надежды. Так вот наши золотоискательские

поэты, переругавшись друг с другом и с властями, уходили туда, где теоретически единственным врагом была стихия.

Во всей золотой эпопее Америки на самом деле был только один год, когда жизнь соответствовала тому образу, который сделала из нее позже литература. Это 1848 год. 24 января столяр и плотник Джеймс Маршалл, работавший на лесопилке Джона Саттера, шел вдоль Американской реки у западных склонов Сьерра-Невады. Сейчас Маршаллу поставлен памятник, имя его вошло в школьные учебники истории, и существует подробная биография этого мрачного и абсолютно никчемного человека. Вот что в ней сказано: «Среди гравия, лежащего под шестидюймовым слоем воды, его взгляд привлек какой-то блеск. Поднятый камешек оказался тяжелым и не похожим на виденные им раньше. По весу он понял, что это не слюда. Серный колчедан должен быть хрупким. Он поднялся на берег и, положив свою находку на плоский камень, ударил по ней другим. Камешек не рассыпался и даже не треснул, а немного сплюснулся от удара».

Через четыре дня, набрав еще несколько самородков и проскакав с ними 50 миль верхом, Маршалл явился в форт своего нанимателя Саттера. Тот изучил образцы, почитал справочники, капнул на находки азотной кислоты и взвесил их. 28 января 1848 года стало ясно: в Калифорнии найдено золото.

Присутствие при этом событии Джона Саттера наводит на мысль о возможности совсем иного витка истории. Дело в том, что именно Саттер купил у русских форт Росс — отлично оснащенную по тем временам крепость на берегу Тихого океана к северу от Сан-Франциско. Русские добывали мех морской выдры, который высоко ценился среди китайских мандаринов: как видим, уже тогда завязывался сложный клубок американо-русско-китайских отношений. Когда всю выдру в округе истребили, незачем стало держать гарнизон в такой дали от России. Пианино и наряды комендантской жены отправили на родину, а пушки, припасы и строения купил Саттер. Это произошло в 1841 году. Если бы: а) морской выдры оказалось больше, или б) Саттер не захотел или не смог купить форт Росс, или в) Маршалл прошел по Американской реке на семь лет раньше — во всех этих случаях русские остались бы в Калифорнии. И если учесть, что к 40-м годам именно

Россия обладала здесь самой значительной военной силой, подкрепленной аляскинскими гарнизонами и тихоокеанскими кораблями, то неизвестно — какой национальности были бы золотоискатели Америки.

Самым романтическим и привлекательным городом мира стал бы не Сан-Франциско, а Петропавловск. В Лос-Анджелесе было бы сорок сороков церквей. Правительство перебралось бы поближе к золоту, а Кремль украшал бы Сан-Диего. Ильич бы скрывался в Орегоне и, прибыв с тезисами по Тихоокеанской железной дороге, ударил по почтам и телеграфам Сакраменто. Мексику присоединили бы на правах союзной республики. В Долине Смерти расположился бы с лагерями чекист Френкель. Солженицына выдворили бы на Кубу. А мы эмигрировали бы из Сиэттла на Рижское взморье.

Но вместо наших предков золото стали мыть те люди, которые тогда нашлись в Калифорнии: американцы, перевалившие через Сьерра-Неваду или проплывшие вокруг мыса Горн, проникшие на север в поисках заработков мексиканцы, международные бродяги, даже индейцы, которые уже поняли, что за золото можно получить огненную воду. Вот тогда, в 1848-м и был по-настоящему «розовый» золотоискательский период. Никто еще толком не знал, как и что делать и каким образом распоряжаться добычей. В тот год в палатке можно было оставить таз с намытым золотым песком и уйти на сутки искать новую жилу: найти золото было так же легко, как украсть. То есть, конечно, легче, потому что с редкими ворами поступали патриархально: после минутного разбирательства вешали без суда.

По воспоминаниям о 48-м годе и сложился стереотипный образ добродушного и сурового золотоискателя. Потому что те, кто явился вслед, ничего общего с этим образом не имели. Но зато это были настоящие американцы, основавшие настоящую Америку.

В историю и язык Америки с тех самых пор вошло понятие — «поколение 49-го», «люди 49-го», «49-ники». Дополнительные пояснения тут не нужны. Это отважные, предприимчивые, беззастенчивые, хитрые, жестокие, остроумные люди, подчиняющиеся только своему кодексу чести и этикету.

В Калифорнии, а также в Неваде (там серебряно-золотая лихорадка началась через десять лет) не было ничего до нашествия с востока, до прихода американ-

цев. Вот это и есть главное: пришли именно американцы, то есть представители той нации, которая уже сложилась за два столетия на Восточном побережье страны. И если там их жизнь подчинялась укладу, вывезенному из стран предков, то здесь, на новом месте, и должна была возникнуть новая Америка. Другая Америка. Правильная Америка.

Золотая лихорадка в Калифорнии 1849 года, серебряно-золотая лихорадка в Неваде 1859 года — эти события преобразили страну. И суть даже не в том, что центр тяжести заметно сместился к западу. Главное: образ Америки получил завершенность. Именно тогда она стала такой землей обетованной, куда потянулись миллионы людей, в том числе и мы.

В Новый Свет всегда ехали за богатством и свободой. Но одно дело — разбогатеть в обществе свободной конкуренции, беспрепятственно используя свои природные таланты — но все же по правилам игры, соблюдая установившийся порядок. И другое дело — небрежно нагнуться, подобрать с земли куски блестящего металла и той же ленивой походкой продолжить путь, только уже миллионером.

Одно дело — наслаждаться свободой бессословной республики, но имеющей все же в своем распоряжении армию, полицию, суд, тюрьмы. И другое дело — не знать над собой никакого суда, кроме движений собственной бессмертной души.

Такое мгновенно приобретенное и огромное богатство, такая абсолютная свобода — при минимуме средств и жертв — стали доступны на американском Западе. И такой образ страны остался не только в вестернах, как иногда кажется, — это и есть тот самый сегодняшний образ, который зовет и манит. Подспудно каждый считает, что кто-кто, а уж он-то точно едет как раз в такую Америку. Формула такой (реальной? воображаемой?) страны: неограниченная свобода неограниченного обогащения. Этой формулой Америка обязана золотой лихорадке.

Разбогатеть первым старателям и вправду часто удавалось быстро и легко. Истории о внезапных Крезях охотно печатали газеты, с вожделием расписывая, как тратят деньги нувориши. Ничего такого особенного разбогатевшие старатели не придумывали, что бы не было нам известно по пьесам Островского. С омерзением глотали устриц, давились шампанским, выписывали девочек и театры. В невадском городе Вирджиния-

Сити мы были в оперном театре времен лихорадки. Сочетание помпезной роскоши с убогой нищетой — похоже, это и было основным стилем золотоискательского быта.

Нравы были незатейливы, да и откуда бы взяться тонкому обхождению. Это только в следующем веке из вестерна в вестерн стали кочевать немыслимо благородные и изысканные молодцы, потрясавшие своим галантерейным обхождением с женщинами. Но в первых золотоискательских поселках и городках женщины были только двух типов: поборницы морали и проститутки. Первых уважали и не слушали, вторых не слушали и унижали — и ублажали; так или иначе, светским манерам трудно было научиться и у тех и у других.

Моралистки со сладким ужасом погружались в мужское царство невежества и разврата, судорожно цепляясь за Библию, но высшим их (хотя и немалым) достижением стало только учреждение школ. Да и в школы эти учителей найти было непросто, потому что, ставя двойку, никогда нельзя было знать заранее, расплатится ученик или выпалит из револьвера.

Проститутки освоились стабильнее. В Вирджиния-Сити когда-то был огромный, не уступающий сан-францисскому квартал «красных фонарей». Теперь от былого процветания остался только музей, посвященный этой тематике, где мы с волнением разглядывали макеты публичных домов, возбуждающие и противозачаточные средства, портреты наиболее прославленных шлюх.

Редким женщинам, занимавшим промежуточное положение между проститутками и моралистками, приходилось туго: правда, по неписаному этикету их не трогали, но вдовья участь грозила им постоянно. Но таково было полублатное очарование старательского угара, что и после страшных несчастий женщины не оставляли этот странный мир, перемешавший горе и радость. Об одной такой жертве и одновременно победительнице золотоискательской лотереи мягко упоминает Марк Твен: «Вдове Брюстер посчастливилось в «Золотом руне»: она взяла восемнадцать тысяч долларов — а ведь траурного чепца купить не могла прошлой весной, когда каторжник Том убил ее мужа на поминках по Лысому Джонсону».

Этот пассаж характерен для Марка Твена невадских

лет. 26-летний Сэмюэль Клеменс, тогда еще не взявший свой знаменитый псевдоним, всюду хулиганил в газете «Территориал энтерпрайз» — здание редакции до сих пор стоит на главной улице Вирджиния-Сити. Стилль его, скромно говоря, оттачивался на репортажах-«ежедневках». Ежедневными считались вести о новооткрытых залежах золота и серебра, судебные отчеты и убийства. Это была рутина, которой занимались начинающие репортеры. Вот отрывок из репортажа под милым названием «Опять стреляют и режут», опубликованного в «Территориал энтерпрайз» в 1861 году:

«Гумберт вдруг подошел к ним с противоположной стороны улицы с ружьем в руках. В десяти или пятнадцати шагах от Ридера он закричал его провожатым: «Берегись! С дороги!» И едва успели они отскочить, как он выстрелил. Ридер между тем пытался спрятаться за большой бочкой, которая стояла под навесом магазина «Клопсток и Гаррис», несколько пуль, однако, попало ему в нижнюю часть грудной клетки — он качнулся вперед и упал плашмя возле бочки. Заслышав выстрелы, на улицу высыпало все население из близлежащих домов; народ был приятно возбужден и говорил со смехом, что все это совсем как «в славном шестидесятом году».

Нас как журналистов восхищает этот репортаж, особенно точность указания — под каким именно навесом стояла бочка, и неуверенность репортера — десять или пятнадцать шагов было от Гумберта до Ридера. Именно так писал «Севастопольские рассказы» Толстой и военные корреспонденции Хемингуэй.

Пальба шла повсюду, и Твен признается, что тоже постоянно ходил с пистолетом, но лишь для того, чтобы не выделяться экстравагантностью облика.

Калифорния сейчас — самый населенный и богатый штат США. В Неваде жителей меньше, чем в Кишиневе, и если бы не азартные игры — было бы меньше, чем на Брайтон-Бич. Все дело в природе. Благословенные калифорнийские долины, леса, длинная линия у берега с удобными бухтами — и голая невадская пустыня, отгороженная от соседних райских мест снежными вершинами. Переезжая из Калифорнии в Неваду, будто переходишь в одном кинотеатре из зала в зал — от видовой картины к жестокому вестерну. Сходство это усугубляется еще тем, что в Неваде больше свободы

в торговле оружием, разрешены азартные игры и можно без формальностей жениться или развестись. Коротче — больше той самой свободы, которую принесли с собой на Запад устремившиеся за золотом скитальцы.

Оружием мы не интересуемся, полагая, что если приобрести пистолет, то он рано или поздно выстрелит: мало ли кто досаждаёт тихому человеку. С разводами мы тоже решили повременить, хотя совершить перемены в своем матримониальном статусе призывают рекламы в самых неожиданных местах: например, в будке на железнодорожном переезде, в уборной казино, в бассейне гостиницы. Устоять же перед соблазном игры невозможно. И на озере Тахо, и в салуне в Вирджиния-Сити, и в винном магазинчике в Голд Хилл, и, конечно же, в гигантских игорных залах Рино — всюду мы играли, бесстрашно рискуя монетами достоинством не более чем в 10 центов. И даже так — умудрились проиграться. Поистине проклятое место. Как писал тот же Марк Твен, «существует предание, что сам Господь Бог создал Неваду; но если вы посетите ее, у вас сложится иное мнение».

Вернувшись в Нью-Йорк, замечаешь, что еще недавно такие реальные Калифорния и Невада снова превращаются в кино. Все эти овеянные ужасом и восторгом места золотой лихорадки всегда существовали в таком целлулоидном варианте. Потом мы отправились туда и убедились, что все это есть на самом деле — золотые холмы долины Сан-Хоакин, пестрые ковровые поля Сакраменто, самое красивое в мире озеро Тахо, ручьи Золотого каньона, ослепительные пики Сьерра-Невады, салуны Вирджиния-Сити, лесопилка Саттера на Американской реке... И вот теперь это снова становится кадрами хорошо знакомого фильма.

Наверное, это правильно. Та Америка, которую соорудили для себя американцы на Западе, не исчезла — пусть супермаркет в легендарной Соноре ничем не отличается от супермаркета в твоём нью-йоркском квартале: так и должно быть, прогресс налицо, и меняются даже сельпо на Смоленщине. На золотоносных ручьях — мотели, на Тахо — водные лыжи, вместо серебряных залежей Комстока серебро качают игорные дома Рино. Но главное — образ — осталось. Неограниченная свобода неограниченного обогащения. Великая американская целлулоидная мечта.



О ЖЕНЩИНЕ В ОБЪЯТИЯХ КРОКОДИЛА

Знаете ли вы, как похудеть на пятнадцать фунтов за четыре дня? Слышали ли вы, что взрыв в Чернобыле вызван летающими тарелками?

Читали ли вы историю ребенка, рожденного дважды? Если нет, то вы относитесь к тем снобам, что презирают бульварную прессу. И напрасно.

Мы живем в мире, построенном на достоверных, проверяемых фактах. В основе ежедневной рутины лежат точные, как расписание немецкой железной дороги, сведения. Наша жизнь предопределена, как текст из учебника иностранного языка — «Джон встал, умылся и пошел на работу». Причина и следствие здесь всегда педантично ясны: если Джон проспит, он опоздает на

работу. А если не проспит, не опоздает. И так изо дня в день от колыбели до могилы.

Но рядом с нашим обыденным позитивистским миром — блестящая, увлекательная вселенная бульварной прессы. Она существует по другим законам, куда интереснее тех, которым вынуждены следовать мы.

Если рядовой человек исповедует плоскую мораль «упорство и труд все перетрут», то читатель какой-нибудь «Стар» знает, что достаточно за шесть долларов купить амулет, и все: богатство, здоровье, счастье у него в кармане (результат гарантирован). Значит, упорство и труд следует употреблять на добывание всего лишь шести долларов, а потом можно положиться на амулет, производство которого основано «на точных исторических документах времен царя Соломона».

Современный человек стал современным, когда наука ему объяснила, что Бога нет. Что в основе всего лежит не чудо, а электроны, протоны и витамины. Учебники заменили наивную веру, но не изменили человеческую природу. Потребность в чуде осталась такой же насущной, какой она была в каменном веке. Жизнь невысказанно пресна, если в ней нет места для необъяснимого, загадочного, мистического. Циничная и бессовестная бульварная пресса делает великое дело, предлагая нам альтернативу — энциклопедию чудес.

Та пестрая, безвкусная газетенка, которую мы презрительно отпихиваем в супермаркете (не забывая, впрочем, взглянуть на заголовки), скрывает в себе бездну тайн. Это и понятно: ничего, кроме тайн, там не печатается. Пусть солидная «Нью-Йорк Таймс» публикует тягомотину насчет налогов. Желтая «Сан» вместо этого предложит рецепт «Как домино поможет угадать счастливые номера в лотерее».

Каждая строчка в бульварной прессе — сенсация. А сенсация в наш атеистический век заменяет чудо. Люди, про которых пишут в таких газетах, не имеют ничего общего с нашими соседями. Скорее они близки мифическим героям прошлого. Они живут прекрасной загадочной жизнью, как тот младенец, устами которого вещает провидение. Лечат их не врачи, а дерево, посаженное Девой Марией. Деньги им приносит не зарплата, а заклинания. И смерть их обставлена кошмарными деталями: «Человек съеден крысами в больнице Порто-Пренса».

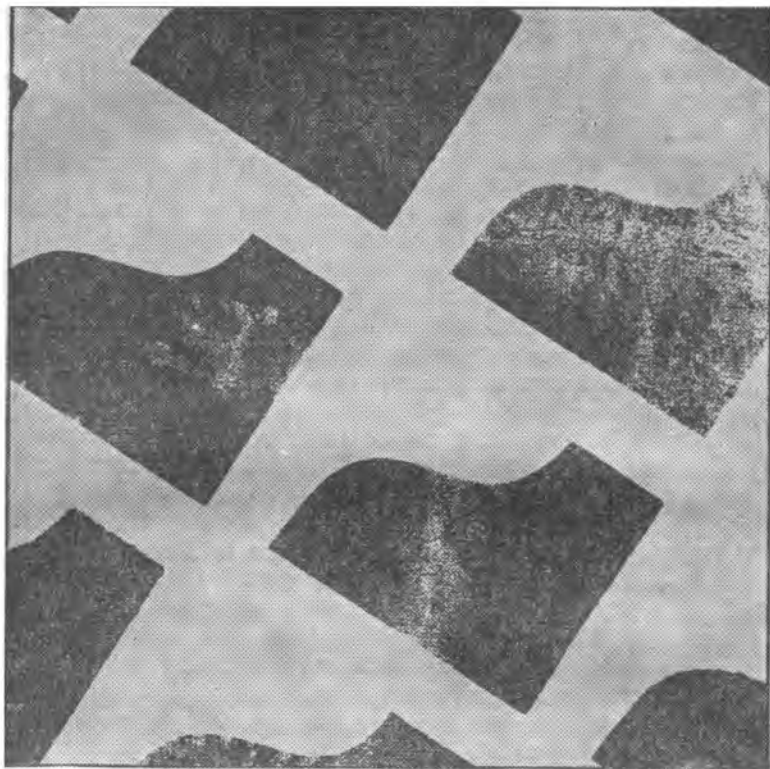
При этом самые популярные герои бульварной прессы те же, что и в обычном мире. Это актрисы, спортсмены, певцы. Но здесь к их заурядной славе прикасается неведомое: «Как стало недавно известно, принцесса Дайана в прошлой жизни была звездой стриптиза».

Дотошный читатель может спросить, откуда стало известно. Но к этому желтая газета как раз готова. Все ее сенсации основаны на точных научных знаниях. Ученый — главная фигура, стоящая у истоков чудесного. Он заменяет древнего жреца, вещая на научном жаргоне о тайнах мироздания. Если раньше чуду сопутствовала теологическая терминология, то теперь оно невозможно без ссылки на докторскую степень. Подспудное уважение к непонятному миру науки убивает последние сомнения у читателя, знакомящегося с материалом «Больные зубы приводят к СПИДу». Есть у бульварной прессы и свои географические симпатии. Вот тут нам, эмигрантам, можно гордиться, потому что самая большая плотность чудес приходится на Россию. Там наяву происходит то, что американцы видят только в триллерах. Ребенок космического происхождения обнаружен в Ташкенте. Незрячий мужчина родил двойню. По сообщению отца Василия Зорбачева, в Таджикистане наконец обнаружен вход в преисподнюю. Тысячи астральных тел витают над местом чернобыльской катастрофы.

Географы античности все чудеса помещали в Индию. Она была так далеко, что никого не удивляло, если в Индии муравьи в человеческий рост охотятся на людей с песьими головами.

Полнос тайн сегодня переместился в Россию, что говорит о своеобразном авторитете нашего отечества. Бульварная пресса делает вид, что говорит правду. Но на самом деле она ставит читателя перед тем же выбором, что и любая религия, — верить или не верить?

Как бы читатель ни отвечал на этот вопрос, желтые газеты вносят в его жизнь новое измерение. Они оставляют даже самому отчаянному скептику лазейку в удивительный мир, где сто чашек чая в день сохраняют молодость и женщина находит счастье лишь в объятиях крокодила.



О ГЕРЦОГЕ ЭЛЛИНГТОНЕ

В Штатах с помпой отметили 90 лет со дня рождения и 25 лет со дня смерти Дюка Эллингтона, что понятно: джаз — главный американский вклад в музыку, тут американцам равных нет.

Но в эти юбилейные дни стало особенно заметно, что Эллингтон портит красивую и стройную картину, сложившуюся за десятилетия. Согласно принятой схеме, джазовый талант должен родиться в бедном пригороде Нового Орлеана или Канзас-Сити, пристраститься к наркотикам и алкоголю с 14 лет, вести жизнь бродяги, нетвердо представлять себе собственное семейное положение, нуждаться, а едва разжившись де-

ньгами, немедленно все потерять в сомнительных предприятиях, в которые втянули дружки с уголовным прошлым.

Эта схема, впрочем, вполне годится для героя, собирающегося прославиться в любой иной области, не только в джазе. Но джаз в этом смысле убедительнее: его таланты — негры. И их дорога к славе — и в славе — проходила часто именно так. Но подобно бедным и бесправным неграм ведут себя и попавшие в джазовую спираль богатые белые. Белых музыкантов, вставших в один ряд с чернокожими джазистами, можно сосчитать по пальцам, и первый из них — трубач Бикс Бейдербек, сын промышленника и внук банкира, выходец из аристократической викторианской семьи. Бейдербек спился и умер в 26 лет. Видимо, искусству интуиции и импровизации, каким по преимуществу является джаз, предписана непутевость и противопоказана какая бы то ни было правильность вообще.

Дюк Эллингтон принятый канон нарушает. Сын родителей, принадлежащих к крепкому негритянскому «среднему классу», он и прожил свою жизнь долго и благополучно. Эллингтона и звали как-то неподходяще для джазиста: Эдвард Кеннеди, и даже прозвище, ставшее, как это бывает, именем, у него нетипично. При плебейской тяге джаза к титулам («Король» Оливер, «Граф» Бейси, «Президент» Янг), Эллингтон сделался «Герцогом», «Дюком», задолго до того, как мог получить такое право своими музыкальными достижениями. Он стал Дюком еще в школе, где его так прозвали за франтовство, за то, что он красиво одевался и очень следил за собой. Примечательно, что в титулованные особы Эллингтона вывел не известный всему миру талант, а совсем другой дар: он и в дальнейшем, лет до пятидесяти, выглядел как реклама парикмахерской, приобретя значительность в лице лишь в старости.

Ровно и последовательно развивалась карьера Эллингтона в музыке. Он все делал правильно и разумно, эксцентрика, к которой так склонны его коллеги, ему была чужда. Честолюбие — это другое дело, без честолюбия быть не может никакого таланта, но только в детстве он мог позволить себе здороваться с домашними: «А вот и я — блистательный великий Дюк Эл-

лингтон». Взрослый Эллингтон если так и считал, то не подавал виду.

Только один раз, пожалуй, он был выбит из колеи и позволил себе увлечься. Когда еще в 30-е годы Эллингтон впервые приехал в Европу, он, взрослый человек и знаменитый музыкант, впервые узнал себе цену. Оказалось, что европейцы, особенно англичане, рассматривают его всерьез, что о нем пишут солидные музыковеды, его ценят симфонические композиторы. Джаз в своих высших проявлениях — одним из которых был, несомненно, Эллингтон — занимал в европейской музыкальной иерархии едва ли не такое же место, какое классическая музыка — в иерархии американской. Лучшие концертные залы Европы предоставлялись музыкантам, которые считали нормой играть в кафе и дансингах Нью-Йорка или Чикаго.

Конечно, нет пророка в своем отечестве. И конечно, джаз — это были негры, что и накладывало на него отпечаток экзотической низкопробности в глазах белой Америки. Но важен и невероятно высокий уровень джаза в Соединенных Штатах. Второстепенный музыкант отправлялся на гастроли и легко становился суперзвездой в Европе. А композитор и музыкант эллингтоновского уровня попадал в самую элиту. Этот перепад смутил Дюка, и он решил, что его призвание — большие формы. Но слава Богу, Эллингтон сочинял их параллельно с обычными джазовыми пьесами, и что бы он сам ни думал об этом, крупные вещи представляют сейчас интерес лишь для специалистов. Эллингтон остался в истории благодаря другим заслугам.

Вот тут возникает вопрос, праздный лишь по видимости, — благодаря каким заслугам? Дюк Эллингтон — один из тех немногих людей, имена которых первыми приходят на ум, когда речь заходит об американской культуре. Эллингтон репрезентативен. Собственно говоря, он один из символов Америки. Кто еще? Таких культовых фигур немного — Чарли Чаплин, Хемингуэй, Мэрилин Монро...

А в музыке, главном жанре американской музыки — джазе, — таких, пожалуй, трое. Чарли Паркер, гений чистой воды, без примесей, со всеми атрибутами классического хрестоматийного гения: беспутной жизнью, невоздержностью в пороках и дарованиях, безвременной смертью в расцвете сил. Луи Армстронг, огромный талант с привкусом «коммершелз»: широта, откры-

тость, обаяние, улыбка. И Дюк Эллингтон, самый американец в этом самом американском из искусств.

Слава Эллингтона покоится, как и положено, на трех китах: он — пианист, руководитель оркестра и композитор. И в каждой из этих областей можно легко отыскать явления значительнее, таланты ярче, достижения внушительнее. Эллингтон не встанет в один ряд со звездами фортепиано. Оркестры Бенни Гудмена или Каунта Бейси были никак не хуже эллингтоновского. Что же до композиции, в гигантском богатстве и многообразии американского джаза немудрено было бы затеряться и Моцарту.

Но в перечне достоинств Эллингтона пропущена еще одна его ипостась — то ли растворенная в тех трех, то ли объединяющая их. Эллингтон был гениальным аранжировщиком.

Занятно, что знаменитая пьеса «Take the A train» — «Садись в поезд А» (нам мелодия особо близкая, поскольку мы пользуемся как раз линией «А»), которая стала фирменным знаком, музыкальной заставкой оркестра Эллингтона, сочинена не им, он — лишь аранжировщик.

В этом, конечно, есть смысл и символ. Гений Эллингтона и состоял в аранжировке, в приспособлении наилучшим образом мелодий и исполнителей. Не зря с ним так любили работать лучшие джазисты. Он создавал мощное творческое поле, а лучше сказать — сам являлся таким полем, в котором преобразовывалось все, что представляло для Эллингтона интерес. Вот в этом смысле он самый американец джаза, он и есть Америка.

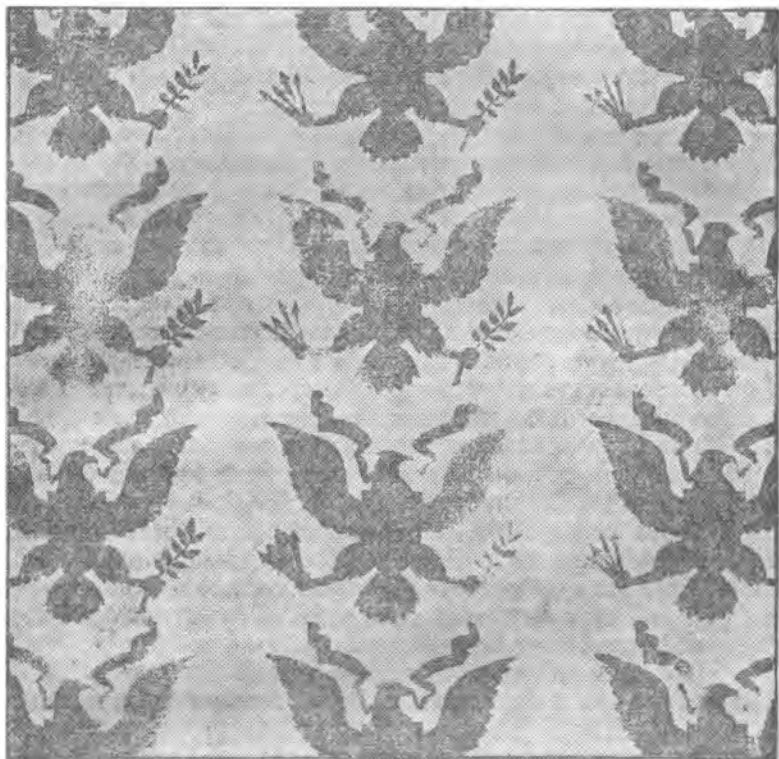
Беглый взгляд на список американских нобелевских лауреатов поражает: немецкие, французские, японские имена. Из пяти ныне живущих американцев, получивших Нобелевскую премию по литературе, четверо пишут не по-английски: Башевис-Зингер, Бродский, Милош, Солженицын. Победители школьных олимпиад — китайцы и индийцы. Звезды музыки и балета — русские. Недавно кинокритики с изумлением отметили: из пяти режиссеров, выдвинутых на премию Оскара, не было ни одного гражданина Соединенных Штатов.

Нет в Америке своих талантов? Скорее есть еще один, общий на всю страну талант — аранжировка. Жалобы

на «утечку мозгов» впечатляют, пока не взглянешь — куда утекают эти мозги и почему им нравится течь именно в этом направлении. В свое время Есенин, которому Соединенные Штаты не понравились, рассказал о том, как встретил американца, убеждавшего его: «Я видел Парфенон. Но все это для меня не ново. Знаете ли вы, что в штате Теннесси у нас есть Парфенон гораздо новей и лучше?» Это смешно, но любопытно соображение, которое тут же приводит Есенин: «Европа курит и бросает, Америка подбирает окурки, но из этих окурков растет что-то грандиозное».

В мощном силовом поле Америки вряд ли вырастет на голом месте Парфенон, но готовая рассада даст буйный рост и принесет плоды здесь скорее, чем в других местах. И это, конечно, не только деньги — иначе все Нобелевские премии уходили бы в арабские эмираты. Это комплекс традиций и навыков, это талант. Если угодно — гений.

Вот таким гением творческого поля был Дюк Эллингтон. И ему совершенно не нужно было строить заново свой Парфенон, сочиня большие вещи, — и без того Игорь Стравинский и Леопольд Стоковский причисляли его к сонму великих музыкантов. Эллингтону было дано сугубо американское дарование предприимчивости. Речь идет не о деловитости, хотя и она была не слабой стороной Дюка, а о предприимчивости — и переимчивости — творческой. Не он, а его тромбонист Хуан Тисол написал «Караван», но лучшие классические режиссеры включают его в репертуар своих симфонических оркестров как пьесу Эллингтона, что совершенно справедливо, — этот замечательный окурочек вырос до эпических масштабов Дюк.



О ДНЕ НАШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Давайте поговорим о странностях любви. О ее бурном и тихом течении, о взлетах и падениях, о робости и негодовании, о ревности и зависти. Короче, о любви. О любви к родине.

Как любая страсть, она лишена расчета. Нельзя полюбить за что-то, но можно — вопреки.

Патриотизм не бывает казенным. Потому что любовь, проявляемая по приказу, тут же становится неразделенной. А неразделенная любовь кончается эмиграцией.

С другой стороны, во всех странах существуют дни, когда принято выражать свои интимные чувства публично. Дни национальных праздников. В СССР — Седьмое ноября, в США — Четвертое июля. В день рождения

родине ей принято приносить подарки — лучше всего в виде своей искренней любви к ней. Целый год вы тихо копите страсть, чтобы выплеснуть ее в бурном порыве национального торжества.

И вот оно приходит. И ничего особенного не выплескивается. Вы не натягиваете парадный костюм, ваши дети не развешивают гирлянды, и ваши жены не выгрызают из семейного бюджета праздничное платье.

Нет, вы умеренно обрадовались добавке к уикэнду, собрали гриль, поджарили стейки и под холодную «смирновскую» вспоминаете другой праздник.

Вот уж когда закупалось шампанское, варился холодец и детям раздавались шарики. А в доме с раннего утра гремел голос диктора: «В строгие ряды выстроились доблестные защитники социалистического отечества...» И за окном уже слышались раскаты гармошек: «Я в деревне родилась, космонавту отдалась. Ух ты, ах ты, все мы космонавты».

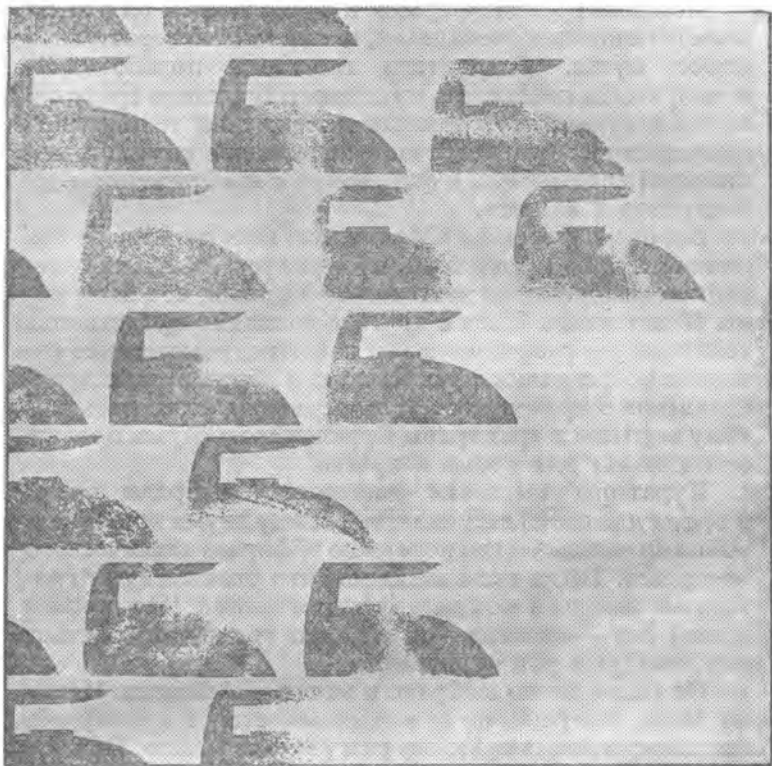
Разве не странно, что апофеоз нелюбимой власти вызывал такое бесшабашное веселье? И ведь не было, пожалуй, таких отчаянных антисоветчиков, чтоб не собрались за накрытым столом всласть отметить все преступления «кремлевских старцев».

Вот вам и загадка человеческой природы. Там праздновали и ненавидели. Здесь любим и не празднуем.

Неужели все-таки свои пороки дороже чужих добродетелей? И не вытравить из сердца память об уродливом дитяти, к рождению которого и мы приложили руку.

4 июля — день рождения самой счастливой революции в мире. 7 ноября — самой несчастной. И мы, переехав, так и не научились по-настоящему радоваться знаменательному событию.

Мы не взрываем петарды, не маршируем торжественными колоннами, не подтягиваем «Янки дудл». День ненашей независимости. Поистине, странности любви...



О НЕБОСКРЕБАХ И УТЮГАХ

Выставка «Машинный век: 1918—1941» расположилась в Бруклинском музее, что само по себе связано с саркастическими параллелями.

Здание Бруклинского музея закончили строить в 1925 году, как раз к тому времени, когда «машинный век» был в зените. Однако в пышном псевдоклассическом сооружении, с его обязательным набором дорических колонн и латинскими именами мудрецов древности, выбитыми на фронтоне, нет даже признаков эстетического переворота, которому посвящена выставка.

В 1925 году, да еще в провинциальном Бруклине, считалось, что искусству нужен храм, и ничего лучше, чем древнегреческий храм, отцы города не могли себе представить.

Конфликт между формой и содержанием (содержимым) становится очевидным, стоит только переступить порог музея. Устроители выставки позаботились о том, чтобы посетитель из сонного Бруклина сразу попадал в атмосферу бешеных достижений технической цивилизации. Его встречает настоящий самолет, настоящий автомобиль и фотопанно с изображением небоскребов и хайвеев.

Впрочем, выставка «Машинный век» отнюдь не так наивна, чтобы предложить публике развлекаться сравнением сегодняшних автомобилей с теми, что выпущены 50 лет назад. Идея в другом: наглядно представить техническую революцию как событие, изменившее сознание современного человека, его образ жизни, представления о прекрасном. И, в частности, объяснить, почему портики и архитравы Бруклинского музея больше не подходят для храма искусств.

Кураторы выставки тщательно выбрали место и время для своей экспозиции. Между двумя мировыми войнами человечество пережило эйфорию технического прогресса. Тогда всем казалось, что утопию куют громадные заводы и мощные электростанции. Что пришел новый бог — машина — и все, кто готов поклоняться ему, внидут в рай первыми.

Не менее точно выбрано и место — Америка. Именно здесь, в стране, не отягощенной старой культурой, машинопочклонники могли разгуляться вволю. В Европе новое должно было бороться со старым — каждый мог сравнить небоскреб с готическим собором. В Америке старого не было вовсе. Когда знаменитый французский художник и хулиган Марсель Дюшан приехал в 1915 году в Штаты, он сказал, что единственные произведения искусства, которые он нашел в Новом Свете, были водопровод и мосты. Эстетика машинного века, как все в Америке, кроме кока-колы, пришла сюда из Европы — ее привезли итальянские футуристы, французские кубисты, русские конструктивисты, немецкие функционалисты. Но только в эмиграции все эти пестрые течения нашли тучную почву, чтобы прорасти тот стиль жизни, который теперь во всем мире называется «американским».

В такой выставке, пожалуй, прежде всего должно поражать смещение эстетических сфер. В самом деле, где же тут собственно искусство? На стендах выставлены чашки и кастрюли, утюги и радиоприемники, сто-

лы и стулья. Если где и висит картина, то изображает она какую-нибудь плотину или рельсы. При этом выставка настаивает, что экспонаты эти не второстепенный антураж эпохи, а ее суть, что это и есть то самое искусство, которое адекватно выразило нашу эпоху, сформировало современного человека — нас с вами.

И это, конечно, правильно. XX век вступил в новый мир, которому никак не подходят старомодные вкусы. Сколько ни было попыток оживить прошлое, все они кончались провалом. Мы знаем, в какой тупик завело советское искусство следование допотопным образцам. Картины Лактионова, копирующие живопись болонской школы, купеческая роскошь киевского Крещатика, многометровые каменные «люди в штанах» на площадях — все это попытка игнорировать прогресс, попытка не заметить современности. Нравится нам или нет, но в наши дни бессмысленно строить второй Акрополь — получится не шедевр, а пошлость.

Однако это очевидное заключение совсем не казалось таким бесспорным в начале машинного века. Первые пророки его — художники и теоретики — должны были осознать, что современный человек обречен жить среди неживой природы. Что из того, если он построил ее своими руками? Раз появившись, она живет сама по себе, своей непонятной жизнью.

Всю историю людей окружали предметы, устройство которых было, в принципе, элементарно. Техника была достаточно проста, чтобы принадлежать всем.

Научная революция сделала машину достоянием немногих, ее жрецов.

Естественно, что это порождало почти религиозные чувства. Посетителя выставки встречает надпись, видимо, популярная в 1922 году: «Мы живем в эпоху троицы: Бог-отец — машина, Бог-сын — материализм, Бог-дух святой — наука».

Старый бог, с его архаическими чудесами, умер. На его место пришло что-то непонятное, из труб, и чудеса теперь будут изготавливать из стали и электричества.

Занятно, что художники того времени подходили к технике, оперируя прежними эстетическими принципами, — они ею любовались, как раньше наслаждались

созерцанием цветов и заката. Тогда были очень популярны экспрессивные фотографии какой-нибудь одной детали — крупный снимок клавиатуры пишущей машинки, электрического рубильника, шестерни.

Альбрехт Дюрер выражал религиозный восторг от совершенства мира, создавая детально проработанный рисунок первоцвета. Художник XX века с той же пристальностью вглядывался в трансформаторную катушку. Она казалась ему прекрасной не потому, что была полезной, а потому, что блестела нарядными извивами медной проволоки.

Создатели новой религии, первооткрыватели машинного века, хотели найти синтетический образ своей веры. И они нашли его в небоскребе. Фотографы искали особую игру светотени в стенах высотных зданий. Живописцы открывали возможности «верхних» перспектив. Все прикладное искусство использовало тему небоскреба — кресло, чайник, манто, даже радиоприемник.

Небоскреб — это обыкновенный дом, увеличенный в 10 или 20 раз. Но именно количественный фактор вызвал восторг современников. В небоскребе торжествовало число, геометрия, то есть те науки, которые со времени Пифагора и Платона ближе всех стояли к божественному. Небоскреб заменил нашему веку кафедралы древности, но сам он больше похож на пирамиды.

Машинный век начинался на голом месте, с чистой абстракции. Египетские пирамиды, чикагские небоскребы и «Черный квадрат» Малевича породили одно и то же преклонение перед отвлеченным принципом. Самые последовательные художники этого времени как раз и занялись воплощением чистого принципа.

В этом смысле замечателен проект памятника Франклину, который представил в 1933 году Исаму Ногучи. Самого Франклина здесь нет — есть только его эксперимент, приведший к открытию громоотвода. Макет памятника состоит из воздушного змея, молнии и металлического ключа, в который эта молния попала. Человек тут лишний, он лишь средство для формулирования физического закона. Проект этот не осуществили как слишком смелый. Вместо него Франклина все же изобразили «человеком в штанах». И в этом сказалось не только отставание толпы от художника, но и бунт человека против цифры.

В Америке быстрее, чем где бы то ни было, теории пророков машинного века превращались в повседневную реальность, становились бытом. Прогресс входил в жизнь американца исподтишка — через гараж, ванную, кухню. Прирученную технику не обожествляли — ею пользовались. Конвейер сделал вещь массовой и доступной. Она больше не выражала голую идею. Произошло то, о чем писал примерно в это же время Маяковский: «Вы любите молнию в небе, а я — в утюге».

Молния, спрятанная в утюге, не стала более понятной, но к ней привыкли. Геометрический принцип, воплощенный в небоскребе, предполагал молчаливое поклонение освоившему его машинному веку. Стремительный технический прогресс разбивал элитарные восторги. Вещи обживали, от них стали требовать человечности, мягкости, меньшей прямолинейности. Так машинный век открыл новую идею — обтекаемость.

Изгиб, кривая линия — вот тот компромисс, на который вынуждена была пойти техника, чтобы приспособиться к человеку. Ей самой закругленность ни к чему, она живет более четкими геометрическими формами.

Конечно, обтекаемость объясняли в духе эпохи необходимость. Округлые контуры автомобиля, корабля, паровоза, самолета якобы помогают им бороться с сопротивлением воздуха.

Но стоит сравнить сигарообразные довоенные машины с современными, чтобы понять аэродинамическую несообразность такого объяснения.

Уже в этом вранье отразился кризис машинного века. Наука еще пыталась оправдать функциональностью эстетические перемены, но уже сдавала свои позиции. Вещи стали обтекаемы не потому, что так было удобнее, а потому, что так было красивее.

Природа не знает прямой линии. Поэтому обтекаемый чайник или будильник означал реакцию на прагматический принцип ранних поклонников технической революции.

Стремительные очертания утюга не помогают ему быстрее резать воздух — да и куда утюгу торопиться? — просто такая форма лучше вписывается в природу, окружающую человека.

Форма переставала следовать функции, что наруша-

ло главную заповедь дизайнеров начала века. Они говорили: «Орнамент — это преступление». Они писали: «Меньше значит больше». Они проповедовали пуризм вкуса.

Но машинный век был веком демократии. Искусство больше не принадлежало избранным — оно оказалось достоянием всех.

Наша эпоха не может предложить всем уникальный художественный шедевр, но она дает каждому возможность купить дешевую, сработанную на заводе пепельницу, кровать, автомобиль. А в качестве компенсации она пытается сделать эту пепельницу или автомобиль красивыми, а не только удобными. При этом критерий красоты принадлежит не ученым, а народу, массам. Сегодняшние американцы не живут в бетонных коробках, которые им предлагали проектировщики 20-х. Они предпочитают дома в колониальном стиле, обставленные мебелью времен Гражданской войны.

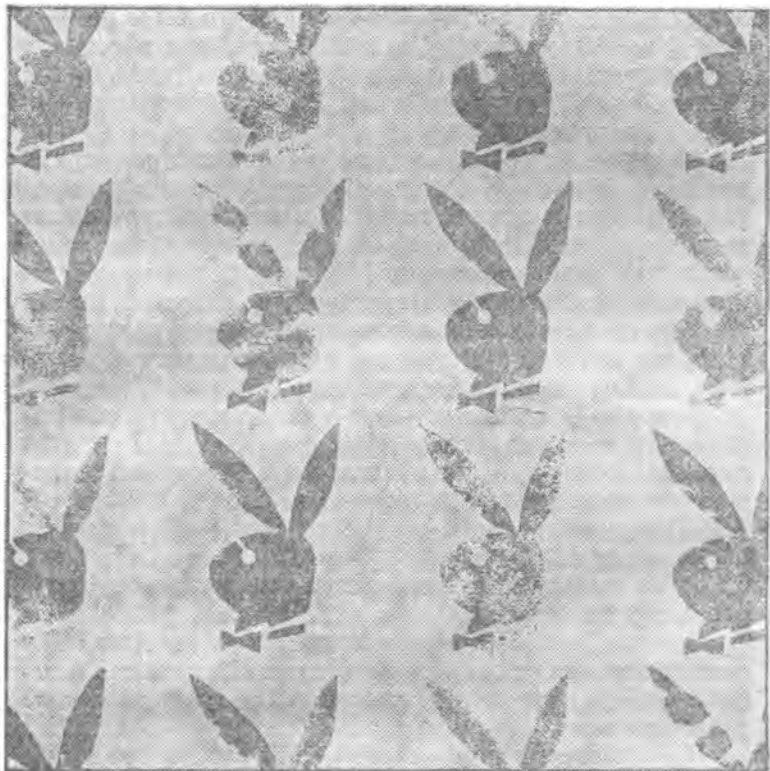
В их квартирах не висят индустриальные пейзажи с домами, трубами и рельсами. Они не пьют чай из стальных чашек, не кормятся питательными пилюлями. А главное, сама идея технического прогресса не вызывает больше дикого энтузиазма. Напротив, мы живем в эпоху, когда фабричная труба кажется настолько же омерзительной, насколько прекрасной она казалась лет 70 назад.

Ностальгия по домашнему веку, конечно, не более чем нарядный каприз. Кто ж сейчас согласится обойтись без сливочного бачка или пересесть на телегу. Важно другое.

Сегодня люди заняты не только прогрессом, но и попытками его обуздать. Мы больше говорим об экологии, чем о технологии. Будущее нас скорее пугает, чем радует. И современное искусство не воспевает машину, а разрушает ее, представляя технический прогресс опасным абсурдом.

Пожалуй, те 23 года, которые Бруклинский музей отвел машинному веку, достаточны, чтобы вместить наукообразную утопию современного человека.

Во всяком случае, наивная вера в Бога-машину кажется сегодня такой же архаичной, как античная колоннада здания, в котором разместилась выставка.



О ГОЛОЙ МАДОННЕ

Только подумать, сколько страстей кипит вокруг. И как мало они имеют отношения к нам.

Вот сейчас Америка занята вопросом, кому можно сниматься голым, а кому нет. Казалось бы, нам-то что. Нам никто не предложит позировать даже для прогрессивного русского журнала «Мулета».

Но тем и хороша Америка, что создает атмосферу сенсации, в которой легче переносить ежедневную рутину. Вихрь новостей захватывает обывателя, рождая иллюзию непосредственного участия в любом событии.

Вот звезда эстрады Мадонна появилась голым на фотографиях в «Плейбое» и «Пентхаузе». И Америка немедленно и бурно реагирует, спорит, ссорится. Так,

например, один конгрессмен заявил, что он и на одетую Мадонну смотреть отказывается, чем обеспечил себе голоса консервативного большинства. Другие конгрессмены отмалчиваются. Видимо, чтобы не потерять голосов либерального меньшинства.

Активнее всего в полемике о голой Мадонне, как всегда, феминистки. Они требуют прекратить издевательство над женским телом и запретить мужчинам эксплуатировать женскую красоту. Мужчины отвечают, что эксплуатируемая Мадонна получит за свои прелести шестизначную сумму (это какое-то новое, стыдливое исчисление денег, вроде «десяти кошельков», как считали в старинных приключенческих романах). Так что непонятно, кто кого эксплуатирует.

Впрочем, в одном вопросе с феминистками все соглашаются — тело стало товаром. Красивое тело — дорогим товаром. Знаменитое тело — безумно дорогим товаром. Другой вопрос — хорошо это или плохо? В 1953 году в первом номере «Плейбоя» была напечатана фотография обнаженной Мэрилин Монро. Америка стала на дыбы: голая кинозвезда опорочила целомудренные ризы семьи и брака.

Ванесса Вильямс лишилась звания «Мисс Америка» после того, как ее снимки напечатал «Пентхауз»: Америка решила, что черная красавица опорочила чистые ризы женского идеала.

Нью-йоркский полицейский Сибелла Боргес защитила в суде свое право сниматься голой. Америка не сумела доказать, что голый офицер (офицерица?) может опорочить полицейские ризы.

Что может опорочить Мадонна, мы не знаем, но споры продолжают. Историю современной цивилизации легко представить как историю раздевания женщины. Чем стремительней поступь прогресса, тем быстрее спадают одежды с раскрепощенного женского тела.

Недаром поправка к конституции США о свободе печати была сразу понята как приглашение к журнальному стриптизу. Демократия и обнаженность шагают нога в ногу. Чем меньше в каком-нибудь государстве свободы, тем закутаннее женщины этой страны. Возьмем Иран для примера.

Получается, что порнография не только сестра демократии, но и ее индикатор.

Сами женщины это понимают прекрасно (за исклю-

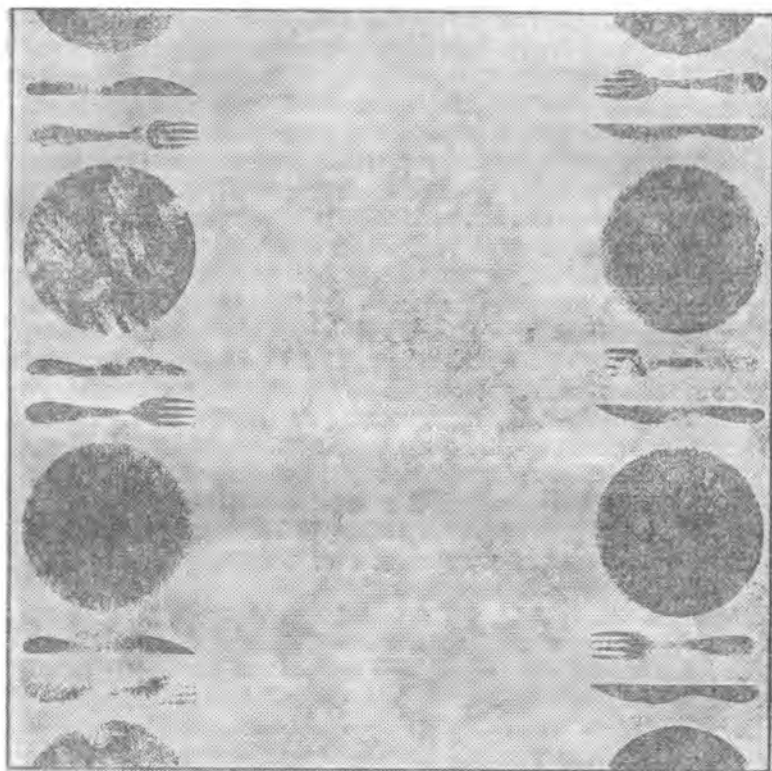
чением феминисток, которые в порножурналы не проходят по качеству). Как сказал один из крупных деятелей «грязного бизнеса», «сейчас больше девушек мечтают попасть на обложку «Плейбоя», чем в Белый дом. Президентом можно стать и в старости».

Девушки торопятся, и правильно делают. Прогресс неизбежен, и пока Новый Свет все еще спорит, кому можно появляться в голем виде, а кому нельзя, Старый Свет уже практически узаконил обнаженное тело. Хотя бы в качестве «купального костюма».

На всех пляжах Европы — от средиземноморских до скандинавских — любой турист может наслаждаться зрелищем голых купальщиц. С непривычки кажется, что попал в женскую баню, но уже через полчаса смущение проходит. Правда, вместе с ним исчезает и тайна женских прелестей... За прогресс приходится платить.

В наше время с каждым годом остается все меньше покровов — и в прямом и в переносном виде. Вот откроем мы журнал с фотографиями Мадонны и обнаружим, что она, как все люди, под одеждой голая.

Еще одним секретом меньше.



О ПИРОГАХ И КНИЖКАХ

Это принято так считать, что на Брайтэн-Бич только пьют и едят.

Американская пресса стала все чаще писать о том, что на Брайтоне еще и убивают. Нам это кажется нормальным: должен ведь как-то завершаться жизненный цикл, так достойно представленный питьем и едой.

Объективности ради надо сказать, что пьют на Брайтоне меньше, чем в былые годы. Когда мы приехали сюда, вдоль океана стояли полупустые дома, а знаменитый ныне «бордволк»¹ был знаменит совсем не гастрономом «Москва», фламандскими телами наших женщин и шашлыками — тогда на бордволке хозяйни-

¹ Променад на пляже; здесь — набережная.

чали темно-коричневые хулиганы. Редким эмигрантам в ту пору ничего не оставалось, как принимать самостоятельно кварту водки «Гордон» и выходить на местную шпану с одной только русско-еврейской отвагой: автоматы «узи» получили распространение среди третьей волны несколько позже.

Сейчас процветающий Брайтон успокоился. Сражения происходят только на почве большого бизнеса с применением ручных гранат и артиллерии, что требует трезвого расчета, а не пьяной удали. Да и американская коктейльная зараза проникает в здоровый эмигрантский организм. Мы с горечью замечаем все больше соотечественников, заказывающих в ресторанах «Отвертку» или «Кровавый Мейер». Пьют на Брайтоне меньше, зато едят по-прежнему. Сюда редко-редко — как птица до середины Днепра — долетает худой призрак диеты. И это правильно, потому что стиль Брайтона — поэзия. Каждый продуктовый магазин — поэма экстаза. И вы чувствуете, как воспаряет ваша иссушенная избыточно богатой Америкой душа, когда вы произносите заказ: «Полтора паунда поросятины, сыр российский нарезать, тараньки шесть штук помягче, икры полпаунда, если несоленая, конфеты «Белочку на севере а ну-ка отними!», валидол советский в таблетках свежий». Только зазнавшиеся от похудания люди — а чем, собственно, гордиться? — брезгливо морщатся при виде чесночной колбасы бобруйского разлива. Можно подумать, что вместе с туловищем утончается дух и наряду с отварным шпинатом без соли они поглощают одни сонеты. На самом деле только полноценный человек подготовлен к восприятию духовной продукции человечества. Вспомним обжору Рабле, кулинара Россини, знатока вин Мандельштама, гурмана Булгакова. Даже тощий унылый Гоголь тайком мечтал о еде: «А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да сметочков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков, там чего-нибудь эдакого, знаешь, того-растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше».

Еда и литература идут по жизни рука об руку. И совершенно ясно, что утрата интереса к одной из этих сфер немедленно влечет ущербность в другой. Человек малограмотный не может быть гурманом. Равнодушный к еде чужд литературе. Может, кто-то сочтет такое наше заявление излишне определенным. Но мы стоим

на своем твердо: за нами — века авторитетов. Уж на что Чехов был врач, но и тот писал отнюдь не о диете, а о еде. И как писал! Рассказ «Сирена» мы бы предложили читать в пыточных камерах: муки невыносимы, если после чтения не броситься тут же на кухню.

Поэтому нет ничего удивительного, что жовиальный, обжористый Брайтон-Бич читает больше, чем пресный Квинс или наш худосочный Вашингтон Хайтс. Мы уж не говорим о потерянных для культурного человечества городишках Лонг-Айленда и Нью-Джерси с высоким доходом и низким самосознанием. Брайтон читает много. Что читает — это, конечно, вопрос. Но на самом деле это вопрос второстепенный. При той катастрофе, которая происходит в эмиграции с русским языком, важно, что кто-то что-то читает вообще. Неплохо бы Достоевского, а не Эфраима Севелу, но мы не максималисты.

Брайтон если и ест, то ест с книжкой. Во всяком случае, магазин «Черное море» — единственный настоящий книжный магазин третьей волны, с роскошной неоновой вывеской на сомнительном русском языке: «Магазин книг».

«Черное море» разместилось на углу двух главных авеню района — Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Если учесть, что там же находится кинотеатр «Ошеана», где время от времени идут русские фильмы, — налицо оазис культуры. Магазин книг, кинотеатр фильмов, напротив — банк денег, за углом — ресторан еды, неподалеку — пляж моря...



О ЯРЛЫКЕ «MADE IN USA»

Два абсолютно неравнозначных события. Первое — катастрофа космического корабля «Челленджер», о которой известно всем. Второе — покупка одним из нас книжных полок, о чем известно только непосредственным участникам сделки.

Космическая трагедия больно ударила по всей нации. В ней увидели унижение Америки, которая находится на вершине благополучия. Авария как бы поставила под сомнение природу этого благополучия. Потрясенные американцы на следующий же день сравнивали свои чувства с теми, что они испытали после убийства Джона Кеннеди.

При всей преувеличенности этой аффектации харак-

терно, что Америка увидела в гибели космонавтов что-то символическое.

Этому, правда, помогла и сама идея полета, задуманного как торжественная демонстрация преимуществ демократии и свободы.

Провал этой красивой акции не только поверг страну в горе, но и заставил ее задуматься о причинах катастрофы. О самых внешних, доступных только экспертам, деталях и о более общих предпосылках, затрагивающих профессиональные и социальные вопросы.

Короче, гибель ракеты стала грозным диссонансом в упоении экономическими и политическими успехами рейгановской Америки.

При всем кощунстве сопоставления национальной трагедии с мелкими бытовыми неурядицами мы нашли что-то общее в космической аварии с теми приключениями, которые пережили, делая заурядную покупку.

Итак, один из нас, накопив необходимую сумму, решил обзавестись книжными полками. Пришедшие с возрастом солидность и самомнение не позволяли ему больше держать книги на неструганых досках, переложенных кирпичами.

Полки обычно заказывают на мебельной фабрике. Так мы и поступили. Выбрали дизайн, материал, цвет лака, заплатили задаток и договорились о дне доставки.

К назначенному часу удалось узнать, что грузчики задержались на объекте. Еще через три часа на фабрике сухо ответили, что грузчики тоже люди и у них ланч. Только к концу рабочего дня секретарша с легким раздражением сообщила, что нелепо все время обрывать телефон, когда и так ясно, что сегодня полки не привезут. Уступая русскому упрямству, она все же пошла куда-то что-то узнать. И узнала: полки еще не начинали делать и сделают только после праздников. Но при этом она не уточнила — каких праздников.

Полки привезли через две недели.

Достаточно было снять оберточную бумагу, чтобы убедиться, что из принесенных досок проще сколотить гроб, чем собрать книжные полки. Уж больно они были разные. Все компоненты будущей мебели отличались друг от друга высотой, шириной,ужиной и что там еще у них есть. Составленные вместе стенки сходились на конус. Для тех, кто не понимает трагичности этой формы, поясним, что верхние полки не влезали, а нижние

выпадали. К тому же дырки для креплений были разбросаны с романтической прихотливостью. Создавалось впечатление, что столяр пользовался не евклидовой геометрией, а геометрией Лобачевского, у которого параллельные прямые пересекаются и вообще делают что хотят.

Продолжать эту грустную сагу можно было бы еще долго, но проще будет сказать, что после двенадцати телефонных разговоров, в которых участвовало множество людей, включая одного знакомого переводчика из ООН, книжные полки были частично заменены, частично перепилены, частично на них махнули рукой. Поседевший хозяин освободил семью от книжных завалов, а себя от приобретательской страсти. Рассказывая с такой неприличной дотошностью о своих злоключениях в сфере быта, мы понимаем, что совершаем злостный плагиат. Истории, подобные этой, в изобилии печатаются советскими газетами. Они составляли излюбленное чтение на родине. Определенную пикантность нашей истории придает только место действия. Все-таки она произошла в Манхэттене, а не в Воронеже. И участвовали в ней акулы капитала, а не передовики социалистического соревнования.

Чтобы плагиат был полным и уголовно наказуемым, нам следовало бы написать, что этот случай представляет собой отдельный недостаток на фоне всеобщих побед.

Но он не представляет.

Совсем недавно наш знакомый купил себе новую машину с говорящим устройством. Вежливый голос откуда-то из радиатора сообщал шоферу о всех неполадках. Через неделю он грустно сказал, что в автомобиле бараклит зажигание. И правда, машина не заводилась.

После ремонта голос стал заверять, что все в порядке, но машина заводилась через раз. Оказалось, что слесари вместо починки электрических цепей заменили говорящее устройство.

Ощувив на своей шкуре grimасы капитализма, мы с сочувствием отнеслись к другим жертвам американской экономики. И тут оказалось, что мы в большой компании. В одном ряду — и наши неприятности с мебелью, и авария «Челленджера», и растущий торговый дефицит, и падение престижа этикетки «Made in USA».

Помните ли вы эту вожденную наклейку? Помни-

те ли вы тот благостный трепет, который охватывал нас — москвичей, одесситов, рижан — при виде этих скромных букв? Где бы мы их ни прочли — на рубашке или обертке жвачки, на авторучке или солнечных очках — для нас такая этикетка означала истинный знак качества. Не только этого конкретного продукта, а вообще — качества жизни, качества социально-экономического строя, качества, грубо говоря, капиталистической системы производства.

В середине 70-х годов гордые капитаны американской индустрии обратились к своему народу с унижительной просьбой: «Покупайте американское!» То есть покупайте вещи с этикеткой «Made in USA» не потому, что эти вещи лучшие, а потому, что они сделаны на вашей родине. Потому что, пренебрегая отечественным товаром, вы лишаете американцев рабочих мест, а Америку — силы и влияния.

Но американцы слишком практичны, чтобы позволять патриотизму вмешиваться в семейный бюджет. Флажок они купят звездно-полосатый, а телевизор японский. И как их в этом винить, если японский телевизор лучше и надежней американского.

Сегодня Япония успешно конкурирует с США на местном рынке в таких важных отраслях промышленности, как автомобилестроение, производство стали, судостроение, бытовая электроника.

Уже успел возникнуть психологический стереотип недоверия к отечественному производству. На этот стереотип работают и катастрофы вроде той, что случилась с «Челленджером», или тех, что произошли с десятками американских самолетов.

Сегодня Америка делает отчаянные усилия, чтобы понять, как США утратили свой экономический престиж. В каждой компании изучается опыт японской организации производства. Это дает свои результаты. Вот поразительный пример. Американская компания «Моторола» изготовляла телевизоры, в которых приходилось 180 дефектов на каждые 100 штук. Фирму эту купили японцы, поменяли только менеджмент¹ и название — «Квазар», — и дефектов стало всего 4 (четыре) на каждые сто телевизоров.

Одни социологи винят во всем технологию. Почему, говорят они, мы платим лишние деньги за вещи

¹ Руководство.

с наклейкой «Сделано вручную»? Потому что конвейерное производство обезличивает товар.

В огромных фирмах сегодняшней Америки расстояние между тем, кто производит товар, и тем, кто им пользуется, колоссально. Рабочий и покупатель никак не связаны. А управляющие компаниями просто не реагируют на жалобы. Да никто толком и не знает, кто именно произвел товар.

Вместо того чтобы улучшить качество продукции, крупные фирмы используют другой метод — рекламу. Действительно, проще и дешевле показать «коммершелз», чем ввести систему контроля.

По этому поводу Авраам Линкольн сказал: «Нельзя дурачить весь народ все время». И правда, сколько бы нам ни показывали восхищенных потребителей кофе «максвелл», мы все равно знаем, что итальянское «эспрессо» лучше.

В провалах американской экономики виновата и техническая революция. Как любая революция, она развращает людей. Скажем, невинный калькулятор разучил Америку считать. Мы сами видели, как продавщица прибавляла к десяти десять на машине. Сложная электронная установка позволяет секретарше не знать грамматики. Компьютер избавляет агента бюро путешествий от необходимости обладать знанием географии.

Гениальные компьютеры вообще прибавили немало страданий клиенту. Связь человека с бездушной машиной отнюдь не безболезненна. Однажды мы получили счет на книгу, которую не заказывали и не получали. Мы вежливо об этом известили компанию и забыли о счете. Но через месяц пришло письмо, в котором нам велели немедленно заплатить. Потом началась вакханалия. Почта приносила письма всех сортов. Нам льстили, упрашивали, потом угрожали. Сначала речь шла о судебном процессе, затем о тюрьме, каторге, депортации. Под конец тон стал совсем фамильярным. Нам писали, что у них длинные руки, намекали на связи с мафией, пугали похищением детей. Поскольку жены плакали, а сумма, которую требовали, не превышала 8 долларов, мы уже были готовы сдаться. Но тут один умный человек сказал, что вся переписка была односторонней. Письма писал нам компьютер, который, как чукча, писать умеет, а читать нет. Наши объяснения до него не доходят. Он запрограммирован выстреливать

тысячу угрожающих писем в час. Малодушные клиенты сдаются, отважные — нет. Но это проще и дешевле, чем проверять машину.

Однако все ссылки социологов на озверевшую технику отпадают, если вспомнить, что в Японии она лютует не меньше, а результаты дает другие. Американские неприятности должны объясняться домашними причинами.

В 1943 году немецкий писатель Герман Гессе написал роман «Игра в бисер», за который в 1946 году получил Нобелевскую премию. В этом утопическом произведении он изучал условия, которые могут привести западную цивилизацию к краху. Вот что пишет Гессе по интересующему нас вопросу:

«Вскоре стало ясно, что духовной расхлябанности и бессовестности нескольких поколений оказалось достаточно, чтобы причинить ощутимый вред и практической жизни, что на всех более или менее высоких поприщах, в том числе и технических, умение и ответственность встречается все реже и реже. <...> Люди знают или смутно чувствуют: если мышление утратит чистоту и бдительность, а почтение к духу потеряет силу, то вскоре перестанут двигаться корабли и автоматы, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос».

Будучи идеалистом, Гессе считал, что, когда люди читают только комиксы, смотрят только боевики и ценят только ту интеллектуальную деятельность, которая приносит немедленные барыши, дело кончается гибелью не только утонченной культуры, но и вообще всякой цивилизации. Условием выживания человечества он считает не сильную армию и не крепкую экономику, а существование аристократов духа, способных потратить жизнь на диссертацию о «латинском произношении в высших учебных заведениях южной Италии конца XII века».

Его не смущала очевидная бесполезность такого труда. Напротив, Гессе полагал, что уцелеет только то общество, которое согласится терпеть духовные поиски независимо от их коммерческой ценности.

Говорят, что самым дорогим знаком читательской признательности этот избалованный вниманием человек считал присланный ему акростих, написанный на вымершем готском языке.

Чудачества Гессе, удостоенные Нобелевской премии, представляются нам вполне актуальными в сегодняшней Америке.

Мы привыкли относиться к массовой культуре США как к маловажному, хотя и раздражающему фактору. Духовная жизнь — личное дело каждого. Это то, что он делает после работы. У одних хобби — чтение, у других — кегли. Может быть, лучше, если первых было бы больше, чем вторых, но все это пустяки, вроде привычки чистить зубы.

И от стихов хлеб не становится дешевле. Кстати, поэтому чуть ли не все великие американские поэты стяжали славу не на родине, а в Англии.

В формуле американской мечты есть процветание¹, свобода и справедливость. Отцы-основатели считали, что человек, награжденный этими добродетелями, автоматически станет интеллектуалом, читающим Горация в оригинале.

Не стал. Хотя бы потому, что ему элементарно не хватает на Горация времени. Средняя американская семья проводит у телевизора восемь часов в день — суммарно.

Отсутствие здорового духовного стержня, о котором писал Гессе, проявляется в самых причудливых формах. Вот сейчас переживает расцвет религия. Казалось бы, прекрасно. Это и есть истинная духовная опора. Но послушайте, о чем говорят телевизионные проповедники, собирающие 30-миллионную аудиторию: попроси у Бога денег, и Он даст их. В Калифорнии даже есть секта, которая так и называется «Я-хочу-быть-богатым». Достаточно все время повторять эти слова и посещать соответствующую церковь, чтобы состояние свалилось на головы верующих.

Люди, которые недокрутили гайку на «Челленджере», которые не смазали шасси у самолета TWA, которые не так провертели дырки в нашей книжной полке, — это люди, которым глубоко наплевать на то, что они делают. Но как это связано с культурой?

Загадочная, почти мистическая связь между сериалом «Династия» и торговым дефицитом становится более заметной, если посмотреть на американскую молодежь.

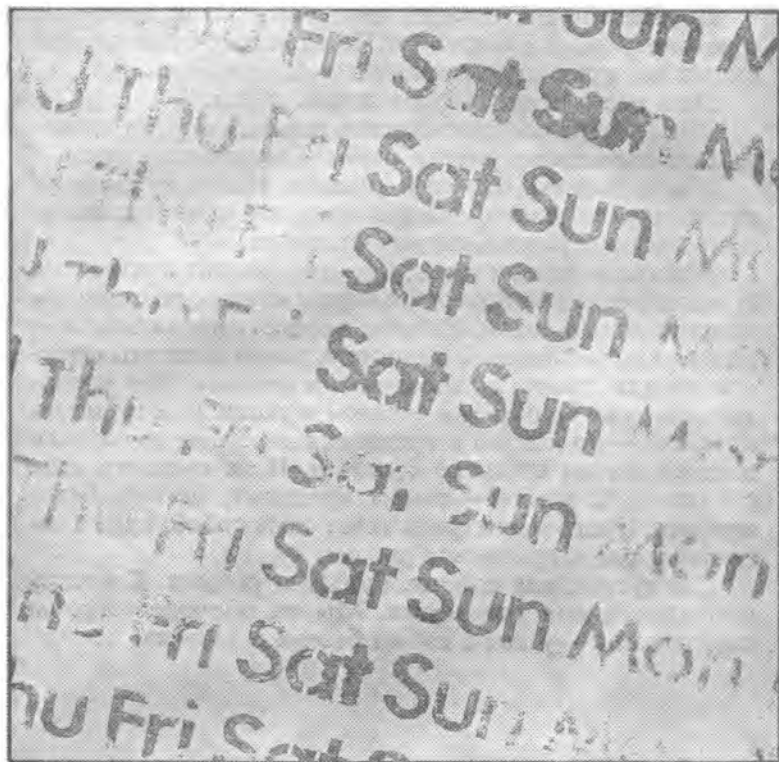
¹ Процветание, успех.

Молодые люди выбирают не профессию, а зарплату. Врач, юрист, программист... но можно и без диплома. У нас был знакомый математик, который бросил университет, чтобы открыть лавку по прокату видеокассет. Растущий бизнес. Демократическая Америка не знает сословных границ, связанных с пиететом к интеллигентной профессии. Поэтому тут так легко меняются сферы деятельности.

Что ж удивительного, если человек, заинтересованный не в самой работе, а только в ее оплате, создает неконкурентоспособные товары и услуги. Одного писателя спросили, почему он стал писателем. Тот неожиданно взбесился и закричал: «О чем вы меня спрашиваете?! Вы спросите, почему какой-нибудь молодой человек стал клерком в банке. Это же куда более поразительно!»

Мы понимаем, что такой взгляд на Америку тенденциозно односторонен. Что в этой стране процветают лучшие в мире музеи, оркестры, издательства. Что сюда свозят из Стокгольма все Нобелевские премии. Что здесь существует утонченная, эзотерическая культура... Но каждый раз, когда мы включаем телевизор, каждый раз, когда сообщают об авиакатастрофе, каждый раз, когда мы покупаем хот-дог¹, каждый раз, когда мы видим очередь на какие-нибудь «Звездные войны», каждый раз, когда мы просматриваем список бестселлеров, мы вспоминаем, что сказал о роли духовной культуры в обществе угрюмый идеалист Герман Гессе в невеселом 1943 году.

¹ Бутерброд с горячей сосиской.



О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ

Благословенна летняя пора: возмездье отпуска за годовую муку. Вот, правда, липкая нью-йоркская жара ввергает нас в уныние и скуку. Но есть спасенье: в каждый уикэнд возьми жену (дав полчаса на сборы), детей, палатку (по-английски — тент). Исчезни на два дня.

На север, в горы.

Не Альпы и, конечно, не Кавказ. Но воздух свеж. Все умиляет взоры. Нет перебоев с мясом, и для нас открыты настезь створы ликер-стора¹.

...Кричит мармот, по-здешнему — сурок. В далекой дымке потерялся Бруклин. А лес — как по ботанике урок: все незнакомо — клен ли, дуб ли, бук ли.

¹ Винный магазин.

Все здесь иначе: стэйк, а не шашлык. «Гордон» — не «экстра». Молоко не киснет. Но отмечает брайтонский балык все кулинарно-ностальгические мысли.

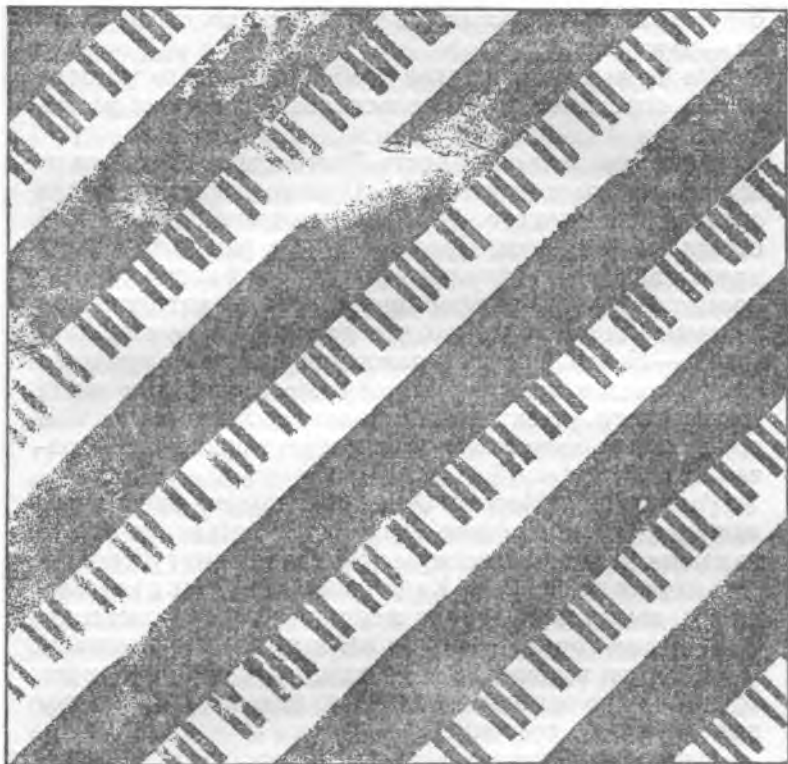
Нам раз в неделю будет жизнь легка...

Мы с вечера поставим десять донок, а поутру проверим их спросонок: уженье рыбы — мудрость чудака.

Мы забываем, что есть тишина. Нигде не слышно диких звуков диско, вокруг палатки ночи пелена — смиренна и скромна, как гимназистка.

Вся эта лирика, и чушь, и ерунда уходит неизбежно. И однако вслед за поэтом говорим «куда», не ставя вопросительного знака. Работа, возраст, новая земля — да мало ль объяснений и резонов, зачем и как мы существуем для домов, автомобилей и газонов. Нет унижительнее чувства нищеты — затем и ехали всей шумною артелью, — но как бы в треволненьях суеты не спутать в своей жизни средство с целью. И не смешать себя с толпой. С любой — самых красивых, легких, белокрылых. Пусть магистраль течет сама собой: куда в калашный ряд с суконным рылом.

...В кустах, как чайник, булькает родник. К костру приходит птица трясогузка. Мы на обочине устроим свой пикник — у нас с собой беседа и закуска.



О ЖИЗНИ И СМЕРТИ В НОВОМ ОРЛЕАНЕ

Никто не умеет устраиваться лучше новоорлеанцев. Их город живет с установкой на веселье, хотя веселиться особенно нечего. Но при всех внешних противоположаниях самая долгая истерика в истории продолжается по сей день.

Можно тонко подметить, что Новый Орлеан — город контрастов, и это будет верно. Можно устремить испытующий взор в сокровенную глубину явлений и сказать, что за нарядным фасадом тут царит мерзость запустения, и это окажется похожим на правду. Можно улавливать слезы, протекающие сквозь смех, — найдется и это.

Во всяком случае, мы готовились к поездке в Новый Орлеан обстоятельно и серьезно, обложившись стати-

стическими выкладками. Из них вытекало, что Луизиана — хуже всех.

На первый взгляд такая особенность этого южного штата определяется его сельскохозяйственным развитием.

На самом деле отсталость Луизианы объясняется не экономическими факторами. Просто эта земля была создана для другого. Чем она и отличается от всей остальной Америки. Дело даже не в различии между протестантским и католическим духом: в конце концов, процветающую Калифорнию основали католические монахи. Скорее важно то, что крупнейший город Луизианы — Новый Орлеан — заложили французы, причем в самое веселое время — в правление герцога Филиппа Орлеанского, регента при малолетнем Людовике XV. В честь самого беспутного французского правителя и назван этот город.

Репутация у Нового Орлеана с самого начала была чудовищная. Прошло всего 10 лет с закладки первого камня, когда миссионеры потребовали от губернатора Антуана де ля Мотт-Кадиллака (не путать с автомобилем) выслать из города женщин легкого поведения. Губернатор горько отвечал: «Я вынужден отказаться, так как если выслать всех женщин дурного поведения, то женщин не останется вовсе, что не соответствует политике нашего государства».

Отчаянные первопроходцы — проститутки — населили Новый Орлеан еще раньше, чем музыканты и повара. Именно эти три профессии сейчас украшают лицо города, трудясь в полном согласии и координации. Они и составляют в Новом Орлеане простой трудовой люд, который мы прилежно ищем повсюду, куда бы ни попали: таковы наши демократические традиции. Говорят, где-то есть плантации. Но в тех, что поближе к горю, туристов мордуют экскурсоводы, а дальние насквозь заросли диким растением кудзу, набирающим до метра роста в день. Понятно, что таким добром никому владеть не хочется: во всяком случае, если плантации еще и есть, то плантаторов нету. Луизианские земли принадлежат тем, кто тут не живет, — немцам, арабам, даже королеве английской.

Мы читали «Хижину дяди Тома» и знаем, как ужасна эксплуатация. Луизианским неграм тоже так казалось, и они всячески старались уклониться от работы. Проще всего это было сделать, научившись хорошо

играть на каком-нибудь музыкальном инструменте для развлечения белых. Так появились первые профессиональные музыканты — родоначальники того, что потом стало джазом.

Переселившись после отмены рабства в большой город, музыкальные негры освоили похороны. Умирали в Новом Орлеане часто и охотно: наводнения, ураганы, желтая лихорадка, малярия, холера. Да, еще — дуэли. За собором св. Людовика на нынешней Джексон-сквер было уютное местечко, где проходили поединки. Расцвет их падает на начало XIX века, когда в городе с населением 10 тысяч человек действовали 40 фехтовальных школ. Но и позже, вплоть до конца столетия, дуэли составляли одну из самых привлекательных сторон новоорлеанской жизни. Знаменитого виртуоза Пепе Люлла даже обязали построить на свой счет специальное кладбище для заколотых им противников. Пепе умер в 1888 году от гриппа. Знаменитые новоорлеанские похороны представляли собой иллюстрацию к карнавальной теории Бахтина. Оркестр с барабаном и полным набором духовых — труба, корнет, тромбон, туба — влачил за гробом с печальными мелодиями. Но по мере приближения к кладбищу музыка веселела, а когда гроб опускали в могилу, уже гремела бодро и залихватски. Эта вывернутая наизнанку ситуация на самом деле и есть норма. Достаточно вспомнить поминальные застолья кавказцев с песнями и плясками. Да и русские поминки редко обходятся без хорового пения, переходящего в хохот и драку. Празднуется логическая завершенность жизненного цикла, прославляется правильный порядок вещей.

Нет уже никаких похорон в Новом Орлеане. Нет и прославленной Бейзин-стрит, на которой джазовые оркестры — комбо — собирались по вечерам. Точнее, Бейзин-стрит существует, но она куда менее реальна, чем посвященные ей мелодии, — теперь это магистраль, с одной стороны которой кладбище (все-таки), с другой — домишки, которые мы видели только на окраинах Калуги: кривые, с резными наличниками, собаками на цепях и старухами на крылечках.

Вся музыка Нового Орлеана теперь во Французском квартале. Собственно, это перемещение произошло лет сто назад, когда в городе развился любовный бизнес. Публичные дома неразрывно связаны с историей джаза, как и похороны, что опять-таки под-

тверждает карнавальную сущность человеческой жизни. И уход в небытие, и кратковременный провал туда же способствуют активизации творческого начала. Так или иначе, если похороны дали джазу духовые инструменты, то с публичными домами утвердилось фортепиано. Ни одна мадам не хотела, чтобы в ее заведении грохотали трубы, и трубачам пришлось не только перекалифицироваться в пианисты, но и изобрести особый стиль приглушенной игры — будто клавиатура накрыта тряпкой. От тряпки — «рэг» — и произошел «рэгтайм».

Сейчас рэгтаймовские пианисты бренчат прямо на улице, куда по причине постоянно теплого климата выставлены инструменты. Сидя в «Кафе дю Монд», слушаешь мелодию с гениальным названием «Хорошего человека найти нелегко», запивая чашкой знаменитого новоорлеанского кофе. Особые достоинства этого кофе — чушь, как и многие достопримечательности Нового Орлеана. Просто надо сразу и бесповоротно принять то, что этот город особый во всем. Тогда он таким и будет.

И вообще, чем больше город позволяет допущений, чем свободнее он разрешает обращаться с собой — тем город лучше. В Америке с этим делом тяжело. Ее города плоски и одноплановы, по сути дела, у них нет облика вообще. То есть подлинное лицо возникает постольку, поскольку вытесняется типично американское. Так бывают неожиданно прелестны новоанглийские городки, похожие на Старую Англию, или пенсильванские поселения с явным немецким уклоном, или совершенно мексиканские места Калифорнии. Новый Орлеан ушел от Америки дальше всех. Точнее — он не дошел до нее. Выросший среди старой аграрной Луизианы, он позже других больших городов Соединенных Штатов обзавелся небоскребами и хайвеями. Американская жизнь прогромыхла мимо Нового Орлеана, как автопробег мимо Остапа Бендера.

Бродя по Новому Орлеану, мы все время ловили себя на желании заглянуть в разговорник. Это не Америка, начиная с внешнего вида — не похожего, правда, и на Европу. Бесконечные балконы с резными и коваными решетками навевают смутные испанские ассоциации, но вывески настраивают на французский лад, а язык — все-таки английский. От Америки — разве что напористая реклама секса. В этом смысле Новый Орлеан — самый наглый из виденных нами городов. Не то чтобы здесь было больше публичных домов, массажных кабин-

тов, порнокинотеатров и прочих заведений этого рода, чем в нашем Нью-Йорке. Но на Миссисипи все это как-то явственнее, откровеннее, проще. Может быть, тому причиной жаркий климат, из-за которого дома выглядят старше, чем они есть, молодежь быстрее достигает зрелости, потребность в одежде минимальная, а порок не загоняют внутрь помещений холода и вьюги. Даже трамвай здесь — «Желание».

Но еще больше способствует сексу джаз. Мы читали в разных книжках, что джаз — это философия. Но так можно сказать про все. У нас есть приятель, которому ничего не стоит произнести: «На сегодня моя философия такова — берем квартиру и два пива». Мы чутко реагируем на интенцию второй части этой пропорции, не обращая внимания на начальную акцидентацию.

Джаз — не философия, а прямое руководство к действию, даже само действие. Не следует забывать, что слово jazz означало и означает по сей день не что иное, как половой акт. Креольские негры произносили именно то, что хотели сказать. Скотт Фицджеральд, пожалуй, был слишком манерен, когда дал такое определение джаза: «Состояние нервной взвинченности, какое воцаряется в больших городах при приближении линии фронта». Мы на войне не были, но были в Новом Орлеане и знаем теперь, что на родине джаза понимают джаз самым простым и доходчивым способом. Это чувствуется даже в «Презервейшн-холле» («Заповедный зал?»), где играет оркестр глубоких стариков, родившихся с дудкой в руках и жалеющих, наверное, только об одном — что их уже не похоронят по старинному джазовому обряду. Ведь вообще к смерти джазмены относятся легче, чем другие люди, помирая каждый день по десятку раз в душераздирающей импровизации.

А смерть в Новом Орлеане еще и упрощена донельзя. Дело в том, что болотистые почвы, на которых стоит город, не позволяли хоронить мертвецов в земле: для них строили микромавзолеи либо длинные стены с нишами. Поэтому новоорлеанские кладбища больше похожи на города, чем любые другие кладбища в мире, и тут уж точно кажется, что городской житель просто переехал из дома побольше в дом поменьше.

«Заповедный зал», где мы слушали оркестр Перси Хэмфри, — это большой сарай, находящийся в запустении. Должно быть, стоит немалых денег поддерживать его в таком неухоженном состоянии: подновлять проре-

хи, разбрасывать мусор, латать паутину. В этом тщательном хаосе на полу размещается публика, над которой большими животами нависают джазмены, самому молодому из них на вид лет шестьдесят. В разгар мелодии «Никто не знает, как я чувствую себя сегодня утром» Перси Хэмфри понадобилось принять лекарство. Пузырек не открывался, а наступило время его соло — трубы. Пузырек принял брат — потрясающий кларнетист Вилли Хэмфри, — но тут пришла очередь кларнета. С лекарством справилось только банджо.

На стариков съезжаются смотреть со всего мира: это последняя гвардия Нового Орлеана. Хотя уже давно столица джаза не здесь: новоорлеанский джаз загубили военно-морские силы — свои собственные, американские. Когда во время первой мировой войны в окрестностях города разместились лагеря, моряки стали активно посещать публичные дома, проворно заражаясь венерическими заболеваниями. По требованию командования ВМС квартал красных фонарей закрыли. Образцовый сексбизнес Нового Орлеана рухнул в 1917 году — роковой, как мы знаем, год нашего столетия. Естественно, кончился и золотой век новоорлеанского джаза: музыканты лишились рабочих мест и слушателей. От такого удара Новый Орлеан так и не оправился.

В том же 17-м году символически родились Диззи Гиллеспи и Телониус Монк, которым суждено было вместе с Чарли Паркером изобрести в 40-е годы «би-боп» и сделать столицей джаза Нью-Йорк. Но это уже совсем другая история.

Сейчас в Новом Орлеане показывают класс старики в «Заповедном зале», а остальной Французский квартал настолько срастил джаз с сексом, что точнее всего это можно выразить словами, как ни странно, Маяковского: «Как будто лили любовь и похоть медью труб».

Жизненный цикл здесь проходит ускоренным темпом, потому и неудивительно, что в Новом Орлеане все все время едят, будто опасаются рухнуть от истощения сил каждую минуту. Во всей Америке нет больше места, где съедается обед из четырех блюд в час ночи. Общая луизианская отсталость не допустила сюда дурной эпидемии диеты, поразившей высокоразвитые районы страны. Новый Орлеан так всерьез эксплуатирует физиологию человека, что не может обойти его вторую — вслед за любовью — потребность.

В еде Новый Орлеан ничуть не декоративен. Есть местный вариант испанской паэлья — джамбалайя. Есть раки, крабы, лангусты. Есть изумительный креветочный суп гамбо, загущенный индейским порошком. Есть устрицы, запеченные в шпинатном пюре, названные именем Дж. Д. Рокфеллера, изобретателю которых — Жюлю Альсиатору — установлен бронзовый бюст по месту рождения. Есть, наконец, зачерненная красная рыба из желтой воды Миссисипи.

Креольская кухня — сложное образование из французской кулинарии XVIII века, прошедшей через нормандско-канадское влияние и испанские колонии в Карибском море. Результат — острый, пряный и не похожий ни на одну кухню в мире.

Весь этот жаркий, влажный, шумный, веселый и наглый город существует вопреки Америке.

...И главная мелодия, по сути дела, гимн города, носит совершенно несуразное название — «Когда святые маршируют». Песня настолько знаменитая, что имя ее не расшифровывается, просто что-то вроде «Эвантусей...». Но если вслушаться, ничего более подходящего для Нового Орлеана не найти — святые, которые маршируют вдоль кладбищ, ресторанов, джазовых клубов, публичных домов.



О КУХОННОМ РЕАЛИЗМЕ

Нам рассказали про человека, составившего уникальную коллекцию. В течение многих лет он фотографирует памятники Ленину во всех городах и селах Советского Союза.

Большие и маленькие, стоящие и сидящие, зимой и летом, с кепкой и без, лысые и в кудряшках — тысячи Ленинов собраны этим энтузиастом. Казалось бы — такое патриотическое хобби, а его коллекция выглядит чуть ли не диссидентской акцией. И дело не в том, что где-то Ленин снят на фоне сортира — кощунственный фон тут не прибавит сарказма. Просто когда шестая часть суши уставлена изображениями одного человека, становится страшно и неудобно.

В любом населенном пункте СССР можно встре-

титься под каменным или бронзовым Ильичом. И неизбежность этой встречи убивает географическое, климатическое, этнографическое и любое другое разнообразие в стране. Вся она кажется безжизненной пустыней, в которой могут расти только памятники Ленину. Наверное, это и имел в виду хозяин опасной коллекции, который разумно не торопится обнародовать свое собрание.

И тут мы задумались о Нью-Йорке. Каков облик города, если судить о нем по монументам?

Главный, самый знаменитый — конечно, статуя Свободы. Но как раз она совершенно нехарактерна для Нью-Йорка. Гигантская Свобода даже не очень ему принадлежит. Она — достояние всей Америки. Бронзовая Либерти возвышается над атлантическими волнами, а не над городским пейзажем. Она предваряет собой Новый Свет, а не Манхэттен.

Собственно нью-йоркские памятники куда скромнее, хотя и среди них встречаются величественные монстры.

Монументальная скульптура знает множество видов — обелиски, надгробия, стелы, триумфальные арки. И все это у нас есть. Только мало кто на них обращает внимание. Невозможно представить себе нью-йоркца, который остановится у триумфальной арки, воздвигнутой в честь американо-испанской войны 1898 года, чтобы попасть под влияние «пропаганды идей господствующего строя». (Большая советская энциклопедия считает, что монументальное искусство именно для этого и существует.)

Если вы встретите нью-йоркца под этой аркой, то только потому, что здесь прекрасная акустика. И уже много лет сюда таскает на себе пианино один стареющий хиппи, чтобы развлекать прохожих песенками 60-х годов.

Да и какие идеи выражают бесчисленные монументы, скажем, Центрального парка? Вот они, стоят в ряд: шуплый Колумб; Роберт Бернс, задравший голову в небо, — то ли ищет глазами музу, то ли ждет воздушного парада; дородный Вальтер Скотт; бурная голова Бетховена. Или этот античный мыслитель, опирающийся на колонну. Из надписи следует, что философ — Морзе, а колонна — телеграфный ключ.

Что ж, наши предки, соорудившие эту наивную галерею, были уверены, что телеграф не менее романти-

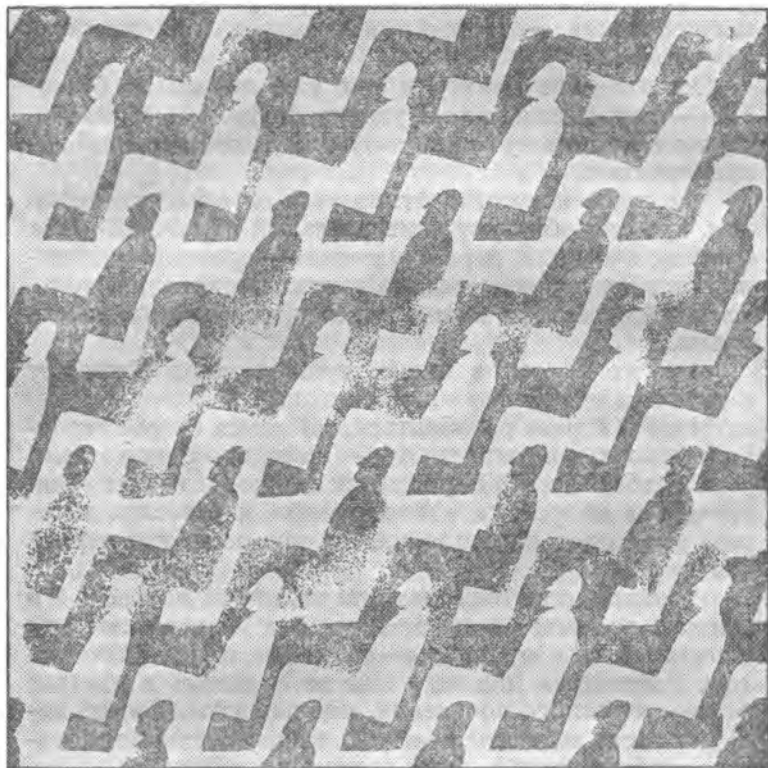
чен, чем шотландская поэзия. Чувствуется, что практичному Нью-Йорку больше подходит не величие многометровой Свободы, а сдержанный восторг по более скромным поводам — вроде открытия нового вида связи. Поэтому любимый памятник Нью-Йорка — бронзовая Алиса в бронзовой же Стране Чудес. Вместо того чтобы ею воодушевляться — с ней играют. Каждый день дети елозят на металлических Алисиных плечах, прячутся под волшебными грибами, дергают за уши симпатичного Белого Кролика. В этом памятнике уже ничего не осталось от монументального искусства, что не мешает бронзовой Алисе оживать каждый раз, когда по ней карабкаются малыши.

Современный Нью-Йорк еще больше чурается помпы. Сегодня здесь ставят памятники не героям, а просто людям.

Так, на автобусном вокзале соорудили гипсовую очередь. Среди ежедневной суеты эти люди выделяются только неподвижностью.

Черт знает, что они должны символизировать. За какие такие заслуги увековечил их автор — люди как люди, в галстуках, джинсах, с портфелями, они шли по своим делам, пока их не остановил скульптор. Как раз в Нью-Йорке такой приземленный кухонный реализм очень на месте. Уж слишком много крайностей в этой столице небоскребов. Слишком многое потрясает наше воображение. Поэтому как утешающий контраст стоит, например, памятник немолодому еврею за швейной машинкой, который установлен на «модной» Седьмой авеню.

Нью-йоркские монументы возвращают сверхгороду человеческое измерение. Они не воспевают заурядность, но замечают ее. Останавливают взгляд на будничной стороне жизни. Подчеркивают, что герой Нью-Йорка — это все же не зеленая дева, встающая из вод, а люди, прохожие, занятые собой горожане, у которых далеко не всегда есть время приглядываться к свету факела, зажатого в руке статуи Свободы, и декламировать красивые слова, высеченные на ее пьедестале.



О СТИВЕНЕ СПИЛБЕРГЕ И ХЭППИ-ЭНДЕ

Стивен Спилберг — бог современного кино, и Индиана Джонс — пророк его.

С этим суждением, конечно, можно не соглашаться. Только при этом следует помнить, что судьба еретиков и вольнодумцев — прозябание в меньшинстве. Большинство — и громадное — присягнуло на верность знаменам развлекательного кинематографа Спилберга.

За последние годы его фильмы посмотрели не миллионы, а, наверное, миллиарды людей. Так что феномен Спилберга уже имеет отношение не только к искусству, но и к социальной психологии. Когда художнику удастся попасть в яблочко с такой точностью, то говорить приходится не о его мастерстве, а о пророческом

даре, о способности проникать в те глубины коллективного сознания, в которых таится секрет созвучия творца и толпы.

Эстетические критерии тут уже начинают буксовать — речь идет не о том, удачны ли фильмы Спилберга, а о том, почему они пользуются такой бешеной популярностью.

Массовое искусство отличается от обыкновенного тем, что оно обладает универсальной отмычкой — как футбол, что ли. В паре «художник — зритель» последний становится существенно важнее первого: не столько замысел автора нам интересен, сколько тайна его славы.

Что же такого в нашей душе открыл Спилберг в своих увлекательных киносказках?

Чтобы в этом разобраться, займемся сперва героями живыми, а не экранными, — теми, кто сидит в зале.

Спилберг всегда обращается к одной и той же аудитории — к подростку, «тинэйджеру», к зрителю, который уже ходит на свидания, но еще не может купить спиртное.

Режиссер опозитизировал переходный возраст: его зритель понимает и знает взрослый мир, но сам еще не включился в эту жизнь — он живет, не платя по счетам. Реальность для него еще не отлилась в жесткие формы взрослого поведения, еще не застыла в той колее, которая ведет нас к могиле, мерно отсчитывая этапы — работа, семья, дети, пенсия, кладбище.

Подросток — существо срединное, половинчатое и, как утверждает Спилберг, счастливое: он уже знает, что сказок не бывает, но еще не наверняка. Мир еще кажется ему домом, он не воспринимает его чуждым и враждебным. Прогресс со всеми техническими чудесами подростка не пугает и не восхищает: компьютеры и ракеты — часть окружающей среды, как птицы и деревья.

В фильмах Спилберга отношения подростка с миром комфортны и безопасны. Не зря он обычно селит своих героев в уютном добрососедском пригороде. Чудесное всегда врывается именно в безмятежную среду, но не для того, чтобы разрушить это идиллическое существование, а только ради того, чтобы прибавить жизни красок, внести в нее дополнительные оттенки, ввести в симпатичный рядовой обиход фантастику.

И тут — в столкновении милого и заурядного с ин-

тересным и необычным — подросток незаменим: он единственный знаток языка, на котором говорят с фантастичным. Его взгляд на мир еще не очерствел, он еще способен объясниться с инопланетянином, в каком бы кошмарном облики тот ни предстал.

Конечно, конкретный подросток в зрительном зале далеко не всегда похож на героев Спилберга, но режиссер обращается все же именно к нему и тем как бы льстит зрителю.

На эту удочку попадают все — далеко не только молодежь. Дело в том, что подросток — вообще главный герой современной Америки, которая удовлетворяет свою тягу к безмятежности тем, что идентифицирует себя с 13-летним мальчишкой.

В голливудской вселенной нашего времени истина оказывается доступной только ребенку. Подросток спасает мир от войны, разоблачает злодеев, побеждает гангстеров, добивается успеха в бизнесе, а главное — обладает верным взглядом на жизнь, который, как выясняется, всегда мудрее взрослого мировоззрения.

Киногерой 40—50-х годов — человек солидный, с богатым жизненным опытом, любовник, муж, отец. Ну, скажем, как Гарри Купер или Кэри Грант (не их ли роли играл Рональд Рейган?). Сегодня отцы и дети поменялись местами: героем стал сын, мальчишка, подросток.

Резкое омоложение американского киногероя — симптом тектонических сдвигов в общественном сознании. Не продуманное, ответственное отношение к жизни, а импульсивное, наивное, доверчивое мироощущение — вот секрет счастья. Универсальный рецепт, тот, о котором поется в песенке «Don't worry, be happy»¹, учит не сражаться с миром, а дружелюбно с ним сосуществовать.

Молодежная революция 60-х, отвергавшая конформизм «стариков», превратилась (или — выродилась) в революцию детскую, в уютный, безопасный, «мягкий» вариант противопоставления детской непосредственности скучной взрослой определенности.

По сути, массовая культура конца 80-х вообще стала детской, предназначенной для детей и воспевающей детей. Взрослые здесь — сбоку припека. На праздник

¹ «Не волнуйся, будь счастлив».

жизни, который устраивает для своей молодежной аудитории тот же Спилберг, мам и пап берут по благу.

Спилберг завоевывает массового зрителя тем, что, обращаясь к нашей «детской» ипостаси, взывает к лучшей части человеческой души. Он переворачивает обычный порядок вещей: не дети играют во взрослых, а взрослые — в детей.

Эволюция героя Спилберга послушно следует изменениям зрительских вкусов. От серии к серии Индиана разительно молодеет. Если раньше он был типичным приключенческим героем без страха и упрека, таким Рэмбо с университетским дипломом, то теперь мы знакомимся с Индианой-мальчишкой, бойскаутом, который уже совершает подвиги, но еще не в его власти насладиться их плодами.

Заставив Индиану впасть в детство в прологе, Спилберг так и не разрешил ему окончательно вырасти. Для этого он ввел в сюжет Джонса-старшего. Индиана, омоложенный присутствием отца, стал персонажем не только героическим, но и комическим. Теперь он совершает ошибки, промахивается, попадает впросак. В сюжет фильма оказалась встроена другая, взрослая точка зрения — Индиана резвится на экране под присмотром отца, благодаря чему и перевоплощается в отчаянного мальчишку, играющего в «казаков-разбойников».

Джонс-старший — прямой потомок бесчисленных рассеянных ученых, населявших книги старых мастеров детской литературы. В нем легко узнать всех этих фанатиков науки, кабинетных затворников, которые попадают в приключенческий мир только для того, чтобы смешить читателя своей неуместностью в нем. Джонс-старший точно воспроизводит черты своих предшественников: с врагами он сражается зонтиком или авторучкой.

При всем безошибочном мастерстве Спилберга, разыгрывающего приключенческий гамбит с высочайшим профессионализмом, его фильмы составлены, как и шахматные гамбиты, из давно известных ходов: все они сплетены из штампов развлекательного искусства. Ничего нового он не придумал. Его сюжетные ходы, как и его образы, архаичны, истоки их можно искать как угодно далеко в прошлом.

Однако зависимость Спилберга от старых образцов объясняется не патриархальностью его вкусов, а наобо-

рот — острым чувством современности. Он — художник именно сегодняшнего дня, один из самых ярких представителей главного, если не единственного направления в нынешнем искусстве — постмодернизма.

Постмодернизм — это искусство эпохи, пережившей крах всех больших идей человечества. Художник уже не строит утопий, не перестраивает, а обживает мир, стараясь устроиться в нем с максимальным комфортом.

Для постмодернизма закон не писан, он живет эклектикой, смело замешивая свое искусство на осколках чужих слов и идей. Культура прошлого для него — лавка старьевщика, откуда он берет все, что идет в ход, обильно приправляя получившийся продукт авторской иронией, которая и не допускает превращения искусства в объект поклонения, уничтожает конечную серьезность произнесенного слова.

Лучшим примером постмодернистского кино могут служить поздние фильмы Феллини. Спилберг же перевел поэтику этого направления на язык массового искусства.

Его новаторство заключается в том, что он искусно соединил разрозненные элементы авантюрного жанра. «Индиана» — это энциклопедия мотивов и приемов, выработанных искусством на протяжении столетий. Любая сцена здесь — цитата, что, между прочим, и выражает дух постмодернизма, течения, сделавшего кавычки и своим главным орудием, и своим основным символом.

Спилберг потому и стал гением массовой культуры, что сумел воплотить в своих фильмах главный миф массового искусства — миф о счастливом мире. Он не зовет своего зрителя строить такой мир, он всего лишь предлагает ему убежище от реальности. Конечно, это все тот же эскапизм, бегство от настоящего в вымышленное — но на новом витке, умноженное в тысячи раз силами кино и телевидения.

Высокое искусство всегда подозрительно относилось к практике хэши-эндов. Даже в комедию оно вводило трагическую тему. В нашем веке художник окончательно разошелся с гармонией. Шедевры современного искусства обычно рисуют мир в черных красках — разобщенным, разъятым на бессмысленные детали. Здесь правит свой бал абсурд, оставляющий человека

наедине с судьбой, с роком, с тяжким бременем свободы.

Но чем мрачнее выходит картина у больших художников, тем больше потребность в продукции тех, кто предлагает потребителю увлекательную ложь о мире. Спор горьковских Сатина и Луки продолжается, и, похоже, последний берет верх.

В наши дни роль великого утешителя вместо религии и философии взяла на себя массовая культура. Коммерческое искусство можно презирать за шаблонность, примитивность, содержательную и формальную убогость, но ему нельзя отказать в одном — оно способно творить иллюзии, потребность в которых за последние несколько тысяч лет ничуть не уменьшилась.

Массовое искусство — будь то телесериал, рекламная картинка, модная песенка или тот же фильм Спилберга — мощный источник позитивных эмоций. Подспудно оно внушает нам уверенность в «правильности» мира, служит буфером, смягчающим встречу с реальностью, дает фундамент душевного равновесия, суррогат, заменяющий многим веру — в Бога, в науку, в прогресс, в «равенство, братство, счастье».

Призрачный мир на экране — это царство справедливости, где простой, средний человек берет реванш за все тяготы жизни. По голливудским правилам выигрывает всегда не государство, не полиция, не армия, а частное лицо, которому победа достается за его честность, доброту и наивность. Все эти супермены, бэтмены, Индианы представляют только себя и никогда — власти предержавшие. Ни богатый, ни великий не может быть настоящим героем. Это место занято рядовым американцем, двойником того, что сидит у экрана. Пусть фантазия автора наделяет его немислимой отвагой или сверхъестественными способностями. Зритель твердо знает, что у героя есть и другая, негероическая ипостась. Так, супермен одновременно является и скромным очкариком. Носит очки — в своей академической роли — и Индиана Джонс. Как бы высоко ни воспарял герой массового искусства, он всегда сохраняет связь с обыденным миром зрителя.

«Детская» революция еще больше подчеркивает эту связь: что может быть уязвимее, незащитнее ребенка? Но ведь именно он выходит победителем.

Кажется, чем сложнее становится жизнь, тем больше мы нуждаемся в простоте, тем важнее становится утешающая, отвлекающая и развлекающая роль искусства.

Америка усвоила эту истину давным-давно, но — Россия. Попробуем задать несколько неожиданный, но вполне закономерный вопрос: чему может научить опыт Спилберга советскую культуру?

Генрих Белль, размышляя о судьбе Германии, в чьей истории так много печальных аналогий с Россией, однажды сказал, что во многом тут виновато «отсутствие у немцев детских книг, книг для юношества, детективных романов — вообще того, что называется развлекательной литературой».

Заметим, что в России такого развлекательного искусства еще меньше. Если оно и существовало в каком-то ущербном виде, то гласность с ним безжалостно расправилась. Льва Шейнина и майора Пронина сегодня уже не реабилитируешь. Слишком тесно приключенческий жанр в Советском Союзе был связан с государством, чтобы он смог выжить в перестроечной России. В том-то и беда, что у нас *майор* Пронин, а у них — *частный* сыщик Шерлок Холмс. Советские герои всегда кому-то служат, их — никогда и нигде. За первыми стоит власть, вторые обходятся личными достоинствами.

Может быть, беспрецедентный успех Штирлица вызван как раз тем, что его отделяла от кремлевского штаба достаточная дистанция.

Похоронив старые образцы развлекательного жанра, гласность ничего не предложила взамен. Сложилась дикая ситуация, в которой массовая, самая популярная культура все разрушает, ничего не созидая. При этом критики справа пытаются завернуть советское искусство на дорогу, изъезженную Павлом Власовым, Павкой Корчагиным и Павликом Морозовым, а критики слева, сопротивляясь изо всех сил, хотят развлекать публику историями сталинских зверств.

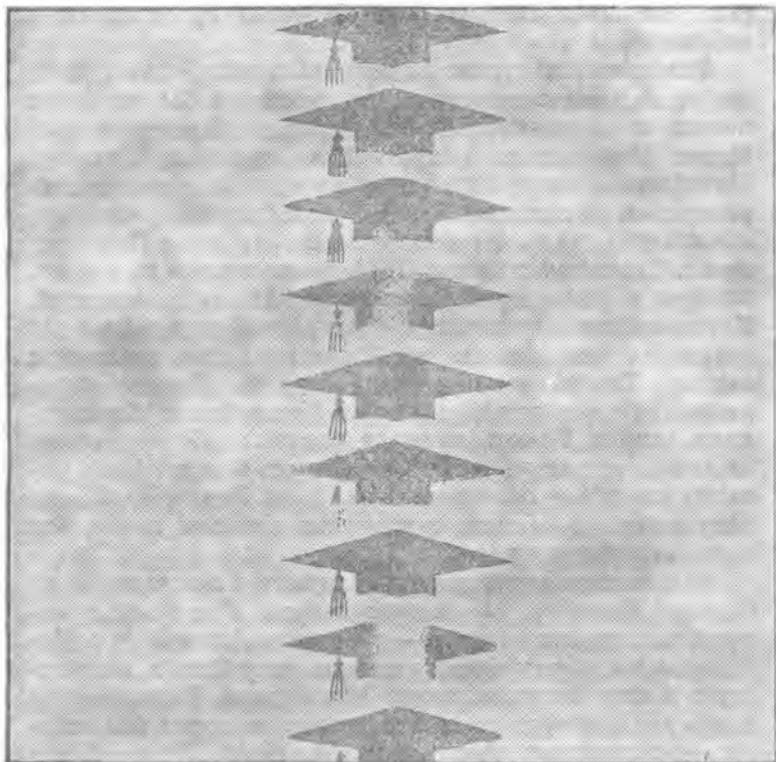
Ни тот, ни другой путь Индиану Джонса не заметит. Поэтому и зачитывается советский читатель Пикулем, потому и смотрит до одурения Штирлица, что гласность оставила культуру без развлекательного жанра.

Но как раз в истерической атмосфере общего кризиса советскому искусству так необходим источник положи-

тельных эмоций, целлулоидный мир приключений. Грубая правда Сатина без тихой лжи Луки делает жизнь в ночлежке невыносимой.

Не зря же Голливуд расцвел именно в эпоху великой депрессии. Не зря и самурайские вестерны заполонили японский экран именно в тяжелые послевоенные годы.

Чтобы массовое искусство смогло оказать свое целебное воздействие, нужны отечественные Индианы Джонсы и русские Джеймсы Бонды. А чтобы помирить западников с почвенниками, можно было бы снять многосерийный боевик «Илья Муромец и Идолище Поганое». Важно не имя героя, не арена, на которой он совершает подвиги, а главное достоинство массовой культуры — неизбежный хэппи-энд.



О ПИТСБУРГСКОМ ХРАМЕ НАУКИ

У каждой страны есть свой конструктивный символ. Какое-нибудь монументальное сооружение, сразу же дающее мысли определенное направление: Британия — Парламент, Греция — Парфенон, Италия — собор св. Петра, Мексика — сомбреро. Понятно, что для Америки — это небоскреб. Но который из них? Самый высокий — «Сирс» в Чикаго? Самый знаменитый — Эмпайр Стейт Билдинг? Самый изящный — «Крайслер»? Вообще-то сама Америка предпочитает в качестве своего символа статую Свободы — показывая порочный пример идеологизированного сознания. На самом деле, с точки зрения стилистики, статуя Свободы — это второсортная Европа, а вовсе не Америка. Здесь, слава Богу, хватает собственных самобытных явлений культу-

ры: вигвам, банджо, гамбургер. И главное — небоскреб.

Разъезжая по стране по делу и без дела, мы все искали подходящую конструкцию, которая бы наиболее полно и выразительно воплощала Американскую Идею. И — нашли. В штате Пенсильвания, в городе Питсбурге, о котором мы только и знали, что это американский Челябинск. Мол, полмиллиона человек, и все варят сталь. Но оказывается, и в этом Питсбург сдает. Стальная столица США уменьшается на глазах, потеряв за последние 15 лет чуть не 150 тысяч жителей. Когда-то, лет сорок назад, один Питсбург производил чугуна и стали больше, чем Япония и Германия вместе взятые. Теперь японцы взяли реванш. Домны, украшавшие берега диковинных рек Аллегейни и Мононгахила, задули. То есть, кажется, как раз наоборот, домна не свеча, ее задуть — значит пустить в ход. Наша металлургическая осведомленность не безгранична, мы запутались. В общем, с домнами сделали такое, что зарплата прекратилась.

Мы испытали мгновенный приступ ностальгии по былому Питсбургу — очагу культуры. Где же ей, культуре, цвести, как не здесь — у слияния Аллегейни и Мононгахилы, образующих великую реку Огайо, впадающую в еще более великую Миссисипи. Ведь именно здесь воздвигнуто то самое здание, которое мы искали, — воплощение Американской Идеи. Это — Храм Науки. Главное сооружение Питсбургского университета, Cathedral of Learning, что дословно означает скорее Собор Познания, но мы воспользуемся устойчивым русским словосочетанием: Храм Науки. Поразительно, но это в самом деле — храм. Огромный, 165 метров высотой, готический собор — со стрельчатыми арками, окном «роза», витражами, нервюрами и контрфорсами. С точки зрения готики, питсбургский Храм Науки не хуже парижского Нотр-Дама, разве что лет на семьсот моложе. Но чувство священного трепета — то же. Сначала даже шокирует, что под серыми сводами центрального нефа звучат бесцеремонные голоса, а кто-то жует длинный бутерброд. Кстати, храмовая атмосфера действует не только на таких новичков, как мы: нам показалось, что тут и разговаривают потише, и жуят как бы сквозь зубы, и не видно, как в любом американском университетском здании, опрометью бегущих молодцов в бейсбольных кепках. Непременная американская

эклектика проявляется тут и в том, что зал, как и положено храму, освещен слабо — что-то такое мерцает из редких ламп и сквозь витражи. Но, как положено Храму Науки, в нем читают. И вот девушка в шортах, прислонясь к шероховатой колонне, ловит отблеск цветных стеклышек стрельчатого окна на страницы тома *Business Administration*¹. Все это кажется противоестественным и диким, пока не проникаешься простодушным величием замысла. О. Генри издевался над миллионерами, ударившимися в благотворительность. Великий юморист испытывал к ним брезгливую неприязнь интеллигента. В целом это довольно распространенный взгляд на благотворительность. В ее основе — христианская идея раскаяния. Но на самом деле истоки филантропии одновременно и более возвышенны, и более рациональны. Потому что филантропы верили и в Бога, и в Разум. Такая двойственность заложена в самой природе американского общества, основатели которого были деистами. То есть совмещали идеализм с материализмом, полагая, что все сущее создано Богом, но в дальнейшем пребывает без божественного вмешательства — согласно научным закономерностям. Таковы были Франклин, Джефферсон, Пейн, Аллен, Раш — идеологи Америки, определившие пути ее социального и нравственного развития.

Верующий Джефферсон смеялся над такими основополагающими догматами религии, как «непорочное зачатие, Троица, первородный грех, искупление, воскресение».

Бенджамин Франклин предложил пользоваться сокращенным молитвенником — но не для того, чтобы простой народ яснее воспринимал священные тексты, а чтобы не мерз на долгих богослужениях в неотопливаемых церквях.

Другой Бенджамин — Раш — насчитал 17 причин, определяющих моральный облик человека. О духовных категориях там нет и речи. Зато есть климат: «Эгоизм в сочетании с искренностью и честностью составляет моральное качество населения стран с холодным климатом». Еда: «Моральные болезни чаще всего возникают вследствие потребления животных продуктов». Алкоголь: «Хмельные напитки хорошего качества благоприятствуют таким добродетелям, как

¹ Организация бизнеса.

искренность, благожелательность и щедрость». Температура: «Струей холодной воды удавалось тотчас же утишить сильную страсть после того, как доводы разума оказывались безуспешными». Запахи: «Особая злобность людей, проживающих вблизи Этны и Везувия, объясняется главным образом запахами серы».

Основатели американской демократии верили в эмпирику и здравый смысл. Эта вера господствовала в умах американцев — во всяком случае тогда, когда человек перестал только работать, а начинал обдумывать значение своего труда.

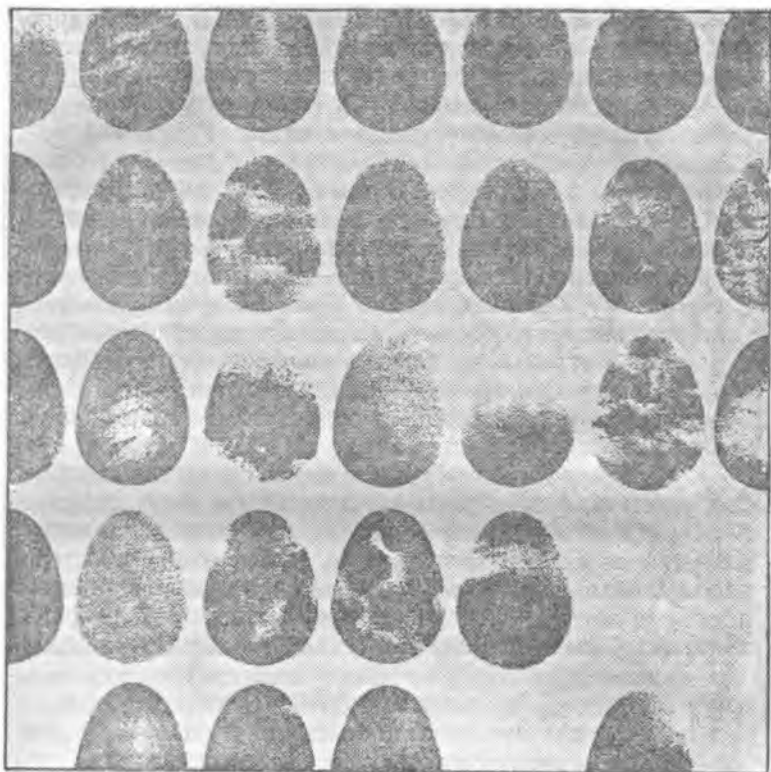
Эндрю Карнеги приехал из Шотландии и зарабатывал в питсбургском пригороде 1 доллар 25 центов в неделю. Через лет сорок он мог бы купить всю Шотландию вместе с еще не обнаруженным в то время монстром озера Лох-Несс. Карнеги стал тратить миллионы, заработанные на стали и железных дорогах, на музеи и университеты. Дело, конечно, не в угрызениях совести, а в осознании личного опыта. Ему, Эндрю Карнеги, подняться наверх помогли энергия, умение и приобретенные знания. Теперь он, искренне желая помочь своей стране, может сделать так, чтобы сотни и тысячи молодых американцев получили эти знания, необходимые для процветания — собственного и общества.

Все, что есть в Питсбурге заслуживающего внимания, построено Карнеги и Меллонами вовсе не затем, чтобы прошмыгнуть в царство небесное, как верблюд проскакивает в игольное ушко, а затем, что это разумно. Всевышний создал мир, а человек с помощью науки и разума умело его направляет. Американские миллионеры, стихийные дейсты, принимали участие в корректировке окружающего мира — приобщаясь к духовным высотам и одновременно преследуя сугубо земные, практические цели. При этом, сами обученные на медные деньги, они придвигали к себе цивилизацию широким захватом, твердо уверенные в том, что лучший способ поймать трех зайцев — это изловить восемь и пять отпустить. Поэтому, между прочим, в любом заштатном музее, основанном на деньги филантропа, представлена мировая культура во всем объеме. Что не удавалось купить — следовало скопировать. Потому что в каждом Мэдисоне и Джонстауне должно быть место, где юное поколение может внятно и быстро узнать все без исключения. Поэтому в университетах, построенных на благотворительные деньги, с самого на-

чала существовали кафедры причудливых дисциплин: миллионеры не знали точно, что нужно, и на всякий случай обеспечивали широкий спектр.

Часто оставаясь невеждами сами, они бесконечно уважали науку. Обожеествляли знание. Реальным воплощением этой идеи, ее каменным триумфом стал Храм Науки в Питсбурге. В нем все символично. Храм не увенчан шпилем, потому что шпилем заканчивается церковь, намекая на невозможность удержаться на острие духовного совершенства — это доступно только Всевышнему. Плоская крыша Храма Науки призывно манит: ее непросто достичь, но возможно взойти на нее и расположиться в удобстве приобретенного знания. С другой стороны, все вертикальные линии Храма Науки параллельны и пересечься не могут: это символ бесконечности процесса познания.

Храм Науки в Питсбурге выситя памятником простодушным филантропам, создавшим эту страну. В нем вся «американка» — гигантский размах, зависимость от европейской культуры, религиозные чувства, неколебимая вера в науку и разум, пошлость, смелость, простота, самоуверенность, гордость, инфантильность. Такой цельной Америка уже не будет никогда.



О РОКОВЫХ ЯЙЦАХ

Журнал «Тайм» поместил на обложку яичницу. Не Фиделя Кастро, не автомобиль, не белоголового орла — вульгарную глазунью. Это сигнал к очередному массовому психозу.

В каждый момент мы точно знаем, что правильно. Вся Америка зачитывается писателем Миченером, заслушивается певцом Джексоном и потеет в клубе здоровья. Вчера все покупали японские машины, сегодня патриотично ездят в олдсмобилях.

Такая жизнь удобна — как служба в армии: знай попадай в ногу. И радуется, что всенародные кампании не «спускаются» сверху, а возникают стихийно. Некоторые гаснут сразу, другие длятся десятилетиями — как, например, эпидемия похудания. Из всех американских

психозов забота о здоровье — самый устойчивый. Питательная глина, йога, бег. И главное — еда.

Считается, что французы неприлично много говорят о еде. Это не так. Больше всего о еде говорят американцы. Но не о том, что съесть, а том, чего не есть.

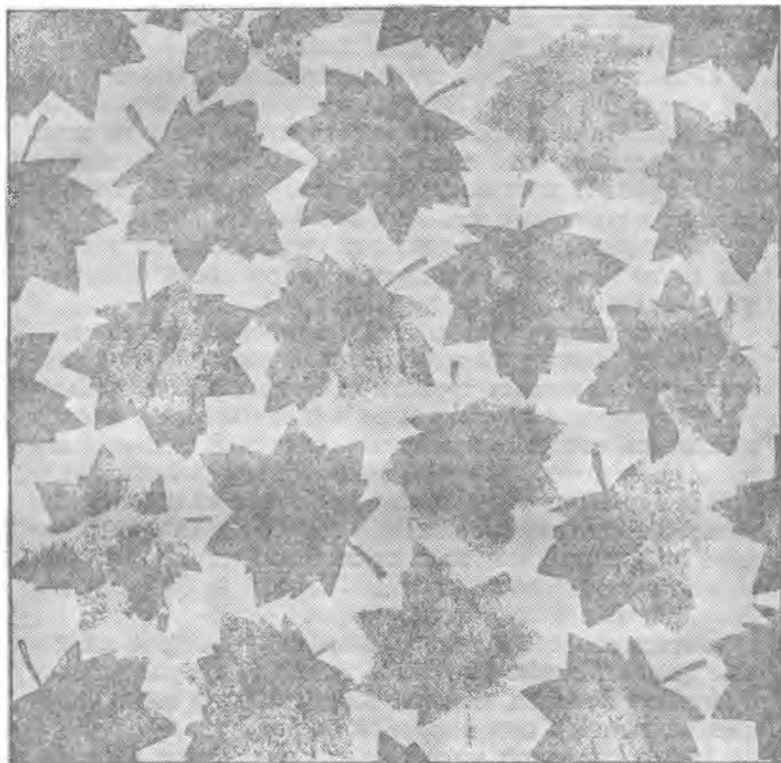
Вот теперь мы не будем есть яйца. В них — холестерин. И хотя никто не знает, чем он отличается от холецистита и холеры, его все боятся. Хмурый хвостатый холестерин выползает из куриного яйца, подрывая наше здоровье, конкурентоспособность и готовность ответить ударом на удар.

Забота американца о своем здоровье трогательна и разумна. Вид парижского обеда из пяти блюд в 11 часов вечера повергает туриста из Нового Света в обморок. В греческих круизах американец отвергает цацки и барашка, насыщаясь листиком салата. В Испании шарахается от почек по-мадридски в сторону «Макдональдза». В Германии его выносят на воздух из пивной, где кельнер подал свиные локти. В сугубо говяжьей Аргентине он, прежде чем взяться за бифштекс, долго расспрашивает, как воспитывалась корова, не была ли лесбиянкой, не ела ли куриные яйца.

Усредненность и универсальность — вот повседневные девизы. Элвис Пресли и телесериал, супермаркет и Норман Роквелл, мебель «Колониаль» и пиво, спортивные тапочки при норковой шубе.

Мимо основной массы Америки прошли восхитительные крайности культуры. В том числе — культуры еды. Когда американец хочет поесть, он берет хот-дог, когда хочет поесть хорошо — два хот-дога, когда роскошно — три.

Нельзя сказать, что это вызывает такую уж неизбывную печаль. Тем и хороша Америка, что в ней есть все. Будем из принципа есть яйца. Никуда не побежим в наушниках, выключим Джексона. Пойдем в русский магазин за богатой протеином жирной корейкой, обильными кислотой огурцами и смертельной русской водкой «Смирнофф».



О ЛИСТОПАДЕ В НОВОЙ АНГЛИИ

Есть в мире такие предметы, которые, выполняя самые прозаические, утилитарные функции, в то же время содержат в себе некую тайну. Ну, например, компас. Нет ему равных в упорстве и постоянстве. В верности компасной стрелки северу скрывается бездна поэтических добродетелей — вот у кого бы учиться ветреной молодежи. Причем сила, управляющая компасом, так же невидима и так же могущественна, как любовь или ревность.

К таким же странным вещам относятся и часы. Каждый умеет ими пользоваться. Во всяком случае, до тех пор, пока не начнет задумываться о природе времени. Но уж если дело доходит до этого, то нас не может не потрясти незатейливое механическое устройство, ко-

тому подчиняется такая таинственная и серьезная штука, как Время.

Календарь — отдаленный родственник часов — тоже не так прост. Вот он висит на стене и даже не тикает, но попробуй не подчиниться его диктату: сразу схватишь воспаление легких.

Правда, вблизи экватора календарь не такая уж важная шишка, но в наших умеренных широтах без него не обойтись. Впрочем, подчинение календарному распорядку, как и любому разумному закону, скорее приятная необходимость, чем тяжелая обязанность. Можно, конечно, и в декабре щеголять флоридским загаром, но мудрость, приобретаемая с возрастом, советует не перечить временам года. Как сказал по этому поводу Гиляровский, «кто ж станет есть белорыбицу с мартовским огурчиком в августе».

Во всяком случае, американский календарь располагает к послушанию. Он усугубляет сезонность нашей жизни пристрастием к праздникам. Даже если погода пытается вас обмануть, витрины магазинов не дадут забыть. Стоит только взглянуть на бесчисленных монстров, строящих гримасы прохожим, как любой догадается: праздник чертовщины Халловин¹, пришла осень.

Американскую осень можно определить как отрезок времени, с одной стороны ограниченный невнятным Днем труда (где вы, первомайские флаги?), а с другой — жирными индюшками, которых приносят в жертву на День благодарения.

Именно в это время года американцев охватывает поэтическое настроение. В России для этого существовала весна. Что бы там ни сочинял Пушкин, общегосударственный энтузиазм вызывала пора, когда «звонят ручьи, поют грачи, и даже пень в весенний день березкой стройной быть мечтает».

Видимо, есть в весне что-то революционное — ледоход, например. Так или иначе, советских поэтов-песенников вдохновение посещает обычно где-то в апреле.

Но американцы, народ в целом консервативный (не зря их конституция — самая старая из ныне действующ-

¹ Канун Дня всех святых.

щих) и ко всем, кроме своей, революциям относящийся с подозрением, предпочитают весне осень.

Скажем красиво: с первым дуновением холодного Борея энергичные янки впадают в лирическое томление, готовясь к встрече с Прекрасным.

Дело это серьезное и, как все в Америке, весьма прибыльное. Ежедневно метеорологи ведут наблюдение за ходом листопада. По телевизору сообщают сводки с фронта: «В Массачусетсе кленовые листья достигли максимально красного цвета, в Вермонте березовые рощи уже прошли пик желтизны, нью-хэмпширские буки осыпаются, но дубовые листья как раз созрели».

По специальному телефону туристам дают точные указания, где и когда листопад наиболее живописен. Ботаники проводят экскурсии. Микологи объявляют «грибной марафон» — состязание в сборе, опознании и приготовлении грибов. Все готово к тому, чтобы созерцать осень можно было с максимальным комфортом и эффективностью.

Всем известно, что любоваться опадающей листвой следует именно в Новой Англии. Из-за каких-то особенных почв на северо-востоке страны сконцентрированы самые живописные осенние пейзажи. Поэтому сюда валом валют туристы из всех стран мира. Только в один Нью-Хэмпшир наслаждаться «пиром красок» вместе с нами приехал миллион человек. Как мы выяснили из местных газет, в эту международную, поэтически настроенную армию затесались и наши соотечественники из Ленинграда. Так что зря эмигранты думают, что советские друзья и родственники («горбачевские мстители», по местной терминологии) едут в Америку исключительно из меркантильных соображений.

Надо сказать, что неведомые нам ленинградцы, сравнивая нью-хэмпширскую осень с родной, северной, могут прийти к тем же выводам, к которым уже пришли советские публицисты: в Америке все богаче. Это относится и к осени.

Российская гамма — спокойно-золотистая, меланхолическая, а в нью-хэмпширских Белых горах, которые так называются вопреки очевидности, лес окрашен с варварской роскошью. Но как-то у нее, природы, так получается, что какие бы дикие сочетания она ни придумывала, все ей идет, из всего выходит гармония. Правда, гармония чужая — скорее Ван Гог, чем Левитан. Никакого покоя, напротив — истерическая напря-

женность дикой, нечеловеченной природы. Сразу видно, что эти горы выращивали не покорного мужика в онучах, а буйного индейца в орлиных перьях.

Однако и это впечатление, как и все, что было почерпнуто из детских книжек, ложно. Новая Англия, несмотря на бурный пейзаж, является обширным и любимым народом заповедником тихого, провинциального образа жизни. Это музей домашнего уюта, огромный национальный очаг, греться к которому приезжают со всей страны. Где бы ни жил американец, в Новой Англии он всегда дома.

Провинцию в законченном, идеальном, законсервированном виде в Новую Англию привезли пилигримы из Англии старой. С тех пор она не очень-то и менялась. Стоит съехать с хайвея (большака) на маленькую дорогу, как вы окунетесь в пошловатый рай сельской жизни. Уют и должен быть вот таким — основательным, неспешным, изобилующим старинными вещами и традициями.

Провинция — это скелет нации. Мясо можно нарастить за счет небоскребов, модернизма и эмигрантов, но костяк всегда строится из хорошо проверенных, отутюженных временем консервативных истин. Что-то похожее писал Хомяков, когда говорил, что в Англии каждый дуб — тори.

Тут уже не до политики. Речь идет о глубинах мировоззрения, которое выражается не в принадлежности к партии, а в обоях в голубой цветочек, в громадных, как в «Чиполлино», тыквах, выставленных у крыльца, в стеганых лоскутных одеялах, в конкурсах на лучшее варенье, в свитерах домашней вязки, в ярмарках народных промыслов, во всем обывательском укладе жизни, настолько укорененном в многовековой, еще старосветской традиции, что изменить его может только водородная бомба.

Эта традиционность Старого Света своеобразно сплелась с самосознанием Нового, производя на свет чисто американскую ментальность. Ярче всего она проявилась в кардинальном конфликте, постулированном еще первым американским романистом Фенимором Купером: в противоречии между Природой и Цивилизацией.

У каждой культуры есть свой главный конфликт, над разрешением которого она бьется поколениями. В

России, например, это тема народа и интеллигенции. В Европе,— спор истории с современностью.

Но в Америке, стране новой, только что открытой и во времена Купера еще, в сущности, не освоенной, истории не было. Ее заменила природа. В перенасыщенной культурой Европе, где не оставалось места для первозданных лесов, тяга к естественной жизни приняла умозрительные, как у Жан-Жака Руссо, формы. Америка же несла в Старый Свет весть о нетронutom континенте, где можно было строить жизнь с чистого листа.

Поэтому именно американец Купер основал мощную традицию природопоклонников, которую так или иначе продолжали Эмерсон, Торо, Мелвилл, Марк Твен — вплоть до Хемингуэя. Благородные индейцы Купера, живя в идеальной согласии с природой, дают пример белым поселенцам, несущим цивилизацию в дебри Нового Света. При этом Купер не столько описывал, кстати, прекрасно известную ему индейскую жизнь, сколько создавал американскую мифологию. Он был не так наивен, чтобы не видеть пропасти между его героями и их прототипами. Но его задача заключалась в том, чтобы нарисовать идеал — идеал и общественного, и нравственного устройства Америки, которая еще только вышла на историческую дорогу. Со свойственной той эпохе высокопарностью Купер в предисловии к циклу романов о Кожаном Чулке описывал своего идеального человека: он «видит Бога в лесу, слышит его в ветре, славит его небесную благодать, покоряется его власти со смиренной верой в справедливость и милосердие, одним словом, это человек, который чувствует присутствие Божества во всех воплощениях природы, не оскверненных уловками, страстями и заблуждениями людей».

Как ни странно, в Америке это религиозное отношение к природе сохранилось и сегодня. Миллионы американцев отправляются в паломничество в свои национальные парки, где именно поклоняются чудесам природы — Ниагарскому водопаду, Гранд-Каньону, гейзерам Йеллоустона. И в целом если в Европе путешествие означает осмотр руин, соборов, музеев, то в Америке чаще ездят не в города, а в леса и горы.

Как-то нам попала на глаза брошюрка, где перечислялись семь чудес света по-американски. Все они,

в отличие от египетских пирамид и родосского колосса, были созданы не человеком, а природой.

В одном из таких мест нам пришлось побывать — каменный мост в Виргинии, гигантская арка, которую пробил река в скале. Осмотр этого природного феномена сопровождался пышной церемонией. Под ночным небом звучали хоралы Баха, разноцветные лучи прожектора подсвечивали каменные глыбы, и торжественный голос читал из Книги Бытия о сотворении мира.

Это зрелище было вполне во вкусе Фенимора Купера. Да и вообще, в современной Америке писатель бы нашел немало подтверждений своим мечтам — конечно, если б его не привезли в Детройт.

Но в маленьком городе, скажем, в его родном Куперстауне, окрестности которого — страна могилок — известны каждому ребенку, Купер не обнаружил бы больших перемен. Жителей не прибавилось — все те же две с половиной тысячи. И то же чистое озеро Отсега, на берегу которого его отец основал город. Та же церковь, где похоронены все Куперы. Тот же постоялый двор с тем же названием. Та же библиотека с колоннами. Те же двухсотлетние дубы, под сенью которых стоит его дом. Даже местная газета, «Фрименз джорнел», в Куперстауне выходит больше 180 лет без перерыва. Сейчас она занята борьбой с могущественной сетью ресторанов, владельцы которых хотят открыть пиццерию в Куперстауне. По мнению горожан, все, что надо для жизни, у них уже есть, а остальное — от лукавого. Так что, похоже, Куперу не удалось бы попробовать пиццы.

Американская провинция, которой до сих пор удается мирно разрешать конфликт между природой и цивилизацией, и есть главный секрет этой страны. Оттого, что секрет этот на виду, только труднее его раскрыть. Все равно никто не поверит, что суть Америки — в городе Мейплвуд, который может находиться в любом из 50 штатов, не отличаясь при этом ни на йоту от самого первого Мейплвуда в каком-нибудь Нью-Хэмпшире.

Само слово «Америка» во всем мире порождает совершенно ложные образы, заимствованные из научно-фантастических романов времен индустриального энтузиазма.

Противоречие между воображаемой и реальной Америкой больше всего бьет, конечно, по нам, эми-

грантам. Не то что провинциальный способ существования так уж отвратителен, нет, он по-своему живописен, удобен, естествен. Только сами-то мы в нем ненатуральны. Пытаясь пустить корни в Мейплвуде, мы с удивлением обнаруживаем, что они растут мучительно долго — веками, поколениями. Янки их заботливо пересадили, мы — грубо обрубили.

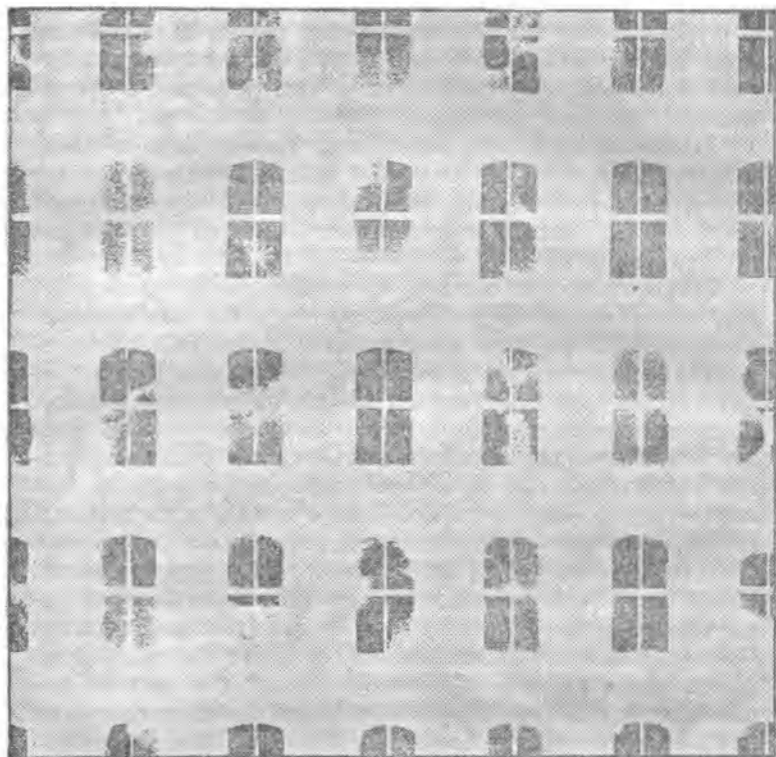
· Может быть, этим и объясняется наша поразительная, прямо-таки биологическая несовместимость с аборигенами. Ну что, в самом деле, общего у русского выходца со столетними коннектикутскими особняками, с белой вермонтской верхушкой, с дряхлыми яблоневыми садами Род-Айленда?

Перенимая внешние признаки чужой жизни, мы часто остаемся с носом. Все — «как у них», кроме нас самих.

Есть в нашей тяге к мимикрии что-то поспешное, завистливое. Как будто главное — сфотографировавшись на собственной лужайке, поскорее затеряться в этакое всеамериканском домашнем альбоме...

Новая Англия — витрина Америки. Здесь по крупинам воссоздан, а впрочем, скорее сохранен национальный идеал, правильный, как круговорот природы, умеренный, как климат средних широт. Но этот же идеал кажется странным, экзотическим, чуждым именно в силу своей естественности, нормальности.

Может быть, потому так приятно любоваться осенними листьями в Нью-Хэмпшире, что приезжаешь туда из Нью-Йорка — города, живущего вопреки норме.



О НОВОСТЯХ

Довольно трудно представить, о чем могли бы болтать на прогулке, скажем, Пушкин с Лермонтовым. О гекзаметрах, или французском театре, или лошадях? Может быть, о кавказской природе, а может, о какой-нибудь горничной. О чем бы они ни говорили, им приходилось самим выдумывать предметы для беседы. Наш век упростил эту задачу. Сегодня люди не говорят, а обмениваются новостями. Каждое утро газеты аршинными заголовками подсказывают нам темы. Они лучше знают, что важнее — эпидемия СПИДа, удаление бородавки на носу президента или захват террористами трамвая.

Мы живем в густом информационном бульоне. Американские журналисты сделали новости необходимым компонентом жизни обывателя. Газеты и телеви-

зор держат нас постоянно в курсе событий. Стоит на один день отстать от этого курса, как человек оказывается немым: ему просто не о чем поболтать с приятелем, соседом, коллегой.

И все же жадность современного человека к новостям объясняется не только такими приземленными и суетными причинами. Информация об окружающем мире делает зрителя или читателя мнимым участником происходящего.

Новости всегда свежие, известия всегда последние. Мы живем исключительно в сегодняшнем дне. Значительно только то, что происходит сейчас. Сиюминутность диктует нам дискретную картину мира. Кому придет в голову читать старую газету? А завтрашней не существует вовсе. Все прошлое и будущее должно уместиться в день сегодняшний. Из-за сугубой актуальности новостей мы теряем ориентацию в иерархии ценностей. То, что казалось вопросом жизни и смерти сегодня, завтра представляется нелепым пустяком. С точки зрения газет, мир состоит из одних сенсаций. Но сколько подлинных сенсаций способна вместить одна человеческая жизнь? Штук пять с головой хватит. Однако мы охотно позволяем себя дурачить. Соглашаемся верить, что убийство в Бронксе и есть та новость, которая перевернет мир. Хотя бы на тот период, пока не произойдет убийство в Квинсе. Нам даже нравится, что окружающая вселенная живет такой напряженной, остросюжетной жизнью. Нравится, потому что на самом деле главное в новостях не само событие. В 99 случаях из 100 оно не касается непосредственно нас. Покоряет другое: журналисты превращают скучные будни в драму.

Изо дня в день люди встают, умываются, ходят на работу, ругаются с женой, платят налоги, ложатся спать. А на фоне этого однообразного существования разворачивается увлекательный спектакль. Иногда кровавый боевик, иногда уморительная комедия, иногда слезливая мелодрама. И все это на самом деле, без дураков. События происходят в реальности, а не придумываются ловкими щелкоперами. И кровь льется настоящая. К тому же драма эта, в отличие от тех, которые показывают в театре, не имеет конца. Сюжет ее непредсказуем. Он часто нелогичен, абсурден, часто вообще не имеет смысла.

Что может быть интереснее, чем следить за перипе-

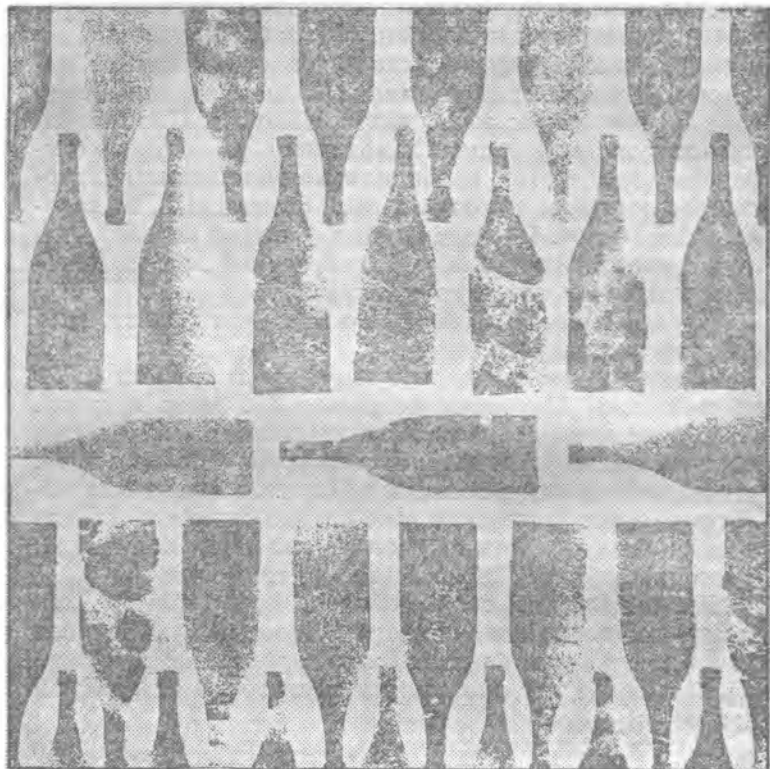
тиями постановки, у которой нет ни автора, ни режиссера. И ведь для этого не надо самому принимать в ней участие. Мы отгорожены от новостей голубыми экранами и газетными полосами. И как бы близко мы ни принимали к сердцу происходящее, стоит только выключить телевизор, как наша обыденная жизнь вступает в свои права: жена, тахта, тапочки. Поволновались за судьбу очередных заложников, ужаснулись очередному злодейству, насладились полноценным катарсисом и юркнули обратно в свой безопасный, но скучноватый мирок. В конце концов, никто и не ждет, что лично мы примем участие в этой бурной драме. Достаточно того, что мы ей сопереживаем.

Когда Шекспир заявил, что мир — это театр, мир еще театром не был.

Люди путешествовали в каретах со скоростью 20 миль в день. Парусник покрывал 125 миль в сутки. Почтовые курьеры, выжимая из лошадей что могли, делали за день 85 миль. Новости требовалось 10 дней, чтобы добраться из Венеции в Париж. Когда такая новость наконец приходила, уже поздно было что-нибудь предпринимать. Поэтому она мало кого волновала: «Что там, турки? Да... Но овес-то вздорожал».

Шекспировские современники, воспринимая мир как театр, имели в виду историческую драму. Счет шел не на дни, а на династии. Даже вероломное убийство Юлия Цезаря представлялось достаточно актуальной новостью.

Поэтому-то так интересно, как коротали время на прогулке Пушкин с Лермонтовым. Скорее всего, их волновали вечные темы — поэзия, женщины, евреи.



О БРОДЯГАХ

Живя в Нью-Йорке, нельзя не заметить Рождества. В первую очередь об этом заботится реклама. Никогда она не бывает такой идиотски сопливой, как в декабре. Глядя на телевизионные «коммершелз», можно подумать, что вам читают проповедь, а не предлагают подарить родственникам теплые кальсоны. Но главный симптом приближающегося праздника — чувство всеобщей расслабленности. В эти дни даже отчаянные негодяи едва сдерживают слезы умиления. Любовь к ближним разливается в зимнем воздухе в той концентрации, которая уже становится опасна для этих самых

ближних. Рождество — это отдушина для сентиментальности. Целый год мы живем холодными ироническими скептиками. Целый год злодейски высмеиваем разумное, доброе, вечное. И за это расплачиваемся мощным позывом к благотворительности, который раз в году случается с каждым.

Напрасно, шляясь по предпраздничному Нью-Йорку, мы пытались напомнить друг другу о барышах, которые получают хищники-миллионеры от рождественских распродаж. Напрасно мы перечисляли все преступления, совершенные во имя христианской любви. Не помог даже перечень личных врагов, который мы всегда держим при себе на всякий случай. Рождество было сильнее, и хотелось немедленно возлюбить всех — от дворника до жениных подруг.

Но тут мы вспомнили, что как раз для таких случаев существуют подонки общества. Все эти бродяги, пропойцы, нищие оборванцы — вот на кого может излиться праздничная любовь без видимых последствий. И мы решили специально к Рождеству обобщить наши знания о нью-йоркском дне жизни.

Надо сказать, что оно уже давно привлекало наше внимание. Мало в чем так заметна разница между тоталитарной и демократической системой, как в поведении и облике безнадежных алкашей.

Американский бродяга, прежде всего, не прячется. Он не старается слиться с подворотней, не ползет, как ящерица, по стене. Да и одевается он с ненужной, на наш взгляд, роскошью — пестрые одеяла, цветастые обмотки, иногда гавайские гирлянды. Свое свободное время (другого у него нет) он проводит на виду у прохожих. Устраивается с бутылкой на самых людных перекрестках, а если устанет, то ложится там же, на тротуаре, — так что обходить его уже приходится по мостовой. Нет в нем российской неяркой скромности. Вот, скажем, как описывает поэт Николай Вильямс условия жизни советских пропойц:

Как тифозный во вшах, весь пустырь в алкашах.
Не видать ни души, шелестят камыши,
В камышах, как гадюки, шуршат алкаши.

А их американские коллеги больше похожи не на скрытных гадюк, а на гордых павлинов. То ли не обра-

щают внимания на окружающих, то ли наоборот — обращают. И пьют они что-то совершенно невообразимое. Стоит на Пятой авеню такой и дует из горла крохотную, с мизинец, бутылку коньяка «Реми-Мартен». Предложи ему политуру, клей БФ-2 или тормозную жидкость, еще обидится. Этот, кстати, закусывал горячим пирогом с вишневым вареньем из «Макдональдза».

Вольготность, с которой ведут себя американские бродяги, обычно не навязчива. Идя сквозь толпу, представитель дна ее не замечает. Он ничего не просит, ничего не хочет и вообще самодостаточен. Где он берет деньги на «Реми-Мартен» — его проблема, и он ею никого не обременяет.

Агрессивные нищие принадлежат к другому сословию. Они стоят на грани законности и переступают эту грань, когда позволяет случай, с поспешной бесцеремонностью. Часто не поймешь, то ли он просит денег, то ли требует, то ли вы филантроп, то ли жертва ограбления. Опытные ньюйоркцы советуют не вдаваться в тонкости и подавать милостыню, чтобы не превратить нищего в преступника.

Впрочем, есть разные методы. Однажды мы гуляли по опасной 42-й улице с только что приехавшим из России писателем Довлатовым. К нам подошел бритый, похожий на черного Юла Бриннера человек и заявил свои претензии к нам. Мы не поняли, но догадались — вид у него был устрашающий: повсюду торчали цепи, ножи, дубинки. К тому же он жестами показал, что он не один — что там, откуда он пришел, еще много таких. Однако в самый интересный момент диалога все испортил Довлатов. Из России он вывез убеждение, что все люди братья. Поэтому он обнял страшного человека и крепко поцеловал негодяя прямо в лысую голову. Тот ретировался, посерев от ужаса, а мы убедились в том, что любовь побеждает все.

И все же настоящих бродяг не следует путать с уголовниками. Если первые стремятся общество игнорировать, то вторые в нем кровно заинтересованы.

Чтобы наблюдать жизнь отверженных, достаточно покататься в метро или просто постоять полчаса на любом углу. Но чтобы сгустить впечатления до обобщений, надо отправиться на улицу Бауэри. Живя в

России, мы наивно думали, что трущобы Бауэри являются «потемкинскими деревнями» наоборот. Что их построили где-нибудь на Смоленщине специально для удобства советских журналистов — надо же им показывать оборотную сторону американской медали.

Советская пропаганда подвела нас и тут. Бауэри действительно существует. И мы бывали там неоднократно, на всякий случай присматриваясь к тамошнему образу жизни. Не зря же русская мудрость учит: от тюрьмы да от сумы не отрекайся.

Население Бауэри — самая демократическая часть Америки. Городские власти, предоставляющие бродягам приют, не делают между ними никаких различий. Вот уж где нет ни элина, ни иудея — все равны перед благотворительностью.

Чтобы жить в ночлежке, надо до нее дойти или хотя бы доползти. Все. Никто не спросит — откуда и почему. Никому нет дела до имени или происхождения. Единственное требование — пройти сквозь детектор металла. Если обнаружат нож или пистолет, отберут, но ночевать пустят. В убежище можно прийти пьяным, грязным, обкуренным, побитым — каждому дадут койку, подушку, простыню и одеяло. И посоветуют спать в ботинках, чтобы не украли. Еще мягко порекомендуют принять душ, но если бродяга сочтет мытье излишеством, с ним спорить не станут.

В ночлежке можно смотреть цветной телевизор, играть в карты, молиться, читать. Нас как людей, отмеченных интересом к кулинарии, естественно занимал вопрос питания. Вся Бауэри уставлена заведениями, где чистоплотные добровольцы из Армии спасения угощают бродяг знаменитой бесплатной похлебкой. Чтобы ее получить, опять-таки нужно только протянуть руку. Именно это мы, смущенно хихикая, и сделали, всем своим видом показывая, что похлебка нам нужна только в исследовательских целях. (Видели бы нас друзья из России, которые уверены, что мы вылезаем из спортивных «Ягуаров» только для того, чтобы нырнуть в собственный бассейн.)

В пластмассовом стаканчике плескался густой куриный суп, заправленный изрядным набором овощей — сельдерей, морковь, зеленая фасоль, ямс, кукуруза. К горячей похлебке прилагался кусок хлеба с

маргарином. На столе рядом стояли соль, перец, кетчуп. По вкусу еда была ничуть не хуже, чем та, которой кормят в стандартной американской обжорке. И съесть ее можно было хоть ведро — был бы аппетит.

Обеспечив себе хлеб и кров, бродяга с Бауэри приступает к тому, ради чего он пошел в бродяги. Как и у нас на родине, их день начинается с открытия винных магазинов (в будни — с восьми, а в воскресенье — зубы на полку). Мелочь они сшибают с неопытных автомобилистов, заехавших на Бауэри случайно, по пути в Чайнатаун¹. Потрут им стекло грязной ветошью или так постоят с жалостливым видом рядом со светофором. Собрав нужную неровную сумму, несут ее в магазин, а дальше по произволению: в дождь устраиваются под мостом, в ведро — где придется.

В той экологической системе, которой является любое общество, люмпены представляют наглядную альтернативу. Отправившись на Бауэри, каждый может увидеть, что происходит с детьми, которые не слушаются взрослых, и что происходит со взрослыми, которые не хотят упорно трудиться.

Во все времена, во все эпохи существовали такие люди. И в любом обществе они жили на его дне.

Но отношение к бродягам, предпочитающим праздность труду, было разное. В античности их, например, называли философами. Право на труд тогда отнюдь не казалось такой уж безоговорочной привилегией. Древние греки лелеяли своих бродяг, видя в них представителей заманчивого, хоть и нелегкого образа жизни. Когда малолетний хулиган разбил глиняную бочку Диогена, афиняне купили ему новую. Тогда еще не было Бауэри, но власти уже заботились, чтобы у горожан были свои призраемые (не путать с прЕзираемыми — эти есть всегда).

Люди, сознательно лишившие себя собственности, более склонны к философскому взгляду на вещи, чем те, кто старательно окружает себя этими вещами. Не зря Сократ утверждал, что бездеятельность — сестра свободы. И знаменитые слова «человек — это звучит гордо» произнес шулер и пропойца Сатин, герой вольнолюбивой пьесы Горького «На дне».

В Америке, где свободе поклоняются уже третье

¹ Китайский квартал.

столетие, бездомные нищие выражают идеалы страны. Пока рядовые граждане честно трудятся, бродяги берут на себя функцию защитников той абсолютной свободы, наслаждаться которой может только философ, святой или алкоголик.

Естественно, что общество обязано оказывать помощь этим мужественным борцам. И если оно не ставит им памятников, вроде того, что соорудили на могиле Диогена эллины, то хоть накормит похлебкой. И потом, на чьи головы снисходило бы наше рождественское благодушие, если бы в Нью-Йорке не было «дна»?



О МАНХЭТТЕНСКИХ РУИНАХ

Мы, оглядываясь, видим лишь руины.
Взгляд, конечно, очень варварский,
но верный.

Иосиф Бродский

Главная претензия, которую мы сразу предъявили Нью-Йорку, заключалась в его непростительной молодости. Тогда, правда, мы и сами были моложе, а значит, категоричней и требовательней.

Мы считали, что городу приличествует благородная седина, а не мельтешение небоскребов. Счет должен идти в лучшем случае на тысячелетия, в худшем — на века, но уж никак не на десятилетия.

Привыкнув в своих рижских пенатах к настоящей готике, мы не хотели удовлетвориться ее скоропалительным подобием в облике нью-йоркских церквей.

Больше всего нам, пожалуй, не хватало архитектурных переживаний. Того трепета, который охватывает современного человека при виде каменной плиты с надписью «Anno 1315».

В Риге этого добра хватало, и мы им пользовались вовсю. Даже юношеские попойки мы аранжировали таким образом, чтобы стаканы поднимались на фоне стремительных готических шпилей или кудрявых барочных фронтонов.

За прошедшие годы Нью-Йорк, в отличие от нас, постарел несильно. Но мы научились немножко разбираться в его хронологии — все же этот город постарше Питера. Потихоньку мы откатывались из хаотического Бруклина к самой старой нью-йоркской окраине. Пока не добрались до того дерева, под которым голландский негодник совершил свою жульническую сделку, купив у индейцев Манхэттен.

Мы живем в самой северной точке нашего острова, в Вашингтон-Хайтс. Район этот имеет мало отношения к блеску Пятой авеню и всему тому, что провинциалы считают Нью-Йорком. Более того, поскольку по дороге домой нам надо миновать Гарлем, считается, что жить здесь опаснее, чем в Синг-Синге¹.

На самом деле Вашингтон-Хайтс — довольно тихое захолустье. Свой звездный час он пережил во время упомянутой коммерческой операции. Некоторую славу ему принес генерал Вашингтон, который и здесь воевал англичан. Потом — Генри Киссинджер, окончивший тут среднюю школу. И уже совсем потом в наших краях поселились русские евреи.

Сейчас и их осталось немного. Преуспеяние в американской жизни почти наверняка связано с переездом в пригород. Но до сих пор если за окном слышны голоса, то звучат они по-русски. Мы сперва объясняли это эмигрантской многочисленностью, а потом сообразили, что просто наши говорят громче.

Что в Вашингтон-Хайтс поразительно, так это огромные и невообразимо дикие парки. Собственно, это просто куски леса, которые не застраивались со времен индейцев. А от их вигвамов, естественно, ничего

¹ Нью-йоркская тюрьма.

не осталось. Лес этот так дремуч, что мы невозбранно жарим тут шашлыки, собираем ландыши и наблюдаем фауну, представленную зайцами и фазанами.

В 30-е годы до нашей окраины дотянул свои щупальца известная акула Рокфеллер (кажется, тут получился зоологический курьез). Он пытался благоустроить местные дебри, превратив их в парк. Но буйная природа взяла свое, и рокфеллеровские начинания обросли лианами. Покосились разбитые еще до Пирл-Харбора фонари, мох поглотил растрескавшиеся асфальтовые дорожки, элегантные беседки стали руинами.

Если не считать Южного Бронкса, эти руины — единственные в Нью-Йорке. О них, правда, мало кто знает, но нам они во многом заменяют настоящие европейские древности. Остатки былой роскоши часто бывают живописней самой роскоши. Никто не видел целого Парфенона, но сколько туристов вдохновляются его развалинами. Есть особая эстетская прелесть в том, чтобы смаковать декадентский привкус запустения. Печальное очарование полуистлевшей старины, Венеция, «Вишневый сад»...

Руины Вашингтон-Хайтс, конечно, не римский Форум, но они вполне приемлемый компромисс между динамичной Америкой и европейской ностальгией.



О ФЛОРИДСКОЙ ФАБРИКЕ ОПТИМИЗМА

Флорида неизбежна, как старость. Наверное, поэтому мы ее все откладывали — на потом, на черный день. Мол, рано или поздно придет время, когда между тобой и кладбищем останется только этот полуостров пенсионеров.

Но устоять перед неизбежным еще никому не удалось — пришло и наше время побывать в этой всеамериканской здравнице, где мягкий климат и индустрия развлечений лечат душу и тело, где в плодородных субтропиках каждое существительное обрастает пышными прилагательными — «волшебное! чудесное! фантастическое!».

Обилие восклицательных знаков всегда заставляет подозревать, что вас втягивают в рекламную аферу. Но

только вернувшись домой, мы осознали, до чего грандиозна эта афера. Только вынырнув из диснеевской вотчины — Орlando, мы поняли, какие силы бушевали над нашими головами. Пожалуй, со времен XXII съезда с его знаменитым лозунгом про коммунизм на нас не обрушивалась такая массивная пропаганда земного рая.

Флоридские развлечения — «Волшебное королевство», «ЭПКОТ-центр», «Мир моря» — нельзя рассматривать по отдельности. Это вам не парк культуры и отдыха с колесом обозрения, откуда обозревать нечего. Во Флориде вы становитесь объектом направленного воздействия добродетели. Тут вас не столько развлекают, сколько вербуют, обращают в свою веру. Диснеевская монархия угощает вас экстрактом чуда, и, конечно, нет ничего странного, если он вызывает изжогу. Попробуйте питаться одним сиропом.

Больше всего флоридский рай похож на ВДНХ. Это сходство определяется близостью замысла. Апология Добра в таких масштабах приводит к одинаковым результатам — независимо от общественного строя. Теория бесконфликтности на практике всегда реализуется в аттракционе, в декорации, в иллюзорном царстве.

Помнится, когда-то в России показывали фильм про колхозников, которых привезли на ВДНХ. Коренастые люди в сапогах растерянно бродили между многометровых лепных колосьев, томилась в павильоне «Пчеловодство», отдыхали в прохладе фонтана «Дружба народов», лакомились мороженым. А потом голос за кадром проникновенно произносил: «Придет день, когда вся наша страна будет такой же прекрасной, как Выставка достижений народного хозяйства». Колхозники благоговейно покидали выставку и возвращались домой, неся в душе незабываемые впечатления об осуществленной в Москве утопии.

Именно так, по нашему мнению, должен воспринимать Орlando нормальный американец. Диснеевские парки — это витрина Америки. Чтобы понять страну, нужно познакомиться с ее идеалом. Нелепо искать настоящую Америку в Гарлеме. Настоящая Америка такова, какой она хочет себя видеть. Именно помпезная роскошь ВДНХ определяла стиль сталинской эпохи. Душа Америки принадлежит диснеевскому миру. И Микки-Маус — пророк его.

Замысел Диснейорлда¹ дерзок и замечателен. Он, как Петербург, выросший на болотах,— продукт воли человека, который решил построить в одном, отдельно взятом штате земной рай, создать на пустом месте идеальный мир без страха и упрека.

Диснейорлд целен и самодостаточен. Единственно, в чем он нуждается, так это в туристах. А так от большого мира ему ничего не нужно. У него все свое— свое прошлое, будущее и настоящее.

Флоридский рай наивен, простодушен, пошл, но и увлекателен, заманчив. А главное— он работает на благо нации. Здесь производится самый ценный продукт Америки— оптимизм.

Изучение Диснейорлда, как и любой страны, следует начинать с географии. Для этого в ЭПКОТ-центре— новейшем добавлении к флоридской развлекательной индустрии— сооружен мини-глобус. На берегу живописной лагуны выстроились разные страны— Канада, Марокко, Франция, Китай и дюжина других (остро ощущается отсутствие России). Там вам предоставляется возможность совершить кругосветное путешествие не за 80 дней, а за 80 минут.

Каждая страна представлена аутентичной архитектурой, товаром, едой. Если это Франция, то, конечно, вы найдете Эйфелеву башню. Если Мексика, то официанты носят сомбреро. Если Япония, то границу будут охранять бронзовые самураи. Короче, не спутаешь.

Поскольку мы бывали почти во всех странах, представленных в ЭПКОТе, то можем подтвердить: похоже. Есть только одна разница— флоридский глобус несравненно лучше настоящего. Обойдя вокруг света, вы ни разу не разочаруетесь в человечестве. Все оно здесь чистенькое, ухоженное и радостное. Тут не бывает нищих, больных, голодных. Флоридская заграница— облегченный, адаптированный мир.

Диснеевская география дает урок американского патриотизма. Она наглядно показывает: все, что попадает в Новый Свет, немедленно становится лучше. В первую очередь— Старый Свет. Пройдя сквозь горнило американской цивилизации, остальные континенты очищаются от своих замшелых пороков, преобразуются под флоридским солнцем в приветливых и дру-

¹ «Диснеевский мир»— название флоридского городка аттракционов.

желюбных эмигрантов, которым уступили кусочек американской мечты.

Диснейуорлд эксплуатирует традиционный американский изоляционизм. Подспудно янки и так знают, что ему незачем путешествовать. Все, что надо, ему доставят на дом, во Флориду, да еще в улучшенном виде. В самом деле, в диснеевской загранице нет террористов, все улыбаются, аборигены здесь обожают американцев. Экзотика сюда допускается, но в гигиенических, аптекарских дозах. Такой и должна была стать наша планета, как бы говорит Диснейуорлд, если бы не валяла дурака и жила по американским правилам.

Естественно, что центром флоридской географии являются Соединенные Штаты. (Между прочим, стоит взглянуть на обычную карту мира, чтобы убедиться: и в настоящей географии все обстоит точно так же. Вопреки грамматике и логике, западное полушарие на американской карте больше восточного. География — не такая уж беспристрастная наука. Один наш знакомый со сложной биографией — колумбиец, окончивший ВГИК и живущий в Германии, — жаловался, что никак не может привыкнуть к капризам картографов. У себя дома он учился по картам, где Колумбия занимала две трети горизонта, а в Европе еле смог найти родину на глобусе.)

Диснеевская Америка отличается от других стран-аттракционов тем, что не позволяет себе экзотических деталей. Тут на нескольких акрах земли представлена чистая мечта. Смотреть здесь в принципе не на что: Мэйн-стрит, аптека, фонарь, пожарная охрана — но все это застыло в некоем идеальном времени, когда улицы и нравы были еще чисты. Когда не было преступности, наркотиков, гомосексуалистов, богемных юнцов, расовых конфликтов — если вам попадались негры, то это были веселые швейцары, неунывающие почтальоны, дружелюбные кучера. Мы-то такой страны не застали, но теперь хотя бы знаем, что означает «старая добрая Америка».

Диснейуорлд обходится двумя временами — прошлым и будущим. Настоящему — прибежищу убогого реализма — здесь места нет. Утопия может существовать либо в Золотом веке, который уже был, либо в том, который еще будет. Поэтому из пасторальной Америки, застывшей где-то между изобретением подтяжек и присоединением Техаса, вы попадаете прямо в ослепительный XXI век.

Главная тема ЭПКОТ-центра с его головоломной архитектурой это торжественный гимн прогрессу. Ведущие американские компании вкладывают огромные деньги в аттракционы, обещающие перенести вас в мир будущего при помощи продукции этих фирм. Однако на самом деле здесь рекламируются не конкретные изделия, а сам научно-технический прогресс, который и есть путь к счастью.

Все аттракционы построены по одному принципу. Вас сажают в вагончик, в котором вы совершаете недолгое путешествие по страницам цивилизации. Куклы-автоматы выплывают из темноты и разыгрывают сценки, из которых явствует, что когда-то не было колеса, а потом его изобрели. Затем к колесу приделали моторчик, потом крылья, наконец, появляются ракеты. И вот вас привозят в светлый храм будущего. Здесь куклы уже наряжены в скафандры. Они живут на космических станциях и в подводных городах. Их окружают компьютеры, роботы, лазеры. По мере движения к XXI веку куклы становятся все веселей. Если изобретатель колеса угрюм и задумчив, то пластмассовому человечку в скафандре остается только петь и приплясывать от счастья. Каждый может убедиться, что, как ни прекрасно американское сегодня, завтрашний день будет еще лучше.

Вообще-то нам все это знакомо по детским впечатлениям от романов Беляева, Адамова или Ефремова. Во Флориде, конечно, никто не произносит магического слова «коммунизм», но радужные краски грядущего здесь такие же аляповатые, как и во времена нашего пионерского детства.

Прогресс в ЭПКОТ-центре нагляден, прямолинеен и утилитарен. Он является прямым результатом сложения. Чем больше изобретений, тем лучше наша жизнь. Об этом рассказывают и даже поют автоматические куклы, демонстрируя, насколько счастливее стал человек с тех пор, как появился электрический утюг.

Вполне понятно, что диснеевское будущее, как и диснеевское прошлое, безмятежно. Не для того приезжают туристы во Флориду, чтобы им показывали изнанку прогресса.

Однако научно-техническая революция в здешней интерпретации разочаровывает: уж слишком она примитивна. Сверхсовременный ЭПКОТ-центр на

самом деле весьма старомоден. Весь он вырос из романов Жюль Верна — не зря его тень витает над флоридскими развлечениями. Но при этом наш век внес свои коррективы, с которыми стоит разобраться.

Во времена Жюль Верна любое изобретение было осмысленным результатом усилий человеческого гения. Фантастика не отрывалась от реальной почвы. Будущее выросло из настоящего. Его можно было растолковать читателям, и сам Жюль Верн видел свою задачу в популяризации науки.

Возьмем, например, первый попавшийся эпизод из «80 000 лье под водой» («Наутилус» капитана Немо, кстати, самый популярный аттракцион в Диснейуорлде): «Приказание сейчас же было передано в машинное отделение по аппарату, приводимому в действие сжатым воздухом, механики повернули пусковой рычаг. Пар со свистом устремился в золотники. Поршни привели во вращение гребной вал. Лопастя винта стали вращаться со все возрастающей скоростью».

Конечно, этот фрагмент из художественного произведения больше подходит для «Физики» Перышкина, чем для фантастического романа. Но современники Жюль Верна находили поэзию во всех этих золотниках и поршнях. Прогресс выражался в конкретных, в принципе доступных пониманию рядового человека технических реалиях.

В наши дни мы имеем дело не столько с научно-технической революцией, сколько с ее атрибутами. Мы пользуемся достижениями прогресса без всякой надежды разобраться в том, как они устроены.

Этот парадокс заметен, например, в концепции современной игрушки. Если сравнить детский конструктор эпохи Жюль Верна с тем, который продается сегодня, то мы обнаружим потрясающий регресс. Соорудить модель парусника несравненно сложнее, чем составить из готовых кубиков какой-нибудь фантастический планетолет. Ведь парусник должен работать — плыть. Не так уж просто установить руль, штурвал, паруса так, чтобы они на самом деле повиновались ветру, даже если вы испытываете игрушку в ванной. Зато ничего не стоит приставить один кубик к другому и назвать это сверхлазером для гиперпространства.

Все чудеса ЭПКОТ-центра рассчитаны на то, чтобы принимать их на веру. Несомненно, что когда-нибудь человек будет жить на космических станциях или в под-

водных городах. Но так же несомненно, что, в отличие от героев и читателей Жюль Верна, ему не придется разбираться в том, как устроены все эти хитроумные изобретения.

ЭПКОТ-центр проповедует светлое будущее, но его идея прогресса рассчитана на потребителя, а не на творца. Слишком прост мир XXI века, если судить о нем по стандартам Диснейуорлда.

В целом ЭПКОТ-центр не больше чем дорогостоящая и даже не очень умная игрушка, которая ратует за прогресс самым незатейливым образом.

В основе Диснейуорлда сказка. Если в ЭПКОТ-центре она облечена в наукообразную, «жюльверновскую» форму, то в главном флоридском парке — «Волшебном королевстве» — сказка живет в чистом виде, разве что она слегка приправлена приключенческим романом. Пираты, феи, гномы, привидения, дикари — весь положенный набор представлен тут теми же куклами-автоматами. Особенно поражает воображение «Заколдованный замок», где призраки, сотворенные из воздуха при помощи голографии, убеждают любого скептика в существовании некротических явлений.

Диснеевская мультипликационная сказка, как и вся Америка, выросла из европейских корней. Но есть у нее и своя специфика, которая не бросается в глаза, когда вы смотрите гениальные фильмы самого Уолта Диснея, но заметна в «Волшебном королевстве».

Американская сказка, в отличие от своего европейского прототипа, более поучительна, более бесконфликтна, в ней нет той тайной грусти, которая придает обаяние великому Андерсену. Сказка Диснейуорлда показывает, как быть богатым и здоровым. Сказка Андерсена пусть не прямо, пусть исподволь, но всегда напомним, что между ней и жизнью лежит пропасть.

«— Счастливые люди,— сказал писарь,— летеете себе, где хотите и куда хотите, а у нас цепи на ногах.

— Да, но ими вы прикованы к хлебному дереву,— возразил поэт.— Вам не надо заботиться о завтрашнем дне, а когда вы состаритесь, получите пенсию».

Вот как раз этого, типично андерсеновского, конфликта между поэзией и прозой и лишен Диснейуорлд. Здесь детей убеждают: вы рождены, чтоб сказку сделать былью. И делают это с тем же пылом, что и в России, но с гораздо большими основаниями.

Диснейуорлд не настаивает на нерушимости своих

границ. Сказка здесь просто живет в более сгущенном состоянии, чем на остальной американской территории, но ей ничего не стоит выплеснуться за пределы «Волшебного королевства».

Похоже, именно это и произошло в случае с космическим центром имени Кеннеди, который расположен неподалеку, на мысе Канаверал.

Вряд ли место для космодрома выбирали исходя из этого соседства, но совпадение потрясающее. Центр Кеннеди как бы завершает флоридский туристский набор. Более того, если вспомнить опять Жюль Верна, а в Диснейуорлде без него не обойтись, то окажется, что знаменитая пушка, благодаря которой его герои попали на Луну, была установлена как раз там, где сейчас запускают настоящие ракеты. Так тезис о сказке и были находит подтверждение на практике.

Хотя американский космодром самый что ни на есть настоящий, в нем немало заимствований из диснеевских аттракционов. Чтобы экскурсанты не скучали, их здесь тоже развлекают искусными иллюзиями. Например, нас привезли на контрольную станцию, в которой при помощи кино и звукозаписей воссоздан исторический момент запуска первой ракеты на Луну. Мы так и не поняли, что здесь было настоящим, а что бутафорским — мелькали загадочные лампочки, раздавался рев двигателей, гремели фанфары и кто-то бархатным голосом произносил: «Это маленький шаг для человека, но большой — для человечества». Покорение Луны мало чем отличалось от космических чудес Диснейуорлда. Разве что тут не продавали мороженого.

Больше всего в центре Кеннеди нам понравились аллигаторы. Мы, конечно, и раньше знали, что ими кишит вся Флорида. Даже в ресторанах тут наравне с гамбургерами продают жареные крокодильи хвосты. Но когда метрах в десяти от пусковой установки мы увидели большого и довольно агрессивного аллигатора, ощущение иллюзии стало уже совсем непереносимым.

Впрочем, крокодил был настоящим. Оказывается, вся территория космодрома — огромный заповедник, где живет уйма всякого дикого зверья. Теперь нам стало понятно, как могло произойти то невероятное нападение аллигаторов на космонавтов, о котором в свое время писали все газеты. Поскольку космический центр охраняется строжайшим образом, животные наслаждаются полным покоем. Так что можно считать дока-

занным: лучшее место для заповедников — военные базы. Все равно их стерегут от шпионов, так почему же заодно не побеспокоиться и об экологии?

Флоридская фауна вообще-то отдельная тема. Благодаря роскошному климату сюда перебираются на зимовку не только старушки, но и перелетные птицы. Флорида — рай и для людей и для зверей. Лучшее тому подтверждение — очередной развлекательно-познавательный парк «Мир моря».

Если Диснейорлд проповедует гармонию человека с цивилизацией, то «Мир моря» задуман уже как апофеоз межвидовой любви. Здесь стирается грань между человеком и его младшими братьями. Это не зоопарк, не океанарий, не цирк. Нет, «Мир моря» — это эдем, райские кущи, где волк дружит с агнцем. Вы можете покормить огромных скатов, поиграть с тюленями, хлопнуть дельфина по резиновой спине. Вот так, должно быть, жил Адам до тех пор, пока не попробовал яблок.

Флорида застыла в этом безгрешном состоянии. Поездка в Орlando — это путешествие в империю Добра и Красоты.

К несчастью, мы, видно, по гроб пресыщены утопией. Нам не хватает ложки дегтя, без которой диснеевский рай кажется пошлым конфетным фантиком. Нам не хватает детской беззаботной веры в кукольные чудеса прогресса и процветания. Во всем мы ищем обратную сторону медали. Во Флориде же медаль, как лист Мёбиуса, имеет всего одну сторону — парадную. Сюда и ездят не столько за развлечениями, сколько за оптимизмом, неиссякаемые запасы которого скопились в Диснейорлде.

Но что касается нас, то мы вздохнули свободно, только вернувшись домой. Холод, слякоть, в такси воняет марихуаной. Жизнь продолжается, и в Нью-Йорке, слава Богу, она нормальная: у медали здесь две стороны.



ОБ ИСПЫТАНИИ ХАЛЛОВИНОМ

Главный праздник Америки — это, конечно же, Халловин. Наверное, это кощунственное утверждение следует пояснить. День независимости существует везде и везде празднуется примерно одинаково. Нет никакой хитрости в том, чтобы объявить день нерабочим, перекрыть движение за казенный счет и побудить граждан съесть в этот вечер вдвое больше, чем обычно (не говоря уж про выпить).

Ведь все это делается ради красивых и высоких идеалов, в ознаменование важных исторических событий. Счастлирое освоение Нового Света (День благодарения), труд как основа народной нравственности (День труда), обретение свободы (День независимости), память о павших (День поминовения) и так далее.

Что касается второй группы праздников, то и с ними все ясно. Даже русские эмигранты из числа лиц еврейской национальности знают, по какому поводу устраиваются Рождество или Пасха.

И лишь один праздничный день выпадает из этой череды значительных событий: Халловин. 31 октября.

Так было не всегда. Возникший среди друидов — жрецов древних кельтов — праздник был посвящен очень серьезной проблеме: чертовщине, ведьмовству, нечистой силе. В нынешней Америке это день не чертовщины, а чепухи. Сохранив древний антураж в виде дьявольских масок и тыкв (тоже наследие друидов), Халловин утратил главное — важность. И главное же приобрел — несерьезность.

Апофеоз несерьезности царит в этот день в Америке. Страна превращается в обитель с уставом «делай что хочешь». И все действительно делают что хотят. Причем это не всегда так уж приятно, но в этот день не принято обижаться. Мы лично не одобряем только дурацкий обычай бросаться яйцами. Хорошо еще, что в Штатах не достать тухлых. Но и свежее разбитое яйцо гораздо уместнее на сковородке, чем на пальто. 1 ноября Нью-Йорк выглядит замощенным яичницей и даже несколько изменяет колористическую гамму за счет веселенького желтого цвета.

Мы не приходим в восторг от американского изобилия. Слоняясь по халловинскому городу, мы думаем о другом изобилии — эмоциональном и даже духовном.

Только пройдя через исторические искусы и обманы главных праздников, можно так беззаветно радоваться празднику принципиально неглавному. Только народ, не ставящий перед собой значительной цели, способен отдаваться стихии бесцельной и незначительной. И не в компании друзей, а во всенародном масштабе.

Мы вспоминали элементы Халловина из наших прежних праздников. Навсегда в памяти осталось 50-летие Октября, когда в 67-м году мы оказались в Москве и пришли на Красную площадь.

Главным аттракционом дня, за который кто-то собирался, надо полагать, получить орден, был трюк с призраком Ленина. С дирижабля над центром Москвы свесили гигантский тканый портрет вождя, который должен был осенять праздничный город. Но изобретатели не учли ветра. Ноябрьский ветер раскачивал портрет. Вместо того чтобы строго, по-отечески смотреть на

столицу, вождь подмигивал, гримасничал, кривлялся. Короче, вел себя так же непристойно, как здешние вожди на халловинском параде, когда стройными рядами идут искаженные Вашингтоны, Линкольны и Рейганы. У нас нет оснований подозревать изобретателя московского аттракциона в диверсии, тем более что с ним разобрались, видимо, без нас. И потому нам остается повторить мудрые слова Бахчаняна¹: «По-настоящему там что-то начнет меняться тогда, когда в газетах появятся карикатуры на Политбюро».

Народу необходимо доказать самому себе право на несерьезность. Возвращаясь к нашей теме — пройти проверку Халловином.

¹ О художнике В. Бахчаняне см.: Юность, №9, 1990.



О ПРАВДЕ ПРАВА

Пренебрежительное отношение к закону — генетическая черта третьей волны. Мы вывезли ее с собой и насаждаем здесь с тем усердием, которое ограничено только полицейским. Да и то не всегда — вспомним о мафии на Брайтон-Бич, эффективность которой удостоилась высокой оценки специалистов.

Как бы решительно третья волна ни разошлась с родиной, эмиграция по-прежнему делит с отечеством общее наследство — тоталитарное мышление.

Между прочим, этот популярный термин отнюдь не ругательство. В советском словаре раньше «тоталитарный» для простоты объяснялся синонимом «фашистский». Однако стоит вспомнить, что этот термин происходит от латинского «цельность, полнота». Именно

в таком значении он и употреблялся в русской традиции, причем без всякого негативного оттенка. Бердяев, например, называя русское сознание тоталитарным, объясняет, что для русских правда (неложь) и правда-истина — одно и то же. Поэтому та правда, которую устанавливают в суде, и правда в высшем, нравственном значении всегда сливаются воедино. Первая правда без второй неполноценна, бессмысленна, а иногда и преступна.

Тот же Бердяев писал об этом со всей категоричностью: «Всякий правовой строй есть узаконенное недоверие человека к человеку, вечное опасение, вечное ожидание удара из-за угла. Государственно-правовое существование есть существование враждующих».

Дилемма — что выше: закон или совесть? — мучила всех наших классиков. Не зря в русской литературе столько раз описан неправый суд.

Например, у Достоевского суд — орудие справедливости, осуществляемой через бездушный закон. Однако юридическая справедливость еще не есть Правда. Человек вообще не может судить другого человека — это прерогатива Бога.

Закон, перед которым все равны, — принадлежность государства. Но идеал Достоевского другой: вселенское братство, которое исключает понятие вины и потому не нуждается в справедливости — не пронизательный следователь Порфирий Петрович, а всепрощающая Соня Мармеладова.

Поэтому и совершенствовать надо не частности — юридическую систему, а основу — человеческую душу. Правовое общество, по Достоевскому, не исключает судебных ошибок. Более того, оно обречено совершать их — как это случилось в «Братьях Карамазовых». Юридическая справедливость противостоит справедливости высшей, той, что основывается на законах добра, любви и красоты. Там же, где царит братская любовь, право всегда отступает. Не случайно в Советском Союзе меняется обращение к подсудимому. Прежде чем судить человека, надо превратить его из «товарища» в «гражданина».

Вроде бы наши эмигранты мало похожи на Достоевского, но в основе и тут и там один источник, один символ веры: добро должно побеждать зло при всех обстоятельствах, в том числе и вопреки закону. Как напи-

сано у Платонова, «плохих людей убивать надо, а то хороших мало».

В Америке нам этим правилом пользоваться не дают, чего не скажешь о Советском Союзе. Долгая и успешная практика следования не букве закона, а его духу (в самом расширительном смысле) привела к твердому убеждению: юридическая справедливость должна уступить место справедливости высшей — классовой, нравственной, Божьей. Солженицын: «Общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека».

Сегодня это некогда восторженно принятое (нами — не Западом) заявление уже не кажется таким бесспорным. Сейчас уже вроде бы стало ясно, что юридические веса опасно заменять какими-либо другими. На словах мы готовы принять идею правового общества. Но — с исключениями: иногда закон может потерпеть.

В России наша жизнь сплошь состояла из таких исключений. Ее регулировало не право, а личные отношения — со швейцаром, соседом, начальником, конвоиром. Все мы как заклинание твердили оптимистическую формулу: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». (Не потому ли мы в конце концов добрались до Америки?)

Мир, построенный на неформальных отношениях, теплее и человечнее того, который существует на основе параграфа. Может быть, оттого советская власть так отчаянно уже семьдесят лет воюет бюрократа, что видит в нем диверсанта, заменяющего кровь чернилами.

Российский человек видит унижение в низведении своей личности до уровня «истца». Если уж суд необходим, то лучше бы ему быть «товарищеским». То есть таким, который имеет в виду не столько факты, сколько личность участников тяжбы. Манья характеристик в Советском Союзе объясняется попыткой внести в закон человеческое измерение, сделать его более интимным, расширить область права за счет других форм «человековедения». Персональная характеристика — это редуцированная форма литературного исследования. Все эти «в быту чистоплотен, на работе отзывчив» были призваны смягчить, гуманизировать право, чей суровый принцип — «невзирая на личность» — оскорблял как раз своей неразборчивостью. Как же не взирать? А если подсудимый — передовик?

Правда с большой буквы выше правды с маленькой ровно настолько, насколько человек выше и шире закона. Юристы описывают только права и обязанности — душа выпадает в остаток.

Примириться с этой потерей нам не дает это самое тоталитарное мышление, требующее принимать и мир и человека во всей его полноте и нерасчлененности.

Попав в правовое общество, третья волна никак не может смириться с унижительными ограничениями, которые оно накладывает на нашу свободу пренебрегать формами общежития. Как бы ни стеснена была наша жизнь в России, в Америке она оказалась куда более регламентированной.

Конечно, где-то в главном, на уровне билля о правах, американские свободы не сравнить с советскими. Но на уровне рядовой, обыденной жизни в России было проще обойти и государство, и закон. А ведь понятно, что рядовой человек со свободой совести сталкивается куда реже, чем с правом соседа слушать «хэви-метал».

Так что эмигранты, независимо от уровня сознания, столкнувшись с реальностью правового общества, нашли его несуразным. Преступников выпускают, а честному человеку плюнуть некуда.

Сейчас уже ничего, притерпелись, а в свое время, помнится, какое нас охватывало бешенство перед закрытыми в воскресенье водочными магазинами. И ведь обидно не то, что закрыты, а то, что это обстоятельство не вызывает возражений. Его не обойти, не объехать: закрыто — и точка.

Законопослушность американского общества приводит к тому, что здесь не осталось места для привычного нам полуполюгального поведения: или ты преступник, или лояльный гражданин, «тварь дрожащая». За всю жизнь в США мы ни разу не видели, чтобы кто-нибудь пролез без очереди.

Конечно, как-то это все и нас воспитывает, потому что теперь, встречая советских гостей, уже сам, не хуже аборигенов, начинаешь поражаться их причудливым взаимоотношениям с законом.

Перестройка нас, как и всех эмигрантов, вынудила постоянно торчать в аэропорту, провожая на родину друзей, родственников, друзей родственников и родственников друзей. Эти посещения наградили нас картинками ожесточенной конфронтации двух моделей правосознания.

Очередь пассажиров обыкновенных течет быстро и бесперебойно. Зато наша двигается судорожно, рывками, проходя через взрывы взаимонепонимания.

Во всем виноваты правила провоза багажа. И дело не в том, что советские гости везут его много. Дело в том, что одна сторона стремится эти правила толковать расширительно, а вторая настаивает на их буквальном прочтении.

Выглядит это, например, так. Вежливая американская служащая объясняет: «Правила разрешают перевозить два чемодана такого-то веса». Красивый седовласый мужчина с кавказской внешностью берет ее за руку, мягко заглядывает в глаза и ласково говорит: «Плиз». Та не понимает, зато мы понимаем. В одно слово он вкладывает целую тираду: «Пойми, ласточка, я не какой-нибудь фарцовщик. У меня особое положение. Первый раз в Америке — гостинцы надо привезти? Я интеллигентный человек, понимаю, что такое правила, но у меня же исключительный случай. Можно же по-человечески». До американки из всего этого дошло только «плиз», потому она и продолжает упрямо цитировать инструкцию.

У соседнего окошечка стоят три темпераментные дамы. Эти английского не знают и говорят по-русски, в глубине души уверенные, что хоть простейшие слова, хоть как-нибудь, но американцы их речь поймут: «Что значит доплатить? Нету! Рады бы, но нету. Мы бедные женщины, где нам взять? Войдите в положение».

Каждая такая сцена кончается появлением советского представителя Аэрофлота. Помочь он не может. Но самое интересное, что и он на стороне пассажиров. Каждому объясняет: «Это не наши законы. Америка!» — и разводит руками. То есть в Москве еще могут судить по-людски, в Америке — никогда. Никто не станет вникать в конкретную ситуацию, никого не интересуется личность, всем правит безжалостный циркуляр.

Подобные сцены разыгрываются во всем Советском Союзе. Примерно так же протекает главный спор о перестройке, спор между западниками и почвенниками. И первые и вторые согласны признать необходимость правового общества. Но одни видят путь к нему в подчинении закону, а вторые — в подчинении закона высшему, более благородному, нравственному принципу.

Как сказал один депутат: «Принцип правового государства — в защите честных людей, а не тех, кто посягает на наши права».

Разве под такими словами не подписалась бы третья волна, которую так беспокоит излишняя церемонность американской Фемиды, считающей, что закон обязан защищать всех — и плохих и хороших.

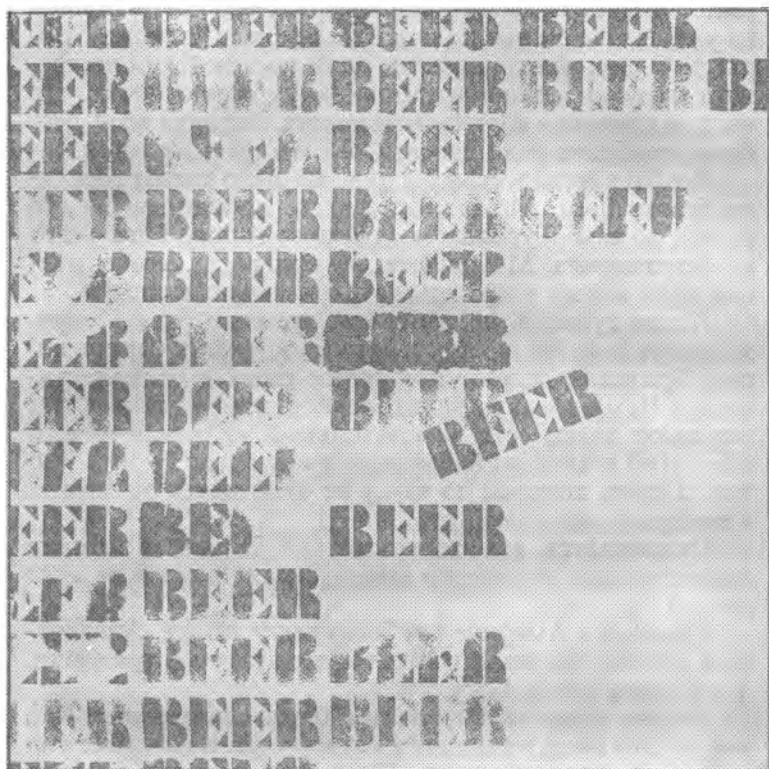
Другой депутат, куда более известный — Валентин Распутин, — еще горячее поддерживал право, но только тогда, когда оно работает «во имя души, достоинства, культурного и нравственного облика народа».

Крыть вроде бы нечем, кто же станет возражать. Но тут же выясняется, что в руках Распутина закон немедленно превратится в цензуру, направленную против «нравственной разнузданности, похотливости, неразборчивости и сквернолюбия средств массовой информации». Распутину нужна не свобода слова, а свобода разумного, доброго, вечного слова.

Как всегда в России, зло символизирует бездушный закон, добро — живое нравственное чувство. С одной стороны — абстрактный принцип, с другой — высшая цель. Одни апеллируют к реальности, другие — к благородному вымыслу. На стороне первых — опыт истории, на стороне вторых — опыт утопии. Без закона жить трудно, с законом — больно. Но другого выхода просто нет.

Не зря в Америке не задаются вопросом, нравствен ли тот или иной закон, а только — справедлив ли он. Юриспруденция не подменяет собой религию. Закон не должен делать человека выше, чище, нравственнее. Он всего лишь ограждает личность от произвола другой личности или государства.

Правовое сознание — это возвращение из царства универсального добра к нашей земной жизни, где закон есть закон, а не инструмент созидания светлого будущего.



О ПИВЕ

Неторопливая прогулка по Манхэттену — это привилегия бродяг и других, приближенных к ним лиц, плюнувших на карьеру. Мы, занимая промежуточное положение, гуляем часто и основательно. Приятно чувствовать себя выброшенным из стандартной суеты нашей столичной жизни. В толпе одинаковых, как матрешки, клерков мы выделяемся развязностью походки, отсутствием галстука и портфелей типа «дипломат». Вместо «дипломатов» мы несем по банке пива в коричневых пакетах. Это как бы символ нашей независимости. Пиво в 11 утра — клерки себе такого не позволяют.

Но почему же мы прячем невинное пиво в уродливые бумажные мешки? — спросит наш наивный соотечественник. И мы ему с удовольствием и не торопясь

(см. выше) объясним, что в Америке нельзя пить пиво на улице. Что за это полицейский может отвести в тюрьму. С другой стороны, ни один полицейский не посмеет нарушить ваше право на тайну и не спросит, что вы там прячете в коричневом пакете. Великая вещь свобода, особенно если знаешь, как ею пользоваться.

Все бы хорошо, если бы пиво не было таким тоскливо безвкусным. Может, одесситам и кишиневцам все равно, но нам — уроженцам пивного города Рига — это не безразлично. Мы, знаете ли, привыкли, чтобы пивная пена могла удержать двухкопеечную монету.

Когда гуляешь не торопясь, приятно ругать окружающую действительность. Почему, черт-побери, в нищей Бразилии делают приличное пиво, в социалистической Чехословакии великолепное, и во Франции, где все пьют вино, есть замечательный «Кроненберг», а в богатой и здоровой Америке производят бурду? Что это за пиво, которое по вкусу не отличается от пакета, в который оно завернуто?

Оказывается, все взаимосвязано. И пивная история характеризует эволюцию американских нравов не хуже любой другой.

Сначала в Америке все было как у людей. Англичане и немцы привезли в Штаты свои пивные традиции, и все было слава Богу.

Потом появились мораль и благие намерения. Как всегда, эти вещи приводят к катастрофе. В Америке они привели к сухому закону. Никогда в истории столько людей не занимались производством и продажей алкоголя, как в те 13 лет, когда это было запрещено. Единственное спиртное, которое пострадало от сухого закона, было пиво. Кто же станет рисковать из-за пятиградусного напитка? Это как с самиздатом. Человек еще мог рискнуть свободой ради перепечатки «Архипелага ГУЛаг», но не садиться же из-за эстетских романов Набокова.

Сухой закон начисто стер с лица Америки такую отраву, как пиво, зато породил широко разветвленную систему самогоноварения и организованной преступности.

Потом была великая депрессия и война, когда всем было не до пива. А там появилось кое-что пострашнее — телевидение.

Специалисты считают, что десятилетие между 1952 и 1962 годом американцы провели у домашнего экрана.

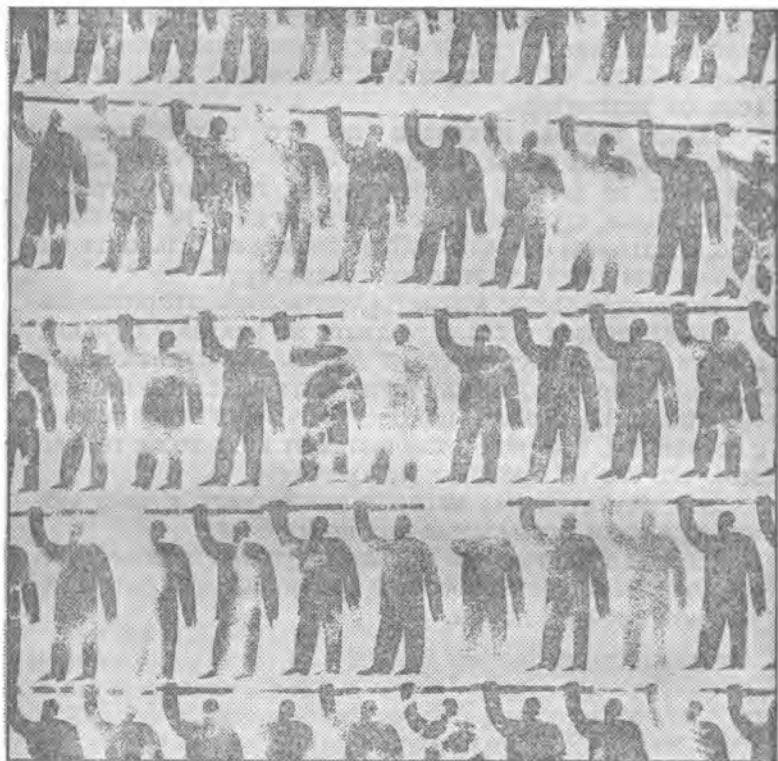
Отрывались они только в случае землетрясения. Позакрывались кинотеатры, театры, кегельбаны, публичные дома и бары. Американец 50-х годов пил пиво, не отходя от телевизора.

Пиво теперь покупали не его потребители — мужчины, а их жены, которым было все равно, лишь бы мужа не тянуло на сторону от голубого экрана. Естественно, что женщины покупали пиво не хорошее, а то, о котором они что-нибудь слышали. Слышать же о пиве они могли только по телевизору.

Индустриальные магнаты сразу сориентировались в происходящем и стали тратить на рекламу больше, а пиво становилось хуже. За десять лет напряженных усилий Америке удалось уничтожить все следы пивных традиций. Нынешнее поколение американцев живет с сознанием, что пиво отличается от кока-колы только тем, что его не продают малолетним.

Эта поучительная история показывает, к чему может привести стремление к общему благу.

Иногда кажется, что только шкурный эгоизм и циничное равнодушие способны противостоять разрушительной поступи добра.



О БАГДАДЕ-НА-ПОДЗЕМКЕ

Один человек сказал: «Нацию создают те, кто пишет ее историю», то есть не те, кто нацию строит, а те, кто описывает строительство.

Если эту красивую фразу слегка переделать, то можно сказать, что города создают поэты. Или — писатели. Или даже сатирики. Петербург придумали Пушкин, Достоевский, Блок. Касриловку сочинил Шолом-Алейхем. К созданию Москвы приложил руку Булгаков. Ну а если городу не повезло и на него не нашлось поэта, то тут уж ничего не поделаешь. Так и останется он пустым географическим понятием.

Америка в этом смысле особенно ущербна. То ли поэтов в ней было мало, то ли городов, но на литературной карте — пустыня почище Сахары. Об этом было известно еще в начале века, когда писатель Фрэнк

Норрис презрительно отмел львиную долю американской географии: «Ну можно ли представить себе роман о Чикаго, или о Буффало, или, скажем, о Нэшвиле, штат Теннесси? В Соединенных Штатах всего три города, достойных этой чести: прежде всего, конечно, Нью-Йорк, затем Новый Орлеан и лучший из всех — Сан-Франциско».

С тех пор если что и изменилось, то только в худшую сторону. Сан-Франциско был уничтожен землетрясением, а то, что отстроено, честно говоря, не так уж отличается от Нэшвила, штат Теннесси.

Но вот Нью-Йорк — это дело другое. И не только потому, что мы здесь живем. Наше знакомство началось куда раньше. Ведь у Нью-Йорка был свой поэт — О. Генри. И мы знали *его* Нью-Йорк еще тогда, когда он был только жирной точкой на карте.

Что ж странного, если, поселившись здесь, мы не открывали для себя город, а вспоминали его. Как вспоминали Лондон по Диккенсу, Париж по «Трем мушкетерам», Рим по Феллини.

О. Генри умер давно, а город его живет. Он совершенно не изменился. Уже тогда была подземка, небоскреб «Утюг», даже знаменитые пожарные лестницы, которые превратились в неприглядный символ Нью-Йорка. («Пожарные лестницы давали приют влюбленным парочкам, которые раздували начинающийся пожар, вместо того чтобы потушить его в самом начале», — писал О. Генри, сочетая в одной фразе нью-йоркские реалии с пошлостью старинной сентиментальности.)

Когда к нам в Нью-Йорк приезжают гости, мы не знаем, что им показывать. В этом городе можно жить, но сюда незачем приезжать. На чужой взгляд, он уродлив и бессмыслен. Для того чтобы почувствовать Нью-Йорк своим, надо его обживать квартал за кварталом. Тут выпить пинту на ступеньках баптистской церквушки, здесь пройтись на закате, там поглазеть на скандал. Полюбить можно только что-то хорошо знакомое. Причем полюбить не за что-то, а просто потому, что знакомое, свое. Ведь и родные города мы любили не за дворцы и парки, а за воспоминания.

Помнится, однажды мы ехали в такси с ленинградцем по одному из самых мрачных районов Квинса. Когда машина затормозила около щели между заводом и унылым складским помещением, ленинградец

высунулся из окна и радостно закричал: «Видали, совсем как у нас в Питере». Что ж, ему лучше знать, на что похож город, который ассоциируется у приезжих только с Растрелли.

В Нью-Йорке тоже есть загадочная суть, незабываемая, как проходные дворы и коммунальные квартиры. Не небоскребы же делают город своим и не биржа. Чтобы понять Нью-Йорк, нужно опуститься пониже — в преисподнюю. Не зря О. Генри назвал этот город «Багдад-на-подземке». Уже тогда он понимал, какую провиденциальную роль играет наш знаменитый сабвей.

Мало есть, наверное, в мире городов, которые под землей выглядели бы так же, как на поверхности. Скажем, если бы турист судил о Москве только по ее метрополитену, то он бы решил, что столица вся состоит из одной Грановитой палаты.

А вот Нью-Йорк не гонится за показухой. Более того, он честен сверх меры. Его сабвей — это визитная карточка города. Грязная, мрачная, но честная.

Прежде всего, нью-йоркское метро страшно старое. Не зря у пожилых людей оно рождает ностальгию. Если они хотят окунуться в жизнь своей юности, нет ничего проще. Нужно просто проехать по какой-нибудь Канарси-лайн. И сразу, как по волшебству, оживет город, каким он был еще до *той* войны. По узким, пахнущим баней туннелям вы въедете на кафельную станцию. 75 лет назад строители решили развеселить пассажиров узорами на ее стенах. Так до сих пор и остались простенькие орнаменты цветной плитки. Где-то наверху бушует современное искусство, а под землей — мещанская кафельная роскошь: кораблик, волны, домик. Тогда еще не знали, как относиться к подземке — поэтически или практически. Первые вагоны были задуманы для людей богатых, с мягкой мебелью и роялем. Потом пошли по пути суровой аскезы. А узоры на стенах оставили в качестве компромисса.

Сегодняшнее подземное искусство куда агрессивнее. Это знаменитые нью-йоркские граффити¹. Страсть писать на чем попало, кажется, особенная

¹ Граффити — надписи главным образом бытового характера, рисунки на стенах зданий, сосудах и т. п.

ню-йоркская черта. С ней борются ожесточенно и методично отцы города. Кого-то ловят, кого-то переучивают, кого-то даже убивают. Есть в этой борьбе и поэтический аспект. Так, транспортное управление постановило один поезд («семерку») каждый день отмывать от надписей. А чтобы было заметней, выкрасили все вагоны этой линии в белый цвет. Поезд этот прозвали «Моби Дик», и он действительно выделяется чистотой и одиночеством—никто не последовал его примеру.

Но есть к граффити и другой подход—более просвещенный, или хулиганский. Художник Энди Уорхол сказал, что мазня в сабвее—единственное истинно народное искусство в Нью-Йорке, глас толпы.

Что-то в этом есть. Если присмотреться к граффити повнимательнее, то поражает, какой твердой и уверенной рукой они сделаны. Как в японской каллиграфии, важно тут не содержание (имена авторов, нелепые лозунги, незатейливый мат), а изящество линии, ее стремительный полет, контрастные, смелые очертания цветов, стихийная, но выразительная композиция. Не зря один из хулиганов, пачкающих вагоны сабвее, сделал из своего незаконного хобби профессию. Этот хулиган—Кит Хейринг—выставлял свои граффити в лучших галереях мира.

Творчество анонимных пачкунов стало неотъемлемой частью нью-йоркского сабвее, и иногда нам кажется, что создатели рекламных плакатов рассчитывают на соавторство безвестных художников. Вот, например, на афише, рекламирующей фильм про Джеймса Бонда, помещены две длинные женские ноги—и все. Можно представить, как разукрасили эти ноги граффити. Из вполне пристойного боевика получилась заманчивая клубничка.

Ньюйоркцы не любят свой сабвей, но чтобы заслуженно его возненавидеть, необходимо пользоваться им летом. Ньюйоркская жара обладает феноменальными свойствами. Она падает на город мгновенно и неотвратно, как казни египетские. Еще вчера можно было дышать, гулять, жить, а сегодня только бороться с мечтой о самоубийстве. Воздух превращается в несвежий бульон, и, продираясь сквозь

него, нужно выгребать руками. Рубаха обвивает тело, как анаконда, хочется сбросить ее вместе с кожей. Вы завидуете скелетам, неспособным потеть. И тут, чтобы возвести обычные физические страдания в ранг крестных мук, следует спуститься в метро.

В нью-йоркском сабвее кондиционеры ломаются с первыми майскими грозами, зато довольно часто в летние дни в вагонах работает отопление. Данте по недостатку воображения в последнем круге ада поместил ледяное озеро. Попал бы великий флорентиец в июльский сабвей, «Божественная комедия» называлась бы все же трагедией. Но поездка в нашем метро летом имеет свои плюсы: хуже этого в Нью-Йорке уже ничего не может быть. Это как у Достоевского: чтобы было куда подниматься, нужно дойти до пределов низости.

Нельзя сказать, что все сумасшедшие Нью-Йорка живут в сабвее. Тут обитают только наиболее активные. Самые распространенные подземные психи — проповедники. Они хитроумно дожидаются большого перегона — когда пассажирам некуда деться — и начинают обличать пороки общества. Хорошо поставленными голосами они перекрикивают скрежет колес. Их нельзя не слушать. Так в душу запертого пассажира вливаются огненные библейские цитаты. Помешанные на религии хотя бы ничего не просят. Они требуют только пустяков: возлюбить ближних, отречься от заблуждений, подумать о душе. Но есть еще нищие, которых волнуют более земные материи. Косяками ходят по вагонам люди, неведомо зачем продающие азбуку для глухонемых. Может быть, они хотят, чтобы мы до следующей остановки ее выучили и сказали им что-нибудь хорошее? Впрочем, их устраивает и мелочь.

Еще бывают слепцы, молча, но настойчиво сующие карандаши вам в колени. Какие-то арабские миссионеры, собирающие деньги на великую нью-йоркскую мечеть (от них пахнет экзотическими благовониями). Иногда в вагоне появляются бродячие музыканты с саксофонами. Певцы с довоенным репертуаром.

Вообще, нью-йоркский сабвей служит чем-то вроде восточного базара. Шумного, переполненного, суетливого сердца города.

Как на любом базаре, здесь бывают и карманники. Однажды мы даже поймали жулика, вытаскившего у одного из нас целую зарплату. Деньги мы у него отобрали, но расстаться с ним не могли до следующей остановки: ни он, ни мы были не в силах протиснуться сквозь толпу. Так и ехали, смущенно улыбаясь, до площади Калумба. К концу даже вроде подружились.

Говорят, что нью-йоркский сабвей—самое опасное место в мире. Наверное, это так. Но нам не пришлось попадать в переделки. Мы и преступники избегаем друг друга. Опасность в другом—в музыке. Почти всегда в вагоне найдется человек, вокруг шеи которого обвивается ремень с необъятным транзистором. Владельца музыки не смущает, что многометровый слой нью-йоркской почвы надежно экранирует радиоволны. Он упоенно слушает помехи и даже находит в них определенный ритм. Это действительно страшно. Еще и потому, что бессмысленно.

В Нью-Йорке очень плохой сабвей—это банальность. Поэтому простое чувство справедливости требует сказать о нем что-нибудь хорошее. Например, он демократичен. Толпа, перемешанная в его вагонах, представляет все слои общества—от аккуратных читателей «Уолл-стрит джорнел» до тех, кто не умеет читать вовсе. Потом, наш сабвей разнообразен, как ООН. Нет на земле такого племени, представитель которого не мог бы оказаться вашим соседом по лавке. Если поставить все вагоны под земки один на другой, получится Вавилонская башня.

И еще, сабвей учит терпимости. Представьте себе битком набитую платформу, и все заглядывают в туннель, из которого вместо поезда выбегают нахальные крысы. 10, 15, 20 минут нервного ожидания. Вы опаздываете на работу, свидание, интервью, домой, наконец. Вот где гимнастика терпения. Никаким йогом не снилась такая школа невозмутимости. А мы ничего, притерпелись.

И потом, как ни странно, нью-йоркский сабвей уютен. 240 миль рельсов связывают этот бессмысленно гигантский город в одно целое. Стоит только нырнуть под землю на любой окраине, и вы уже на пути к дому. Уют этот пахнет мочой, он шумен

и непригляден. Но что делать, какой есть. В стерильной чистоте бактерии уютно вообще не размножаются.

Когда к нам приезжают гости, мы стараемся скрыть от них само существование сабвея. Но сами-то мы знаем, что Нью-Йорк нельзя полюбить, если не сжиться с его подземной частью. Так грубая физиология служит фундаментом романтического чувства.



О СТАТУЕ СВОБОДЫ И СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Бродя по Гринич-Вилледжу и Сохо, мы рассматривали изображения статуи Свободы, выставленные во всех витринах, и поражались разнообразию сюжетов и идей. В преддверии юбилея Статуи весь Нью-Йорк завален часами, барабанами, майками, комиксами, карандашами, салфетками, шоколадками, пуговицами, чашками, полотенцами, зажигалками, кепками и скрепками со Свободой.

Можно только удивляться острому галльскому смыслу французов, которые свой подарок Америке заказали Фредерику Огюсту Бартольди, только и умевшему сооружать фигуры такого размера, когда недостатки определить невозможно. Монументальность сама собой являет экспрессию, заменяет пластику и де-

лает ненужным изящество. То есть — сводит мастерство к нулю. На самом деле это не так, и если бы статую Свободы делал современник Бартольди — Роден, то в нью-йоркской гавани расположился бы шедевр. Но посредственный Бартольди еще в XIX веке неосознанно угадал главный запрос американской массовой культуры: искусства должно быть много. Крепкая зеленая девица 46-метрового роста, поражающая грубостью черт, статичностью позы и декларативностью всей композиции, стала символом Америки.

В этом заслуга, конечно, не Бартольди, которому не было бы цены на ВДНХ, а времени. Бельевая прищепка тоже стала бы символом, проторчав столько лет у всех на виду.

Обожествление Статуи началось в 1924 году, когда ее объявили национальным памятником и стали устраивать экскурсии на остров Либерти. В качестве Американской Девы она — предмет уважения и поклонения.

В этот момент мы увидели очередную Статую в витрине. Пластиковая фигура сантиметров 40 высотой была выполнена старательно и с любовью. Свобода вся устремлялась вверх — от босых ступней баскетболистки вдоль полуспиральных складок одеяния к честному крестьянскому лицу, по мускулистой неженской руке к фак... Тут приходится остановиться. В руке Статуи был не факел, а совсем другое. Откровенно говоря, даже не карандаш.

Мы огляделись. Народ шел мимо, изредка бросая взгляд на опозоренную девственницу Бартольди, и не замедлял шагов. Не слышно было даже протестующего визга феминисток.

Не то чтобы такие произведения изобразительного искусства могли шокировать ньюйоркцев, привычных ко всему. Но в предпраздничном — а потому благостном городе — возникал диссонанс. Готовясь к юбилею, нью-йоркские власти наложили запрет на изображение статуи Свободы в нежелательном контексте: на собачьих ошейниках, кошачьей еде, унитазных крышках. И вдруг среди полного парада — такая Мисс Либерти с заведомо чуждым ей предметом в руке.

Тут-то мы обратились к проблеме секса. Точнее — сексуальной революции.

Кошунство — это не извращение. Это всего лишь способ недогматического мышления. Конечно, многие

наши знакомые объявили бы надругательство над статуей Свободы отвратительным порождением либерализма. Можно и так, только не следует забывать, что «либерал» и «либерти» — слова одного корня. Дело ведь в принципе, а не в степени: если считать пагубным для общества сотворение кумиров (а кому знать об этом, как не нам), то почему не возражать против любых таких попыток. Во всяком случае — высмеивать их.

Когда иконы статуи Свободы застилают Нью-Йорк, самое время сунуть в руку Свободе вместо факела, допустим, кочергу. И тем самым внести трезвый диссонанс в слаженный елейный хор декоративного патриотизма.

Гораздо интереснее разобраться — почему это все-таки не кочерга. Только ли для того, чтобы перегнуть палку в обратную сторону как можно резче? Да нет: дело в том, что этот упорно не называемый предмет в руках Мисс Либерти — точно такой же штамп, как и она сама.

Каждая эпоха безудержно и патологически хвастлива. «Патологически» — потому что предмет гордости эпоха видит как в величии достоинств, так и в неизмеримости пороков. Нет столетия, которое бы современники не объявляли одновременно «веком разума» и «веком разврата». Современникам всегда кажется, что они пошли дальше предков — в том числе и по стезе разложения. В сетованиях прежних и нынешних Савонарол о золотом времени, когда любовь была целомудренна, брак свят и простыни белоснежны, отчетливо слышится мазохистский восторг от того, что теперь мы, как никогда, распутны, наши связи рекордно беспорядочны, наши юбки небывало коротки. Все это было до сексуальной революции, что в общем-то удивительно — если не согласиться с одним: никакой сексуальной революции не происходило. Или: она происходила всегда, что одно и то же.

Теория «перманентной революции» вполне приложима к сексу. Движущая сила, представленная непримиримым противоречием, — налицо: молодые еще хотят, а старые уже не могут. Это противоречие вне времен и границ, именно поэтому сексуальная революция — самая перманентная, то есть вечная. Но чтобы не размахиваться на всю историю человечества, ограничимся одной лишь Америкой и посмотрим: к че-

му апеллируют нынешние моралисты, что это за патриархальные ценности, к которым призывают консерваторы.

Соединенные Штаты до второй мировой войны предстают краем непорочного зачатия — по сравнению с нашей разнузданной эпохой. А вот что пишет свидетель — Френсис Скотт Фицджеральд: «Карнавальная пляска увлекла людей, которым было за тридцать, людей, уже подбирающихся к пятидесяти... Сильно поредело за столом трезвенников. Неизменно украшавшая его юная особа, не пользующаяся успехом и уже смирившаяся было с мыслью, что останется старой девой, в поисках интеллектуальной компенсации открыла для себя Фрейда и Юнга и снова ринулась в бой... Году к 1926-му все просто помешались на сексе».

Добрые старые времена отличаются от наших злых только тем, что были давно и про них можно врать безнаказанно.

Декорации благопристойности или декорации разгула — вот это действительно подлежит влиянию времени, прихотливо чередуясь вместе с архитектурными стилями, шириной брюк, высотой причесок, манерой разговора, привычкой обедать поздно или не завтракать никогда. Причем история нравов вовсе не дает картины поступательного движения: от добродетели — к пороку. Расцвет свободы интимных отношений, скажем, во Франции приходится, скорее всего, на первую половину XVIII века; в Англии — на начало XIX-го; в России, пожалуй, на первую четверть XX столетия. При этом речь идет опять-таки не о самой сути интима, а о манере скрывать его под дымкой приличий или наоборот — выставлять напоказ. Чтобы добиться закулисной правды от прошедших веков, нужны непомерные усилия: копаться в судебных протоколах, читать частные письма, штудировать газетную хронику и мемуарную литературу. Любопытному нашего времени — легче. Прежде всего, есть статистика, к которой можно обратиться, чтобы узнать — правда ли, что раньше люди были чище и умереннее. Правда ли, как утверждают сторонники возврата к «настоящей» Америке, только наше поколение окончательно увязло в трясине безнравственности.

Девственный флер патриархального образа нарушается сразу: 36 процентов американок, родившихся

между 1900 и 1920 годами, жили половой жизнью до брака. Выдержка из журнала 1929 года, напечатавшего протест простой американской матери: «Сегодняшние девушки намного агрессивнее. Они сами приглашают парней на свидание, что было немислимо в те времена, когда я была девушкой». Что-то сомнительно. На что уж Татьяна была застенчива, а позвала же Онегина в сад — и ведь в России, и ведь еще на сто лет раньше. Сейчас встречаются устрашающие показатели: каждая вторая жительница американского города в возрасте 20 лет жила половой жизнью до брака. Вроде бы внушительно, но только с первого взгляда: более 80 процентов из них ограничивались одним партнером — то есть тем, за которого собирались замуж. Тут можно говорить о падении престижа брака, но никак не о разврате. Отношение к сути сексуальной жизни человека меняется ничтожно. Другое дело — внешняя сторона, декорации.

Разговоры о сексе стали повсеместны — как часть общей раскованности и свободы. Беседа о свободе негров или всеобщем избирательном праве тоже была когда-то верхом неприличия. За это даже могли посадить в тюрьму. Сейчас секс стал вроде погоды — и жаль. Как прекрасный богатейший русский мат превратился в удручающе серую стилистическую фигуру в эмигрантских писаниях, так американский секс утратил свою загадочную привлекательность, выйдя в тираж.

Потому никто и не замедляет шагов возле пластиковой статуи Свободы, сжимающей в руке фак... то есть, ну да, как раз это и сжимающей. Так они и сошлись вместе — символ декоративного патриотизма и эмблема декоративной сексуальной революции.



О ВЕРМОНТЕ, ВЗЯТОМ В СКОБКИ

Ко Дню независимости Нью-Йорк готовился, как к осаде. Закрылись мосты, дороги, почта и телеграф. Командные высоты заняли вооруженные патрули. Пожарных и санитаров привели в боевую готовность. Чуть не объявили комендантский час.

Видимо, так же выглядел город во время той самой революции, годовщину которой он и собирался праздновать. Только теперь у Нью-Йорка было куда больше оснований для тревоги. Армия туристов, нашествия которой с ужасом ожидали городские власти, насчитывала 5 миллионов человек. Понятно, что в XVIII веке не было столько народу. Как нам потом рассказали, все страхи оказались напрасными. Торжества прошли на редкость дисциплинированно. Более того, никогда еще

не было так просто передвигаться по улицам Нью-Йорка. 4 июля порядок торжествовал над обычным хаосом, и все остались довольны. Единственное столпотворение случилось на стадионе «Джайнтс», да и то на поле. Там 200 двойников Элвиса Пресли пели о своей любви к Америке. Но и этот кошмар был запланирован организаторами.

Мы-то всего этого не видели, потому что сбежали накануне Большого Праздника в Вермонт.

Сразу надо сказать, что парад в честь Дня независимости в вермонтском городе Уоррен был прямой противоположностью той праздничной вакханалии, которой мы избежали в Нью-Йорке.

Статуя Свободы не высилась гордым монументом, а скромно лежала на какой-то колымаге. Вместо факела она сжимала мороженое, а на ногах у нее были удобные красные туфли, чтобы нарядно и без мозолей.

За Свободой ехали антикварные машины, тракторы, самокаты. Особняком держалась группа, символизирующая исконные вермонтские профессии — охотник, рыбак и юрист. Последний, надо полагать, не дает передрасться первым двум.

Потом почему-то шли настоящие и очень мягкие на ощупь ламы. Они ничего не символизировали, но нравились зрителям — их гладили. От всего парада веяло несомненной самодеятельностью. Было件нятно, что сюда пришли развлекаться люди, которые относятся к празднику без особого ажиотажа, но с понятной симпатией к поводу.

Четвертое июля в Вермонте отмечали по-семейному, как любой день рождения. И слава Богу, потому что массовые торжества патриотического характера всегда внушают некоторые опасения. Тем более если они приурочены к годовщине революции. Что-то они нам, эмигрантам, напоминают. Впрочем, без всяких на то оснований. Просто у нас испорченный воспитанием ассоциативный ряд. Раз праздник, так обязательно стройные колонны, гимнастическая пирамида «Урожай», государственный флаг размером с Аральское море...

Короче, мы сбежали. Естественно, что летом из Нью-Йорка бегут только на север, вот мы и отправились в Вермонт.

Кое-что мы об этом штате уже слышали. Что-то нам рассказывали очевидцы, о чем-то сами читали. Но

и устные и письменные свидетельства изобиловали той же неопределенностью, что и вышестоящие местоимения.

«Вермонт...» — начинали наши собеседники делиться впечатлениями и тут же заканчивали, переходя на восторженное мычание и движения руками. «Вермонт...» — начинал автор путеводителя и тоже выводил что-то невнятное, заменяя жестикуляцию фотографиями. Но на снимках даже городская свалка может выглядеть Везувием.

Из всей собранной нами информации ясно было одно: не жить в Вермонте — грех, не побывать там — преступление. Люди, однажды посетившие это загадочное место, возвращаются туда снова и снова. А если им это запретить, они сходят с ума или стреляются.

Опыт предыдущих путешествий подсказывал нам более скептический взгляд. В общем, все американские штаты похожи один на другой, за исключением той существенной разницы, которую составляют штатные законы о торговле спиртным. Передвижение из одного места в другое (во всяком случае, на нашем, Восточном, побережье) — проблема времени, а не пространства. Известно, что, проведя в машине четыре часа, вы окажетесь в Массачусетсе, два — в Коннектикуте, полчаса — в Нью-Джерси. И всюду все очень похоже. Стоя на Мэйн-стрит Миддлтауна, вы никогда не узнаете, какому именно штату принадлежит честь окрестить город таким редким и оригинальным именем.

В Европе за четыре часа можно проехать три страны, дюжину городов и две горные системы. В Америке за это время вы минуете сто бензоколонок.

После такой преамбулы мы просто обязаны написать, что Вермонт не похож на другие штаты. Если мы этого не сделаем, нам никогда не простят те, кто нас туда посылал, заранее предвкушая наши же восторги.

Но Вермонт действительно *не похож*. И этого нельзя не заметить. Первое, что вы видите, пересекая границу Штата Зеленых Гор (под таким прозвищем Вермонт известен остальной Америке), — зеленые горы. Американцы редко врут, особенно в географии.

Как наши Карпаты, весь Вермонт состоит из лесистых холмов. Они следуют друг за другом в таком странном порядке, что на каждый из них нужно взобраться с самого низу, потом спуститься, потом опять забраться — и так до Канады. Каждая гора

здесь сама по себе, со своим подножьем, перевалом, названием. И каждая растет от уровня моря до в общем-то невысокой вершины. Вот так рисуют горы степные дети — аккуратные загогулины на линии горизонта.

Вермонтские холмы тщательно, без проплешин, заполнены лесом. И лес этот — в основном береза. Их здесь столько, что они могли бы излечить ностальгию всех трех волн нашей эмиграции.

Те немногие места, которые не заняты горами, залиты озерами. Для пущей прелести их считают бездонными. Вряд ли так, но озера Новой Англии действительно особенные. Страшно глубокие и очень чистые, они когда-то были знамениты своей водой — ее даже экспортировали. В XIX веке предприимчивые американцы выпиливали из местных озер ледяные глыбы, грузили их на корабли и везли, скажем, в Калькутту. Там из новоанглийских айсбергов делали ледяные кубики для англичан, придумавших коктейли раньше холодильников.

Горами и озерами вермонтская природа и исчерпывается. Здесь нет таких грандиозных феноменов, как Ниагарский водопад или Гранд-Каньон, придающих американскому пейзажу некоторую театральную сверхъестественность. Здесь вообще многого нет, и непохожесть Вермонта обусловлена скорее отсутствием, чем присутствием. Меньше всего в этом штате Америки.

Катаясь по Вермонту на машине, мы то и дело попадали на неасфальтированные, грунтовые дороги. На узких проселках стандартный комфортабельный «додж» казался неуместным, как смокинг в альпинистском походе.

Вермонтские городки кончались раньше, чем мы туда успевали заехать: три домика, пивная, мостик — и снова лес.

Объездив весь штат, мы не видели реклам (кажется, здесь они запрещены), «Макдональдза», кинотеатра, универмага, пятиэтажного дома. Даже элементарный магазин — изрядная редкость. И наверное, местные жители, собираясь в супермаркет, надевают воскресные костюмы.

Вермонт, забравшийся в самый глухой угол Америки, остался вопиющей провинцией. И ему это нравится, потому что Вермонт — это всеамериканское захолустье, заповедник сельской тишины. Наверное, каждой стра-

не нужна идеальная провинция. Такое место, где всем становится ясно, как далеко мы ушли по пути прогресса и как много потеряли по дороге. Жить здесь понравится далеко не всем. Но этого и не нужно. Достаточно, что где-то существуют вермонтские городки, которые просто не могут обойтись без уменьшительного суффикса. Слепительно-белая церковь, маленький, но с солидными колоннами банк, лавка, в ассортименте которой на первом месте — наживка для рыбной ловли. Еще — железная дорога и местные девушки, с завистью провожающие монреальские поезда. Есть в Вермонте что-то от меланхолической чеховской провинции.

Вермонт даже нельзя назвать старомодным. Он застыл вне времени. В стране, где нет своих готических кафедралов или античных руин, история запечатлена в атмосфере спокойного, размеренного существования. Годы здесь отсчитывает не календарь, а естественная смена сезонов.

Но все это не значит, что Вермонт — заповедник нетронутой природы. Напротив, вермонтская земля несет на себе следы человеческой деятельности.

В Вермонте мы впервые поняли, как красив сельскохозяйственный пейзаж. Не бесконечные поля — от горизонта до горизонта, а маленькие, уютные фермы со знаменитыми красными амбарами, не менее знаменитыми крытыми деревянными мостами, мельницами, коровами, лошадьми.

Вряд ли местные аграрии вносят весомый вклад в сельскохозяйственное могущество Америки. Сельская жизнь в Вермонте имеет скорее декоративный характер. Вот так горожанин представляет себе идеальную, как на картинке, ферму.

Вермонт сохранил нетронутой эстетическую выразительность сельского ландшафта и этим оказал Америке огромную услугу. Туристы, которые приезжают сюда со всего света, оказываются в доиндустриальных временах. Буколика нужна не только романтическим поэтам. Без нее обеднеет жизнь современного человека, который уже забывает, что молоко берется из коров, а не из бутылок.

Мы привыкли к тому, что охранять следует памятники архитектуры или чудеса природы. Однако в Вермонте предметом охраны служит нечто другое, более эфемерное: эстетика сельской жизни.

На открытке, которую мы послали из Вермонта в Нью-Йорк, изображен трактор на фоне зеленого луга. Вроде бы странный сюжет. Трактор — все же не Акрополь. Но в Вермонте все сельскохозяйственные атрибуты носят декоративный характер.

Может быть, вот из таких заповедных, живописных местечек и рождается уважение американцев к своим фермерам. Все же корни этой страны, как и любой другой, — в земле.

Ничего в Вермонте толком не растет (сено, горы, сахарные клены). Нет тут настоящей промышленности (гранитные надгробья и деревянные индейцы). Да и денег в общем-то нет. Вермонт — один из самых бедных штатов (аборигены с гордостью заявляют, что самый бедный). Но благодаря всему этому он стал оазисом неамериканского образа жизни. Изъятый из Штатов, Вермонт заключил себя в скобки.

Половина его полумиллионного населения — пришлая. Это люди, сбежавшие от процветания, карьеры, конкуренции, обязанностей. Постаревшие хиппи, безнадежные писатели, просто лентяи. Америка настолько богата, что в ней есть место даже для тех, кто богатым быть не хочет, — Вермонт.

Деньги всегда были камнем преткновения на пути американской культуры. Нигде в мире им так не поклонялись, но и нигде в мире с ними так не боролись (оставим пока Россию). Чем стремительнее богатели Соединенные Штаты, тем больше это беспокоило американскую интеллигенцию. И самая отчаянная война между меркантильным и творческим интересом проходила здесь, в Новой Англии.

На севере штата Нью-Йорк неистовствовал Фенимор Купер: «Государство должно быть независимо от денег и обязано противостоять их пагубному воздействию».

В Массачусетсе ему вторил романтический Эмерсон: «Человек — просто машина, добывающая деньги. Он — придаток имущества. Почему мы должны отречься от своего права исследовать озаренные сиянием звезд пространства истины ради акра земли, дома, амбара?»

Тут же осуществлял на практике антиденежную теорию Генри Торо, который своим примером показал, что «прокормиться на нашей земле — не мука, а приятное времяпровождение».

Чуть позже в Коннектикут переберется Марк Твен, который, обжегшись раз на серебряной лихорадке, без устали обижал свою родину, называя ее «мон рхией доллара».

И наконец, уже прямо в Вермонте поселился Роберт Фрост, который к деньгам относился тоже не слишком серьезно:

Лишь там, где с нуждой призванье
слилось,
И труд есть игра для спасенья
людей,—
Лишь там работа идет всерьез
Во имя неба и лучших дней.

Не то чтобы в Вермонте жили исключительно бесребреники, но зависимость человека от денег в этом штате слабее, чем в остальных сорока девяти. Может быть, в этом виноват дух индейцев, витающий над зелеными горами?

Сами краснокожие считали Вермонт священным местом. Они здесь не жили, а приходили сюда совершать тайные обряды. И до сих пор могущественные индейские божества беспокоят воображение романтических бледнолицых, мешая им заниматься серьезными и прибыльными делами. В Америке начиная с того же Купера индеец всегда противопоставлялся белому. Благородный дикарь гармонично вписывался в природу, хищный колонист ее губил. Честный индеец больше всего дорожил своим словом, пришлый торгаш — долларом. Краснокожего отличала спокойная величавость, бледнолицего — мелочная суетливость.

Благодаря американским романтикам и Гойко Митичу мы все воспитывались на таком примере, поэтому Вермонт нам показался типично индейским местом.

Впрочем, главную этническую экзотику штата представляют русские.

Обнаружив этот факт, мы возгордились и решили, что ничуть не хуже индейцев. В самом деле, мы склонны жить в резервациях, нас утомляет непомерный темп американской жизни, мы предпочитаем стойкость духа банковскому проценту, плохо говорим по-английски, и у нас есть свой Гайавата, который, естественно, живет в Вермонте.

Но и без Солженицына в штате полным-полно русских, которых сюда привлекает, кроме вышеуказанных причин, дешевизна жилья. Однако самое приятное — что местное население здесь тоже обязывают говорить по-русски. Одно из таких замечательных мест — Норвичская летняя школа.

Сюда из других, более отсталых штатов привозят на лето американцев — будущих славистов, советологов, шпионов. Им читают лекции, показывают фильмы, их учат водить хоровод и петь Окуджаву, а главное — говорить по-русски. Этому подчинена вся норвичская жизнь — английская речь категорически запрещена, провинившийся отвечает по законам военного времени. Господи, если бы распространить это требование на все Соединенные Штаты!

К суровости располагает вся атмосфера Норвичского колледжа, который в зимнее время готовит офицеров для американской армии. Пушки, танки, батальные полотна, спартанская обстановка (нары) — на таком фоне процветает родная речь. И правильно: Вермонт — форпост нашей словесности. Мы бродили по кампусу¹, высокомерно отвечая на «добрий вьечер» несчастных студентов, и чувствовали себя колонизаторами. Пусть американцы побудут в нашей шкуре и узнают, что значит говорить на чужом наречии. А чтобы они не забывались, повсюду висели таблички с русскими надписями — «мужская уборная», «стекло», «выключатель», «стена». Мы придирчиво следили за орфографией и отмечали соответствия — «стена» действительно была стеной.

Только Норвичской школы нам и не хватало, чтобы окончательно восхититься Вермонтом. Ко всем его живописностям и духовностям присоединялся решающий фактор: русский язык здесь государственный.

Больше искать было нечего, и мы отправились домой, чтобы присоединиться к той толпе, которая после слова «Вермонт» может только мычать и показывать руками.

¹ Студенческий городок.



О СЕНТРАЛ-ПАРКЕ—ОАЗИСЕ БЕЗУМИЯ

В свое время, до одури начитавшиеся зарубежных книжек, мы всё знали про Нью-Йорк. И все оказалось правдой.

В отеле «Грейстоун» были вытертые темно-красные ковры, полированные дверцы лифта, чудовищные картинки в роскошных рамах. Это был Драйзер — даже газовые рожки висели где положено, в них, правда, вкрутили лампочки.

В Нью-Йорке было невыносимо жарко, но мы не унывали — мы помнили О. Генри: «Летом и в городе есть немало приятных мест. Кафе на крышах, знаете, и... мм... кафе на крышах». С тех пор крыши заняли

миллионерские пентхаузы ¹, но появились кондиционеры.

Мы с трудом понимали, что приехали сюда жить, и нащупывали точки опоры: знакомые понятия, впечатления, места. Мы не хотели бежать оголтелыми туристами к Эмпайр Стейт Билдингу и статуе Свободы — нас поджидали тихие радости, вроде заветных полян грибников. «Вы видали тех уток, на озере у южного входа в Центральный парк? На маленьком таком прудике?» Мы видели. Руководствуясь точными указаниями героя Сэлинджера, мы нашли и пруд, и уток, и сам Центральный парк.

Попав в Централ-парк в первый же день, мы сразу примирились с Нью-Йорком. Точнее — не успели его возненавидеть, что почти обязательно для европейца. Мы счастливо миновали тот юношеский период, когда принято говорить про каменные джунгли.

Постепенно мы обнаружили в этом оазисе длиной в 51 квартал и шириной в три выкуренные сигареты озера, скалы, поля, леса. Здесь растут диковинные вещи: дерево гинкго, кусты чаппаралья, египетский обелиск. Тут и население необычное: сидит Андерсен с бронзовой книгой, занимается физзарядкой Жаклин Кеннеди, заходит что-нибудь спеть Паваротти. Однажды мы перевалили местный горный хребет и вышли к ритуальным пляскам нарядно одетого племени в лентах и сапогах. Это оказались поляки, плясавшие мазурку у подножья большого памятника королю Ягайло. День был будний, моросил дождь.

Нигде так не пьется, как в прибрежных беседках Центрального парка. Сумерки. Все бледнее зарево над Бродвеем. Никого. Только мелькает порой пугливая тень джоггера ². Издалека доносится легкий дымок марихуаны. Где-то приглушенно ухают этнические меньшинства. Неторопливо журчит наша беседа о государственном устройстве будущей свободной России.

Совсем иное дело — Центральный парк в выходные. Это уже не парк — это монумент демократии. Распластанная Вавилонская башня. Четвертый Интернационал, лишенный поступательного движения к всеобщему счастью. Центральный парк своей цели уже достиг: он сам и есть цель. Пестрая гармония рас, националь-

¹ Фешенебельная квартира на крыше.

² Бегающий трусцой.

ностей, возрастов, сословий, профессий, вкусов. Что-то вроде спортивно-хореографической сюиты «Под солнцем родины мы крепнем год от года».

Бесперывное движение праздничного Центрального парка замечательно тем, что стихийно и запрограммировано только разнообразными психозами толпы. Негритянские подростки кувыркаются на ковриках для брейкинга, оркестры воют и звенят, жонглеры подбрасывают неудобные предметы, дети заливаются мороженым, смехом и слезами, животные томятся в клетках зверинца, и едут в «Зеленую таверну» красноколесные шарабаны.

Мэр Нью-Йорка однажды сказал, что у города есть две святыни — материнство и Сентрал-парк. Нас лично материнство не касается, а вот парк — вполне. Мы давно уже поняли, что российскому человеку за пределами России надо жить в Нью-Йорке. Только он сопоставим с нашей родиной масштабами безумия, в котором нет системы. Но чтобы в Нью-Йорке жить было еще и приятно — нужны точки опоры, и одна из них — Центральный парк. Нет смысла сравнивать его с памятными образцами — Летним садом, Сокольниками, Владимирской горкой. Центральный парк не место отдохновения, а как раз наоборот — средоточие жизни. Оазис благословенного безумия, по которому начинаешь скучать, уезжая из Нью-Йорка. Странное, извращенное ощущение уюта возникает уже вначале под воробьиное чириканье торговцев джойнтами ¹: «Смок-смок-смок!» ², на дорожках под стеклянными взглядами бегунов с наушниками, в виду эротических упражнений парочки под гранитной скалой, у озерца возле Южного входа: «Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Да вы, наверное, знаете».

¹ Сигареты с марихуаной.

² «Курево!»



О ПОКОЛЕНИИ ВУДСТОКА

Америка отметила 20-летний юбилей Вудстока довольно странно. С одной стороны, ни у кого не вызывает сомнений, что рок-фестиваль возле маленького городка Вудсток в штате Нью-Йорк 15—17 августа 1969 года, который проходил под проливным дождем на поле люцерны, арендованном у фермера Макса Ясура,— крупнейшее событие того, что потом назвали революцией 60-х. Вудсток подвел итог движению длинноволосых юнцов, которые преобразили Америку. Укрепили—расшатал. Оказалось, что гибкость прочнее и надежнее твердости: чугун—хрупок.

Вудстокский фестиваль логично завершал эту трансформацию, будучи подчеркнуто аполитичным, хотя туда приехали и ведущие радикалы 60-х. Но ше-

стидесятники к тому времени уже устали от политики. Когда главный активист Абби Хоффман взобрался на сцену, чтобы произнести речь, музыкант группы "The Who" ударил его гитарой по голове и пинком вышвырнул со сцены.

Контркультура 60-х проявлялась разнообразно. Ее вершили те, кто проклинал вьетнамскую войну и жег призывные повестки, кто создавал колонии хиппи, кто составлял свой дневной рацион из «травы» и «колес», кто украшал собственное лицо нарисованными цветами, а винтовки солдат Национальной гвардии — живыми, кто пел песни Боба Дилана, Джоан Баэз, Джимми Хендрикса. Вот к Вудстоку и остались — песни.

Трудно удержаться от соблазна параллели с русским роком. В Союзе протест не выродился в песни, в песнях родился. Как всегда, с опозданием лет на пятнадцать по сравнению с Западом. Бунт наших 60-х ограничивался журнальными страницами, гитарными аккордами у костра, знаменитыми кухонными ночными бесконечными разговорами. Наша национальная гвардия — внутренние войска — американских забот не знала, цветы не уродовали автоматных стволов. Если что и началось, то — позже. Константин Кинчев сказал нам со скромным достоинством: «После концерта наши фэны¹ разгромили две станции метро». Но это уже шел 89-й. Так что с рок-музыки в России и началась молодежь, на рок-концерте и возник сакраментальный вопрос Юриса Подниекса: «Легко ли быть молодым?» И если годы перед пробуждением окрашены в лучшем случае в элегические тона: «Доверься мне в главном, не верь во всем остальном. Не правда ли славно, что кто-то пошел за вином» (Борис Гребенщиков), то плакатная рок-публицистика пошла вместе с газетно-журнальной, телевизионной, митинговой: «Мое поколение молчит по углам, мое поколение смотрит вниз» (Кинчев).

Иное дело в Америке. Здесь музыка завершала начатое революционерами, уже ощущая свою чужеродность не только истеблишменту, но и революции. Абби Хоффман зря приехал туда. Вудсток стал прощанием и — даже — сведением счетов.

¹ Фанаты.

На люцерновых полях Макса Ясгура тогда собралось около полумиллиона человек. Штатный хайвей был забит машинами: пробка достигала 20 миль. Самим-то вудстокцам казалось, что их не меньше полутора миллионов,— об этом они с гордостью объявляли со сцены.

Вот о гордости и речь. Итак, с одной стороны Вудсток — грандиозное событие американской истории и культуры: с этим согласны все. С другой стороны — и в этом заключалась странность 20-летнего юбилея, — сами вудстокцы не спешили праздновать и торжествовать. Социологи и журналисты с удивлением отмечали пассивность участников Вудстока, которые от него не отказываются, но говорят о нем сдержанно, даже с некоторым смущением.

В этом смысле характерен случай с «ребенком Вудстока». Его не могут найти, хотя известно, что во время фестиваля одна женщина родила. Имя ее неизвестно. Поиски ни к чему не привели. «Дитя Вудстока» не объявляется, хотя его и его мать ждет известность и успех.

Это понятно: представим, что эта женщина живет где-то в маленьком городке, допустим, учительница, уважаемая семьей, коллегами и соседями. И вдруг выясняется, что она в последней стадии беременности неслась на мотоцикле на рок-концерт и рожала в чистом поле.

Фестиваль проходил под девизом «Три дня мира и музыки». Но главным, ключевым словом было другое — свобода. Не зря, когда Ричи Хейвенс исполнил на бис пять вещей и не знал, что же петь еще, — он начал импровизировать, варьируя на все лады единственное слово «Freedom».

Какая свобода? Тогда этого вопроса просто не поняли бы. Какая? Любая! Любви, протеста, слова, поведения... Вот этой *любой* свободы, похоже, и стесняются сейчас постаревшие вудстокцы.

Свобода любви. В газетах появились издевательские карикатуры: бородатый хиппи в 69-м с плакатом «Любовь», он же в 89-м с плакатом «СПИД». Тогда они голыми огромной толпой купались в пруду фермера Филиппини, а фильм «Вудсток» запечатлел обнаженных юношу и девушку, занимающихся любовью среди бела дня в муравах (та же люцерна, вероятно) — без тени стеснения, на виду у всех любопытных. Но вот

убийственный эпилог к этому смело-лирическому эпизоду. Юноша, повзрослевший, подал в суд на авторов фильма, которые зафиксировали его в половом акте с женщиной и тем нанесли непоправимый вред бизнесу: он модный парикмахер, а поскольку известно, что лучшие парикмахеры — гомосексуалисты, к нему перестали ходить. Не может же он каждому потенциальному клиенту объяснять, что давно покончил с проклятым гетеросексуальным прошлым.

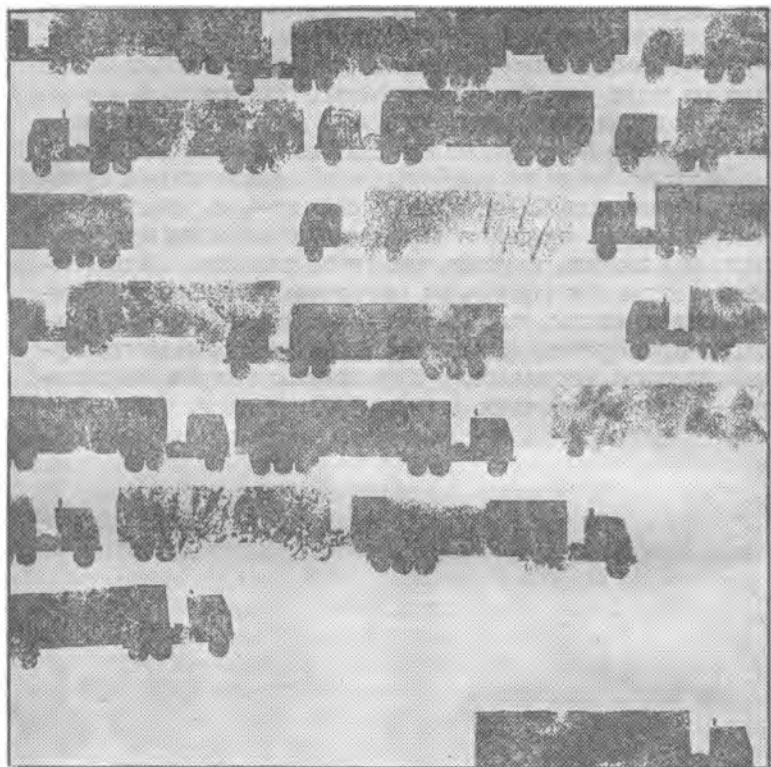
Свобода протеста. В юбилейные дни по телевидению выступали деятели Вудстока, и стало ясно, что практически все они оставили свои радикальные убеждения. Даже неистовая общественница Джоан Базз занимается нейтральными вопросами, вроде охраны кашалотов. А одна из телесобеседниц и соратниц Ричи Хейвенса, автора гимна о свободе, потупившись, призналась, что в 80-м и 84-м голосовала за Рейгана. За того самого Рональда Рейгана, во времена Вудстока губернатора Калифорнии, над которым не уставали измываться шестидесятники. Ричи Хейвенс только кивнул с пониманием. Зато, должно быть, перевернулся в гробу Джимми Хендрикс, который тогда, в августе 69-го, выдал свое легендарное исполнение государственного гимна США в великолепно-кошунственном переложении для болезненных, искаженных аккордов гитары, — Хендрикс остался бы в истории рока, даже если б не сочинил больше ничего.

Свобода поведения. Пожалуй, то, чем больше всего дорожил «народ Вудстока». Проявлялось это заметнее всего в одежде и прическе, а самым эпатажирующим образом — в марихуане, кокаине, ЛСД и других радостях духа. Над воплощенным здоровьем — зелеными фермерскими полями и коричневыми фермерскими коровами — плыли синие облака наркотических миазмов растленных горожан. «Скорые помощи» увезли четверста человек с диагнозом overdose (перебравших). Джойнты передавались в открытую, как трубки мира. Но эта беспримерная раскованность обернулась кошмаром уже в следующем, 70-м году, когда один за другим умерли от наркотиков Джимми Хендрикс, Джейнис Джоплин, Эл Уилсон, а позже — и другие герои Вудстока, в их числе — Пол Баттерфилд, сочинивший вудстокский «Марш любви».

Вот все это и смущает ветеранов поколения Вудстока. Как вызывает смешанные чувства любой молодой

порыв, который вспоминается и с умилением, и со стыдом, и с восторгом, и с сожалением. Мы видели кое-кого из «поколения Вудстока», приехав в юбилейные дни на поле уже покойного Макса Ягура.

Как и двадцать лет назад, шел дождь, и вудстокцы смотрели на Вудсток, не вылезая из машин. Тогда они добирались сюда на разбитых «фольксвагенах» и древних «бьюиках» 50-х годов, сейчас — на «Ягуарах», «мерседесах», «вольво». Продавцы сувениров протягивали им значки, кружки, майки со знаменитой эмблемой фестиваля: голубь на гитарном грифе. Если приглядеться, видно, что на многих товарах символ Вудстока преображен фантазией какого-то томимого саркастической ностальгией художника: голубь на гитаре — лысый и в очках.



О ЮЖАНАХ И ЮГЕ

Нас давно уже мучило подозрение, что мы открыли Америку не с того конца. Пароксизм удивления, испытанный в первый же нью-йоркский день, на многие годы заслонил всю остальную страну. Контрасты, сконцентрированные в этом великом городе, мешают освоиться в нормальной американской жизни, заменяя ее выигрышным суррогатом: Америкой космополитичной, разноликой, многоязыкой, веселой, бурной, сверхсовременной, но — не настоящей.

Для эмигрантов вполне естественно принять иллюзию за реальность — поверить, что «плавильный котел» и есть та страна, куда мы ехали. Но, плавая на поверхности этого хрестоматийного котла, мы все время

имеем дело лишь с пеной, взвесью, летучими эфирными маслами, которым именно легковесность и не дает опуститься на дно.

Так и в самом деле легко перепутать американское гражданство с национальностью. А вследствие этого заблуждения поверить, что никакой Америки нет, что Америка — это мы сами, что совокупность отрицаний дает в сумме тот плюс, который мы зовем загадочным словом «американец», не вкладывая в это имя общности языка, происхождения, культуры, то есть всего того, что делает человека там, в Старом Свете, кем-то — русским, французом, китаецем.

Что ж, Соединенные Штаты дают основание и для такого толкования. В самом названии этой страны таится указание на разрыв с традицией. Недаром все, кто стремится начать жизнь с чистого листа, подбирают себе аббревиатуры вместо человеческого и исторического имени. Тут у США и СССР много общего. Прежде всего, сам акт рождения: оба государства возникли на кончике пера, из декрета, концепции, с той, конечно, грандиозной разницей, что можно быть русским и советским, нерусским и советским, русским и антисоветским, а у американца выбора, казалось бы, нет — им становится всякий, кто разделяет не общую кровь, а общую конституцию.

Как в загробном мире, в Америке реализуется мечта о втором рождении, только на этот раз на свет — в Новом Свете — появляешься в результате свободного, осознанного выбора: там, где хотел.

Один умный француз назвал Соединенные Штаты искусственным спутником Земли, добавив при этом, что будущее принадлежит людям, не обремененным корнями.

Теоретически это все верно, но практически — практически остается неразрешимым вопрос: возможен ли народ без корней? Что делает эту страну единой? Что держит этих людей вместе, да еще так прочно, что даже самая страшная в американской истории война — Гражданская — не смогла разорвать их союз. И звездочек на флаге с годами становится все больше, и никогда — меньше. Все империи поражала эпидемия центробежности. Но стоящая Америка продолжает расти — в том числе и за наш счет.

Как все пришельцы, мы часто задавали себе вопрос — где настоящая Америка, где ее родина, где она живет в не разбавленном нами же экстракте?

На Юге — подсказывала ответ американская литература, на Юге — в стране Марка Твена, Фолкнера, Фланнери О'Коннор. В каждой стране ядро там, где литература гуще. (От этого утверждения мы не откажемся, даже если придется считать родиной России окраинный Петербург.)

И мы поехали на юг. Пока вы не пересекли линию Мэйсон — Диксон, границу Пенсильвании и Мэриленда, юг можно писать с маленькой буквы — это всего лишь сторона света, но за чертой, исторически разделяющей два лагеря, вы оказываетесь уже на Юге, где уместна только заглавная литера. Здесь уже все свое: еда — никакого хлеба, зато 160 сортов кукурузной муки, язык — без костей, одни гласные, флаг — старинное знамя со звездами, по числу рабовладельческих штатов, объединившихся в Конфедерацию.

Кстати, нью-йоркские номера машины сделали в одно мгновение то, чего не случилось за все годы эмиграции: мы стали янки, о чем не забывал напомнить каждый водитель, недовольный нашей нерасторопной ездой. Только ничего мы от этого не выиграли: северян здесь не любят. Потомки конфедератов, как они любят говорить, «ничего не забыли и ничего не простили». Самая популярная надпись на бамперах: «Генерал Ли сдался, я — нет».

Сперва можно подумать, что Гражданская война еще не кончилась, но постепенно начинаешь привыкать к местной разновидности патриотизма.

Глубокий, а значит настоящий, Юг начинается не с какой-то определенной географической точки, а с накопления мелких наблюдений, которые подсказывают, что вы добрались до непривычной, чужой территории. Вдруг, например, из поля зрения исчезают негры. Не то чтобы, скажем, в Теннесси действовали другие законы, но проблемы сегрегации здесь вполне актуальны. В местной газете горячо обсуждался острый конфликт: впервые негры плавали в бассейне вместе с белыми.

Толпа, состоящая из одних белых, производит скучное впечатление. Оказывается, пестрая нью-йоркская улица приучает к другой цветовой гамме: чистый, несмешанный расовый тип удручает пресностью. Впрочем, мы, конечно, знаем немало соотечественников,

которые не пожалели бы отдать за эту пресность билль о правах.

А еще Юг — это страна кресел-качалок. Здесь не найдешь обычного четвероногого стула. Куда бы вы ни сели, пол под вами предательски качнется в сторону. Жизнь на качелях располагает к сладкому безделью. Раскачиваясь, невозможно толком ни читать, ни писать, ни считать деньги — только жевать табак да попивать любимый нью-йоркскими алкашами за 45-градусную крепость ликер «Улада юга».

Этот тягучий южный ритм — взад-вперед — отделяет Америку Обломова от Америки Штольца. В прошлом Юг себя чувствует лучше, чем в будущем. Отсюда и природная консервативность южан, которая является не столько политической философией, сколько защитным рефлексом. Любые перемены, нарушающие ленивый южный статус-кво, угрожают естественному образу жизни.

Большая политика чужда Югу — новости тут бывают или местные, или никакие. Иностранцами считаются выходцы из соседних штатов, а туристам из Нью-Джерси вполне серьезно говорят: «Добро пожаловать в Америку».

Во всем этом проявляется гордое ощущение самодостаточности. Юг — это полюс изоляционизма, откуда даже Белый дом, не говоря уже о других континентах, кажется враждебным миражем. Не зря южане представляют стране самый чистый тип «реднеков» — «красношейк». Эта своеобразная порода американцев, которую, по мысли многих, следует считать костью нации, лучше всего представлена водителями больших грузовиков. И правда, грузные, мускулистые, обильно татуированные «реднеки», которые не выходят из дома без вязанки пивных банок, национальны, как яблочный пирог и бейсбол. Эти настоящие американцы твердо знают свое место в мироздании и искренне презирают любое другое.

Однажды мы встретились с компанией «реднеков» в манхэттенском японском ресторане. Каким чудом они туда забрели, неизвестно, но сделали это напрасно, судя по тому оторопелому виду, с каким они глядели на сырую рыбу — суши. «Что это?» — с ужасом спросил самый молодой. «Такое же говно, как все остальное», — отвечал «реднек» с большим жизненным опытом.

Мотаясь без определенной цели по южным штатам, мы не искали ничего специального. В том-то и трудность американских путешествий, что эта страна уже не чужая, но еще и не своя. Известно, что о любых местах проще писать, если провел там один день, а не много лет. Близкое знакомство только увеличивает пропасть, разделяющую людей и страны. Ведь часто и жену понять труднее, чем случайного прохожего.

В этом смысле Юг помогает туристу еще меньше, чем другие районы Америки. Он лишен оригинальности Запада или уюта Новой Англии. Но зато у Юга есть то, чего нет нигде, — Фолкнер.

Во всех поездках лучший проводник — хороший писатель. Если его нет, страна так и остается немой. Но если есть, то происходит таинственное слияние вымысла и реальности. Любого писателя лучше всего читать на его родине, что мы и делали, возя с собой несколько томов Фолкнера.

Как ни странно, литература наполняется другим содержанием просто оттого, что читатель перемещается в соответствующие широты. Ожившая география из скучных, казалось бы, нужных только автору указаний становится необходимым комментарием к тексту. Неважно, писатель ли отражает жизнь или жизнь в глазах читателя подстраивается под книгу, существенно лишь то, что в месте пересечения литературы и реальности они сливаются в особое магическое единство, которое и остается в памяти уже навсегда.

Образ фолкнеровского Юга впервые мы открыли на старинном теннессийском кладбище в долине Кэйп-Ков. В этих краях за могилами следят с особой любовью. Потомки нередко приезжают со всех концов страны, чтобы привести в порядок ветхие плиты.

Могины на кэйп-ковском кладбище расположены так, чтобы мертвецы лежали ногами к востоку — в Судный день вставать будет проще. Похоронено здесь человек двести, но фамилий на всех плитах только две — Оливер и Грегори. Эти два патриарха — первые белые поселенцы Кэйп-Кова — пришли сюда в 1811 году, откупили землю у индейцев-чероки, построили фермы, основали свои кланы, пережившие потомки которых живут здесь до сих пор.

Фамильная сага, записанная на кладбищенских плитах, читалась, как романы Фолкнера. У каждого из бесчисленных Оливеров и Грегори была своя, какая-то

очень американская судьба, в которой нам помог обратиться местный священник. Одного убили конфедераты, когда он защищал от мародеров корову. Другая повесилась, не простив мужу измены. Этот погиб в пьяной ссоре, возникшей по поводу выборов Теодора Рузвельта. А тот убит в перестрелке из-за контрабандного виски.

Всего шесть поколений назад на месте этого кладбища была девственная земля, на которой лишь изредка охотились индейцы. Все, что здесь случилось, произошло совсем недавно. Времена пионеров только что кончились, да и то не совсем. В тех же краях мы видели ярмарочные представления, где одетые в кожи ковбой демонстрировали искусство стрелять с обеих рук без промаха, а патриот из местного драмкружка поэтически рассказывал зевакам историю освоения Дымных гор.

Мы воспринимаем Америку как данность. Для нас она существует вне времени — Америка вообще. Но тут, на теннессийском кладбище, мы видели страну в ее исторической протяженности.

Однако это была не та история, которую знает Старый Свет. Американская история — личная, а не государственная, народная, национальная.

В основе Нового Света лежит миф о пионере, первопроходце. Это не только голливудский штамп, но и глобальная мировоззренческая концепция. Пионер — поневоле одиночка. Оторвавшись от старых корней, он пускает новые там, куда приходит и где заключает союз не с людьми, а с землей, которую он завоевывает и возделывает.

Свобода от прошлого — это бегство из истории политической в историю фамильную. Американская история по-настоящему должна бы ограничиваться семейной сагой. Как раз такой, какую писал Фолкнер.

Этот великий южанин открыл своей стране ее подлинную сущность. Все его книги сплелись в один грандиозный эпос пионеров. И в этом он близок поэтике вестерна, истинно национальному жанру американской культуры.

Интересно, что мы не считаем романы Фолкнера историческими, хотя он и выстраивал их в хронологии реальных событий. Они действительно не похожи на «Войну и мир», скорее — на Ветхий завет или исландские саги. Дело в том, что земля Фолкнера еще

так нова, что помнит имена своих первых поселенцев. Вот так те же исландцы могут перечислить всех, кто впервые вступил на их остров.

У Фолкнера родословная заменяет историю. Прошлое прорастает в личности, а не в обществе. Происхождение — главная, определяющая черта каждого из его персонажей. Они обречены нести в себе благодать или проклятие предков просто потому, что память о них еще слишком свежа. Свет еще Новый, он еще не успел растворить в безличном обществе индивидуальную судьбу каждого. И трагедию своей страны Фолкнер видел в том, что прогресс отрывает человека от мистического союза с почвой, на которой выросли могучие, преувеличенные герои его книг. Отрывает, чтобы бросить в тот самый плавильный котел, в котором с таким успехом варимся и мы.

У Фолкнера не бывает мелких характеров. Все они — гении добра или зла, люди-гиперболы, как раз такие, каких мы привыкли встречать в голливудских вестернах.

Эта героизация — следствие перенесения Фолкнером действия в мифическое, а не историческое время. (Такую же операцию проделал со своей страной и писатель из другой Америки — Гарсиа Маркес.) Страсти, которые обуревают фолкнеровских героев, всегда величественны и разрушительны, как бы ни был ничтожен повод, их вызвавший. Люди убивают друг друга из-за пустячной обиды, из-за неподеленного доллара, из-за случайного слова.

Любой поступок приобретает характер эпического деяния, потому что каждый персонаж у Фолкнера выписан с библейским размахом, о чем говорил и сам автор: «В Ветхом завете меня увлекают описания великих мужей прошлого, живших и действовавших подобно нашим предкам в XIX веке».

Таких героев Фолкнер не придумал, он просто списал их со своих предков, не так уж давно пришедших в эти края, чтобы стать патриархами нового мира.

«Рослый человек, полный протестантских заповедей и виски» — такими его южане не только были, но такими они во многом остаются и сегодня: в упрямых и грубых «реднеках» можно узнать потомков фолкнеровских пионеров. И только здесь, на Юге, нам пришлось видеть книжные магазины, где продается одна-единственная книга — Библия.

Нынешние «руситы» ищут в Фолкнере союзника. Их привлекает концепция священного союза человека с почвой, которую исповедовал американский писатель и которая так близка многим писателям русским. Но почва там и здесь все же разная.

В России речь идет о национальном, то есть коллективном завете святого народа-богоносца с матерью-землей. Фолкнер же безразличен к национальности своих героев. Более того, он уверен, что, «если дух национализма проникает в литературу, она перестает быть литературой».

Фолкнера воодушевляла идея независимых личностей, которые еще не успели срастись в народ. Он имел дело с людьми, заключавшими свой, личный, союз с землей Нового Света. У Фолкнера собственно американская история еще не началась, да и самого понятия «американец» еще не существует. Американец — это человек с именем, фамилией, родословной, но — без национального предания.

Гражданская война лишила Юг политической истории и тем облагодетельствовала его: «Ища объяснения живой южной литературе, следует обращаться к войне. Северяне выиграли войну, а единственный благородный поступок, который можно совершить на войне, — это проиграть ее» — опять Фолкнер.

Юг, а не Север, ощущает себя хранителем традиции, ядром Америки, ее духовным бастионом. Потому Юг и верен знамени конфедератов, что не хочет меняться. Миф о пионере здесь по-прежнему жив.

Иногда его можно обнаружить в неожиданных местах. Например, в музее самого знаменитого, наверное, южанина — Элвиса Пресли.

Когда мы бродили по залам этого невероятного музея, нас не оставляло чувство, что местные жители перенесли на своего Элвиса вечную мечту об одиноком ковбое, добравшемся наконец до неба.

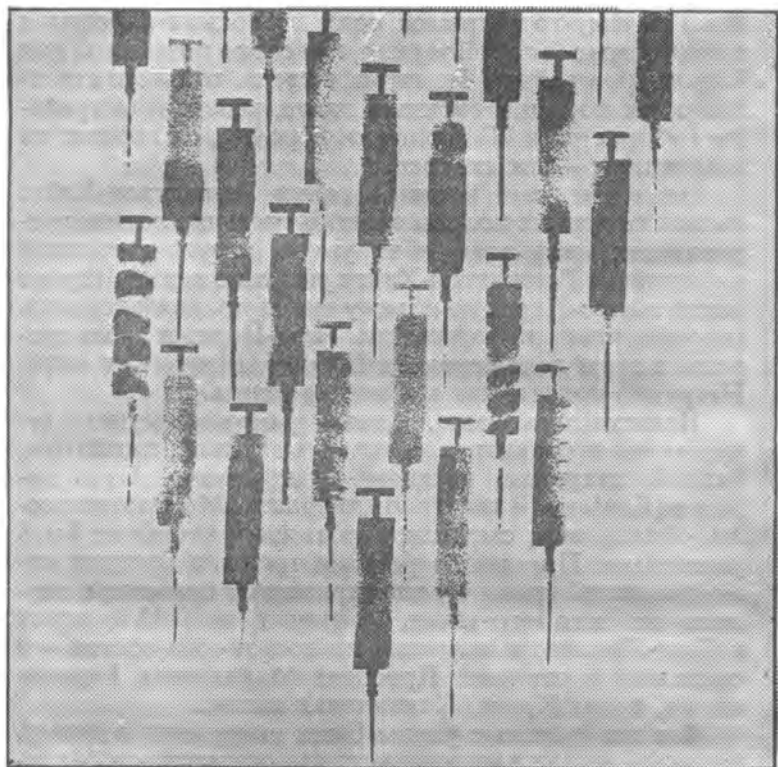
Элвис — личность, выросшая до гротескных размеров, — стал пророком религии успеха. Экспозиция, рассказывающая о его жизни, больше похожа на собрание священных реликвий: перстень, костюм, рентгеновский снимок грудной клетки. Вот так в Стамбуле хранят волос из бороды Магомета. Кажется, и сам Пресли верил в волшебную власть над фортуной. Приближенным он дарил свои вещи, как амулеты, — галстуки, пижамы, трусы. В листке из его блокнота мы заметили небре-

жные каракули — кресты, могоновиды, полумесяцы. Похоже, он присматривался к атрибутам других религий.

Но главное в Элвисе, в его несусветной славе — происхождение. Когда он, в фантастически нелепых нарядах, увешанный золотыми побрякушками кумир, выходил на сцену, каждый восхищенный зритель помнил, что Пресли — один из них, простой парень, такой же «реднек» из соседней деревушки, которого судьба буквально вознесла над миром. Пусть Элвиса называли Королем, но это был монарх, короновавший себя сам, — Наполеон по-американски.

В этом странном культе прослеживается та же бешеная вера в провидение, которая гнала героев Фолкнера в дикие края, а еще раньше вела отцов-основателей в Америку. Жесткая и жестокая вера в человека, живущего по своим правилам, без оглядки на Старый Свет.

Америка — страна людей, искавших убежища от истории. И на Юге, где время идет медленнее, чем на Севере, легче погрузиться в безмятежный поток вечности, омывавший этот континент всего пятьсот лет назад.



О НАРКОТИКАХ

Район, в котором мы живем, становится все более популярным. Сначала здесь, как и везде, жили индейцы. Потом селились мизантропического склада голландцы, которым казался слишком оживленным нью-йоркский даунтаун¹ XVII века. Полстолетия тому назад приехали из Германии евреи, открывшие тут превосходные колбасные магазины, а позже — фешенебельные дома для престарелых. Потом пошла коричневая волна — кубинцы, доминиканцы, пуэрториканцы: они ввели моду на многопудовые транзисторы и дневные бигуди. Вклад нашей эмиграции куда более скромн. Нам, во всяком случае, невнятен смысл нашего пребывания:

¹ Центральная часть города, центр.

даже почему-то закрылся один из восьми окрестных ликер-сторов. Толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, только и вздохнет о нас кореец в овощной лавке, который выкрикивает «Здрасти» и «Позалиста»: впрочем, он говорит на всех языках — как скворец.

Но вдруг наш мирный район Вашингтон-Хайтс вышел на первые полосы газет. В соседних латиноамериканских кварталах обнаружена мировая столица наркотиков. Вашингтон-Хайтс уверенно держит первое место в Нью-Йорке по объему купли-продажи кокаина, героина, крака и марихуаны. Нью-Йорк, в свою очередь, в этом деле первый в Штатах. Штаты — в мире. Нетрудно понять, как мы возгордились.

Начитавшись газет, одним уютным летним вечером мы отправились за товаром: травой, джойнтом, балдой, ширевом, косяком — как угодно. Путь лежал не близкий — кварталов двадцать. Мы плотно поели, обняли жен, сменили воротнички, чтобы не быть узнаваемыми. Прошли звериными тронами Бродвея мимо скалистой гряды Пресвитерианской больницы, держась на юго-юго-запад, свернули по 163-й стрит к Сент-Николас в направлении восток-юго-восток — и оказались в столице. Проспект Марихуаны, Героин-авеню, тупик Крака, Кокаиновая аллея...

Все эти чудесные улицы были погружены в дрему, когда мы вошли в мировую столицу наркотиков. Маленькие коричневые девочки лениво перебрасывались мячиком, большие коричневые дяди клевали носом на ступеньках парадных, из окон выразительными словами пел о любви Хулио Иглесиас. На каждом углу стояли на тротуарах и сидели в машинах великолепно замаскированные агенты полиции и ФБР. Небрежно-ленивые, в майках и джинсах, с толстыми браслетами и пачками сигарет за поясом, они ничем не отличались от местных жителей или от обычных покупателей травы и крака, но даже дети и эмигранты за два квартала видели, что это агенты полиции и ФБР.

Попав в фантастически перемешанный Нью-Йорк, мы с каждым днем все больше убеждаемся, что есть лишь одна резкая грань, один безусловный критерий, который делит человечество на две совершенно различные категории. Это — ощущение сверхзадачи. Или оно есть, или нет.

Все остальное несущественно и смазано. По сути,

ничего не зависит от денег: мы знаем богачей с психологией нищих и нищих с самосознанием миллионеров. В разгуле массовой культуры уже абсолютно неясно — что такое талант и нужен ли он вообще, если речь идет об успехе. При расширении эстетического поля до немислимых пределов теряет смысл понятие красоты. Все менее понятна ситуация с национальностью и религией: и то и другое переменяется с легкостью, уступающей лишь стремительности смены политических убеждений. Сомнения есть даже в расовом критерии: мы знаем негра, которого все принимают за еврея, и евреев, неотличимых от негров. В эпоху информационного бума сдался даже интеллект — под напором осведомленности и эрудиции.

Только одна разделительная черта пронизывает расы, национальности, профессии, доходы, темпераменты, деля человечество на две части — людей и людей со сверхзадачей.

Человек, идущий просто так, и человек, доставляющий важный пакет. Чистое искусство и искоренение недостатков. Безответственность и ощущение миссии. Легкомыслие и серьезность. Смешливость и основательность. Стрекоза и Муравей. «Птичка Божия не знает ни заботы ни труда» и «Усталые, но довольные, они возвращались домой». Изгнание и послание. Переодетые агенты в Вашингтон-Хайтс были явно в послание. Чувство сверхзадачи необратимо преобразовало их, даже если б они пили из горлышка ром «Баккарди», понаставили себе синяков и расписались с ног до головы татуировками. Было видно, что, отсидев положенные часы в автомобиле, они не станут расслабляться, а поедут писать отчет о дежурстве. И так же было ясно, что скучающие парни на ступеньках парадных если не продадут траву, то выкурят ее сами.

Все эти поучительные наблюдения нас не удовлетворили: в конце концов, мы пришли покупать крак, а тут не было ничего вреднее баптистских брошюр, которые раздавала нечистоплотная старушонка. Однако опыт жизни в Нью-Йорке убеждал нас, что в этом городе есть все — надо только искать. Искать пришлось минуты три. В двух кварталах от сонной полицейской идиллии торговля голубой мечтой шла вовсю. Раздавались вопли разухабистой купли-продажи по-английски, по-испански, по-негритянски. Подъезжали и отъезжали

машины с высунутыми руками, из которых выдергивались деньги в обмен на нечто хорошее. Прямо на тротуаре сидел пожилой кубинец, на коврик перед ним лежали мешочки разного размера: «никел-бэг» (марихуаны на 5 долларов), «дайм-бэг» (на 10), свернутые фунтиком бумажки, отдельные самокрутки джойнта. Усатый, в большой кепке, он был родным братом грузина с Центрального рынка на Цветном бульваре, разложившего сушеную кинзу и хмели-сунели в самодельной фасовке.

Жизнь этого квартала не подчинялась никакой сверхзадаче — она просто текла. Шумно, весело, деловито. Сюда, в столицу наркотиков, как в мировую воронку из фантастического романа, проваливалось будущее Америки. В очаге эйфории сгорали проблемы сегодняшнего да и завтрашнего дня.

Как известно, журналист меняет профессию. На что удастся — на то и меняет. Например, становится программистом. Или пересказывает чужие американские статьи для советского радиослушателя. Или уходит в бизнес и перестает пользоваться русским языком вообще. Нам в Америке удалось поменять профессию всего только на заработок — маленький, но нестабильный. И теперь мы как проклятые вынуждены интересоваться вопросами, на которые и не обратили бы, может, внимания. Будучи примерными семьянинами, посещаем злачные места. Безупречные службисты, погрязаем в хаосе ненормированного рабочего дня, бродя по Нью-Йорку и другим странам света ради нескольких строчек в газете. И вот теперь, преодолевая свою пуританскую добродетель и многолетнюю приверженность к алкоголю, занимаемся наркотиками.

Мы прошли наркоманский ликбез — почитав рекомендуемую литературу, поговорив с нужными людьми и проделав опыты над собой.

Раньше мы полагали, что только нам, русским, свойственно явное предпочтение алкоголя наркотикам. Оказывается — это возрастное. Здешние родители тоже, как и мы, предпочитают, чтобы их дети возвращались с вечеринок слегка выпившими, но не обкуренными. Тут сказывается, конечно, сила традиций: все-таки дедушка из Дублина пил виски, а дедушка из Барановичей пил пейсаховку — ни о каких наркотиках не было и речи.

Однако страх перед наркоманией коренится в ее

глубокой и принципиальной антиобщественности. Пьянство по сути своей явление социальное: оно немислимо без общения, тpeпa, излияния душ. Пьянство требует более сложной, комплексной подготовки: желателен стакан, существенно закуска. Для всего этого обычно требуются объединенные усилия. А главное — пьяному человеку хочется общаться (тем он, собственно, и ужасен для окружающих). Наркоману же хочется общаться только с собой (потому он и безнадежен). Наркотические грезы настолько самоценны сами по себе, что не требуют ничьего участия: как раз напротив — постороннее вмешательство ломает кайф. Возвышение собственной личности происходит настолько просто и стремительно, что вопросы типа «ты меня уважаешь?» наркоману и не придет в голову задать: он сам себя уважает безмерно. Поэтому же нет потребности в исповеди, покаянии, публичных слезах. В узкопрактическом смысле наркоман куда приемлемее: не лезет, не шумит. Он один. Вот это-то и страшно.

Известно: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. У наркомана на языке ничего. Дальнейшее — молчание. Мы не знаем, что у него на душе, что перед его мысленным взором, — и не узнаем, потому что мы не нужны ему. А кому ему? Ну, например, родители — сыну. Или муж — жене. Или друг — другу.

Причем если алкоголику до такого состояния полной отрешенности удастся дойти через много лет неумеренного потребления вкусных крепких напитков, то наркотики дают эффект отъединения практически сразу. Над человечеством возносят чуть не первые зачатки марихуаны — самого легкого из наркотиков, с которого начинают 96 процентов американских наркоманов.

Марихуана обостряет зрение и слух, и слушать музыку под косяком интересно и необычно. Наука, правда, это отрицает, но самовнушению плевать на науку. Считается, что марихуана повышает чувствительность кожи, благотворно влияя на сексуальные контакты. Лично мы можем засвидетельствовать только два явственных последствия травы: очень хочется есть, а после еды очень хочется спать. Правда, так с нами было всю жизнь.

У давних курильщиков марихуаны более всего бросается в глаза неспособность к концентрации. Наркотик как бы стимулирует жизненные процессы, ускоряет

саму жизнь так, что симптомы старости наступают быстрее. Рассеянность мысли, невозможность вспомнить недавно происходившее, беспорядочная произвольность движений, неспособность сконцентрироваться на конкретной проблеме — все это признаки, с которыми в обычных случаях имеют дело геронтологи.

Еще хуже — с краком. Трагедия состоит в том, что он очень дешев. Еще совсем недавно широкие массы удовлетворялись сравнительно неопасной марихуаной. Кокаин, в десятки раз более мощный, был недоступен большинству из-за дороговизны. Средний кокаинист должен тратить 400 долларов в неделю — это дает ему возможность 4—5 заправок в день: каждая приносит кайф на 10—30 минут и позволяет перетерпеть до следующей.

Легко сообразить, что 400 долларов в неделю позволяют себе немногие — на марихуану же с лихвой хватит и 40 (даже если покупать не мешочками, а долларовыми джойнтами). И тут появился крак. Кокаин, смешанный с некоторыми другими веществами и выделенный в кристаллы, — в таком виде он доступен всем. Прогресс движется широкими шагами, и если дешеветь телевизоры и магнитофоны, глупо думать, что не должен дешеветь кокаин. Долларов 70 в неделю — и вам не нужен никто: десятидолларовую порцию рачительный кракер (кракист?) растягивает на весь день.

Кроме того, крак удобнее, чем традиционный белый порошок: он предназначен для курения и не улетает от неосторожного дыхания. Обидно ведь — деньги плачены.

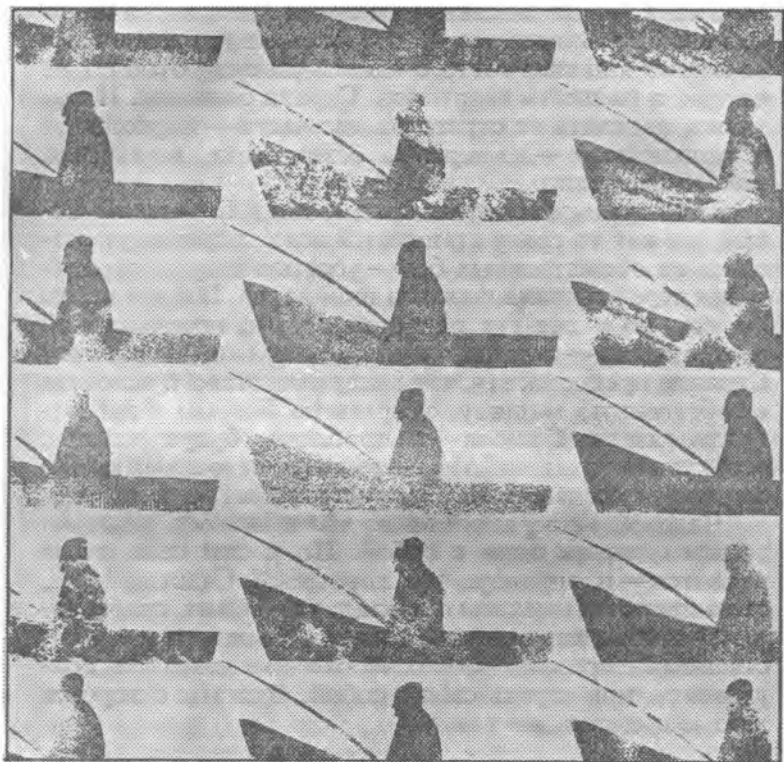
В американской прессе почти все уныло бубнят об усилении уголовной ответственности за продажу марихуаны и крака. Кто-то сетует на мягкость судов, кто-то на переполненные тюрьмы, кто-то требует поправки к конституции, кто-то ратует за применение смертной казни.

Страна разделилась во мнениях — нужны ли полевые тесты на наркотики. 44 процента населения — за, 44 — против. Остальным — плевать. Нам тоже. Но не потому, что безразлично, и не потому, что это покушение на личную свободу, а потому, что бессмысленно. И желание и боязнь полицейских мер равно бесплодны, потому что полицейские меры ничего не дают. Ну, выстроимся мы всей страной с заветными баночками мочи: как будто был толк от сухого закона.

Можно, конечно, послать еще сотни две агентов полиции и ФБР в Вашингтон-Хайтс и замаскировать их под почтовые ящики. Ребята с «никел-бэгами» отойдут не на три, а на шесть кварталов. Страна большая. И пытаться поделить ее строго на две части — наркоманов и полицейских — во-первых, безнадежно, во-вторых, самоубийственно.

Когда речь заходит о наркомании в Советском Союзе, все как-то сразу становится ясно: люди ищут спасения от общественных бед — убогого досуга, ограничения передвижений, зажима инициатив. Все это вроде бы так, но у нас тут радостей досуга, передвижений и инициатив — страшно сказать сколько. И что же? Странно предполагать, что посади советского человека в собственную машину, отправь на Багамы и дай открыть газетный киоск — и проблемы будут решены. А откуда приехал на 165-ю стрит этот седоватый красавец на «мерседесе»? Из Наро-Фоминска?

Человек, не верящий ни во что и никому, везде остается один на один с собой. Но и сам себе он не нравится — и вправду, что хорошего? Счастливы те, кто живет с ощущением сверхзадачи, — но их, озабоченных, важных, партийных, становится все меньше. Собственный неприятный облик необходимо изменить, приукрасить, примирить себя с собой. Для этого хороши любые средства, не так ли?



О ГОРОЖАНАХ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ

С точки зрения наших жен, мы никогда не работаем. С нашей точки зрения, мы работаем всегда. Обидное противоречие взглядов объясняется тем, что со стороны можно подумать, будто мы только шатаемся по городу, глазеем по сторонам и выпиваем с приятелями.

Но это иллюзия. То, что для других — досуг, для нас — работа.

«Другие», отстояв положенное у станка (компьютера, прилавка, сейфа, конвейера, зубоврачебного кресла), беззаботно предаются радостям жизни — шатаются, глазуют, выпивают.

Мы же ищем не удовольствий, а ассоциаций, сравнений, метафор, гипербол, литот и — иногда — гонораров.

Но как все-таки быть с отдыхом? Нельзя же все время работать — годы не те, по утрам — изжога, на душе — мозоли, в голове — вакуум.

Некоторые авторитеты, скажем, академик Павлов, проверявший свои теории на собаках, рекомендуют в таких случаях перемену обстановки — тяжелый физический труд вместо легкого умственного, велосипед, гребля, свежий воздух, высокие помыслы. Не все собаки выдерживали такой режим, но те, которые выживали, были готовы к любым подвигам, вплоть до полетов в космос.

Все перечисленные Павловым условия можно найти только на природе. Причем тут не подходит ни газон у супермаркета, ни ресторанный пальма в кадке.

Природа обязательно должна быть настоящей, обильной, по возможности первозданной. Только тогда в человеке, как и в собаке, пробуждаются угасающие чувства, мобилизуются лучшие черты, временно засыпают худшие, напрягаются все физические силы организма.

Что касается этих самых сил, то с ними у нас недоразумение. Один из нас — несомненный пентюх, презирающий спорт, здоровье, закалку. То есть человек, который рубит дрова сидя только потому, что лежа неудобно. Зато второй — подтянутый, спортивный, готовый, как говорится, и к труду и к обороне.

Недоразумение же заключается в том, что мы никак не можем решить, кто из нас первый, а кто — второй.

Споры не утихают уже много лет, но ясности они не прибавили. Что касается посторонних, то их лучше к этой дискуссии не привлекать. Они, очевидно из зависти, отказываются признавать разницу между первым и вторым.

Итак, мы решили ненадолго сменить декорации и отправиться на природу. Обычно в таких случаях говорят — поехать на рыбалку. Иногда это соответствует истине — люди действительно ловят рыбу. Но чаще рыбалка эвфемизм, один из тех, который без всякой нужды привносит в нашу жизнь жуткое вранье. Хорошо известно, что на рыбную ловлю часто ездят без удочек, но редко без шашлыка.

Видимо, все мы нуждаемся в самооправдании. Для того чтобы срываться с места, менять налаженный быт

на неустроенный, терпеть неудобства (например, комаров), нужен какой-нибудь предлог. И рыбалка — самая универсальная из всех существующих причин для общения с природой.

Еще никто и никогда не относился плохо к рыбакам. Повсеместно они рожают симпатию, умиление и если иронию, то самую дружелюбную.

При этом сами рыбаки — народ весьма агрессивный и влиятельный. Нам, например, почему-то кажется, что в основе всех российских экологических баталий лежат рыбацкие страсти. Поворот сибирских рек, загрязнение Байкала, обмеление Арала — разве не ощущается здесь беспокойство об улове?

У нас никакого хобби нет (все занятия — основные), поэтому на природу мы поехали просто так — без удочек и задних мыслей.

В нашем конкретном случае природа называлась Адирондакскими горами. Они в меру высоки, лесисты, безлюдны. Вернее, по каемке, вдоль подножья, их окружает курортная цепочка, состоящая из гостиниц, бассейнов и ресторанов, которые в провинции считаются французскими. Но внутри, там, где кончается шоссе, нет ничего, кроме гор и лесов.

Капитализм нас уже приучил к тому, что земля — всегда чья-то. Государственную границу можно пересекать беспрепятственно, но рубежи частного владения похожи на телеграфный столб — не влезай, убьет.

В Адирондаках земля, как в России, принадлежит народу — каждому, кто не поленится забраться в лес. Единственное хозяйственное назначение здешних мест быть запасником пространства. Так называемая бескрайность приводит соотношение человека с природой к старинному и более нормальному масштабу: природы больше.

Количественный фактор — странная вещь. Вообще-то для общения с натурой достаточно одного дерева, куста, да что там — былинки. Вот, скажем, японцы, большие знатоки этого дела, выращивают сад в горшке и проводят всю жизнь в созерцании пейзажа, умещающегося на подоконнике.

Но только большое тешит гордость белого человека. Наш путь лежит вширь, а не вглубь. Эмиграция — лишнее тому доказательство.

Ходить по лесу без всякой цели по-американски

называется hiking, а по-русски — никак. У нас, в лес ходят по грибы, по ягоды и партизанить. Можно подумать, жизнь наших соотечественников отличается повышенной целесообразностью.

Американцы грибы понимают только в банках, ягоды — в конфитюре, партизан — в Никарагуа. Лес здесь поэтому — вещь в себе. Пройти столько-то миль по тропе, залезть на гору, поплескаться в ручье — вот и весь смысл «хайкинга». Главное — оторваться от цивилизации, окунуться в пейзаж.

В принципе пейзаж существует двух видов — настоящий и описанный. Последний известен значительно лучше первого.

Нормальный человек (не егерь) под природой понимает то, что опускается при чтении романов Тургенева. Кстати, классик мстит за невнимание тем, что пропущенные пейзажные зарисовки составили излюбленный материал для диктантов: не хотели читать, так будете писать, расставляя знаки препинания («Утро стало занимать алыми пятнами выступила заря с приближением солнца все бледнели и сокращались молнии они вздрагивали все реже и реже и исчезли наконец затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникшего дня»).

Среди наших знакомых есть всего два человека, которые открыто заявили о своей ненависти к природе, — один художник, другой писатель. Остальные просто молча зажмуриваются, когда их вытаскивают на лужайку, а потом норовят прошмыгнуть в накуренную комнату.

Любовь к природе — несомненный императив теперешнего образа жизни. Но подчиняться этому диктату можно с минимальными усилиями. Например, разглядывая картины Шишкина. В России так и делают уже лет сто. Шишкин нас преследует, начиная с фантиков.

Как мы все-таки недооцениваем роль всех этих «Корабельных рощ», «Девярых валов», «Бурлаков», «Богатырей» и «Аленушек». А ведь именно эти изображения формировали наши представления о мире. Идеальный образ моря — у Айвазовского, русского человека — у Васнецова, леса — у Шишкина.

Передвижники, передвинувшись из музеев на конфетные фантики и папиросные коробки, стали частью

нашего мировоззрения. Мы подсознательно подгоняем окружающий мир под изображенный.

Отсюда, конечно, стойкая неприязнь к российскому реализму с его извращенной привязанностью к «социальности». Об этом говорил Достоевский: «Напишите им самое поэтическое произведение, они его отложат и возьмут то, где описано, как кого-нибудь секут».

Впрочем, и лирический пейзаж в любом из видов искусств — своего рода басня. Он чему-нибудь должен соответствовать. Например, совпадать или контрастировать с душевным состоянием героя. Так, молнии в вышеприведенном отрывке из тургеневской «Первой любви» (надеюсь, читатель расставил знаки препинания) отражают первую любовь.

Наверное, потому так трудно современному человеку, горожанину, научиться созерцанию природы, что он разучился глядеть непредвзято, видеть только то, что видно.

Впрочем, человек негородской и не ставит себе такой задачи — созерцать. Совершенно невозможно представить крестьянина, восхищающегося закатом.

Адирондакские леса, как любые другие, состоят из деревьев. Из каких — сказать затрудняемся. Мы твердо знаем только, что деревья называются деревьями, птицы — птицами, трава — травой. В области млекопитающих дело обстоит несколько лучше: каждый из нас способен отличить зайца от оленя и тем более от медведя.

Фауна в ее диком виде обладает сказочной притягательностью. Вот нам, скажем, не удалось встретиться с медведем, но мы с восторгом рассказываем домашним, что видели живого бобра, косулю, даже гремучую змею.

Сейчас дикие звери значительно популярнее людей. Зоопарки в Америке собирают больше зрителей, чем все спортивные состязания, вместе взятые. И то сказать, привычный ньюйоркец даже не оглянется на голую женщину, а на китайскую панду в Бронкском зоопарке с утра очередь.

Подглядывая за интимной жизнью диких тварей, мы испытываем своеобразное возбуждение. И относительная редкость таких встреч доставляет наслаждение

гурманам. А так-то корова ничуть не менее интересна, чем лось.

Шкловский построил знаменитую эстетическую теорию — искусство как прием. Любому виду искусства необходима основополагающая условность: в балете танцуют, в опере поют. Обнаружить прием и значит понять смысл жанра.

Если применить эту теорию к природе, то в чем тогда будет «прием» общения с ней?

Не в бесцельности ли?

Для того чтобы идти по лесной тропинке просто так, никуда, надо отвлечься от той весьма жесткой причинно-следственной связи, в которой живет современный человек. Природа дает нам передышку от поисков цели, от выполнения поставленных задач. (Не это ли называется отдыхом?)

Бессмысленность — это свобода, прием, который подчеркивает условность нашего пребывания в чуждом человеку мире, временность нашего отречения от цивилизации.

Надо полагать, что идея «хайкинга» появилась только тогда, когда человек достаточно далеко ушел от естественной окружающей среды в искусственную. настолько далеко, что современный поэт (Александр Еременко) уже воспроизводит первую по аналогии со второй:

В густых металлургических лесах,
где шел процесс создания хлорофилла,
сорвался лист. Уж осень наступила
в густых металлургических лесах.

Только когда природа и цивилизация поменялись местами, стало возможным совершать экскурсию в лес, а не на фабрику. Только в новое время мы ощутили остраненность (еще один термин Шкловского) природы и, следовательно, смогли воспринять ее отвлеченно — не жить в ней, а любоваться ею со стороны.

Историки по-разному определяют рубеж нового времени — создание мануфактур, научно-техническая революция, великие географические открытия.

Можно предложить еще один критерий: возникновение туризма и его разновидности — альпинизма — как самого бессмысленного способа общения с природой. До самого конца восемнадцатого века лю-

ням не приходило в голову карабкаться на бесплодные вершины. Если можно найти перевал, то зачем лезть выше?

Альпинизм родился в 1786 году, когда швейцарский врач Паккард покорил Монблан. В Германии тогда царили «буря и натиск», во Франции готовилась великая революция, в России уже появились на свет проторомантики. Европа переживала бум эмоций, наглядным выражением которого стало восхождение на главную вершину континента.

Человек оказался достаточно могущественным, чтобы расходовать свои силы на бесцельные акции. Цивилизация перестала непосредственно зависеть от природы. Началось Новое Время, в котором мы живем и сегодня.

То, что бессмысленность подвига швейцарского альпиниста можно было точно измерить — 4810 метров, — оказало огромное влияние на нашу жизнь. Количественный критерий создает иллюзию осмысленности действия. Хотя, конечно, от того, что альпинисты покорили вершину не в пять тысяч метров, а в шесть — пользы от их восхождения не прибавится.

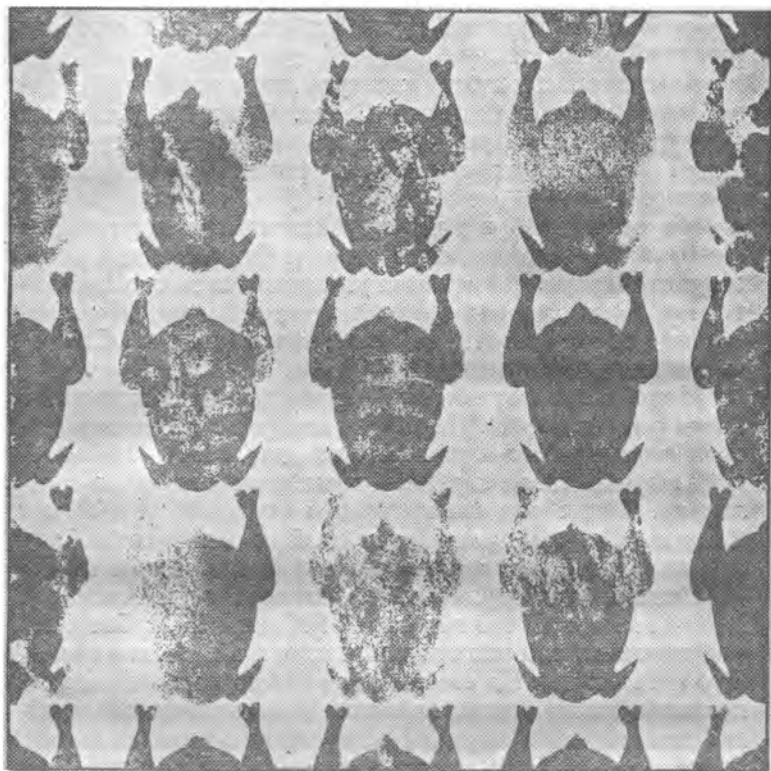
Однако стратегическая бесцельность пребывания в природе еще не означает отсутствия целей тактических, локальных. Напротив, вырываясь из привычного круга обязанностей, немедленно обрастаешь новыми. Правда, совершенно другого свойства.

Дома тебя беспокоят зарплата, работа, политика. В лесу — пойдет ли дождь, что будет вон за тем пригорком, дойдешь ли наконец до вершины этой проклятой горы (на одну мы все же вскарабкались, и какой бы невысокой она ни была, нам такой не показалась).

Человек слишком суетливое существо, чтобы жить без забот вовсе. Единственное, что он может сделать, — поменять привычные хлопоты на непривычные.

Нельзя сказать, что, проведя неделю в Адирондакских горах, мы пресытились природой. Но все же, подъезжая к жаркому, пыльному Нью-Йорку, с радостью ловили глазами приметы индустриальной цивилизации — небоскребы, автомобильные пробки, пуэрториканцев. Вот так же мы обрадовались, найдя в лесу банку из-под пива.

Что делать, если наша среда обитания неразрывно связана с неживой природой — например, с диваном.



ОБ ИНДЮШКАХ ДНЯ БЛАГОДАРЕНИЯ

Как всем известно, на гербе Соединенных Штатов изображен орел. Что, конечно, выглядит гордо, но скучно — какой же герб обходится без этой птицы. Вот Бенджамин Франклин предлагал посадить на место орла индейку. Его предложение отвергли, посчитав птицу слишком домашней и не царственной.

А напрасно. Индейка придала бы гербу больше патриотизма и экзотики. Птица она важная. Даже энциклопедия пишет о ней со сдержанным восторгом: «размеры крупные, ноги длинные, крепкие» — как про манекенщицу.

Но в общем это не важно. Можно обойтись и без герба. И так все знают, кто символизирует американские

добродетели в славный День благодарения. Мясистый, румяный символ.

Американская кухня, как чуть ли не все в этой стране, похищена из Старого Света. Спагетти, бейгелы, гамбургеры, блинцы — в таком кулинарном сумбуре живет американец ежедневно. Ничего своего, даже обидно.

Но один день в году предназначен для реванша. День, когда все население страны без различия пола, возраста и вероисповедания усаживается за стол, на котором высится поджаренная красавица индейка. Уж это-то точно ниоткуда не заимствовано. Свое — исконное, домотканое.

Индейка, как президент, — урожденная американка. Этим она и хороша. Не так уж много в этой эмигрантской стране чисто американских деталей.

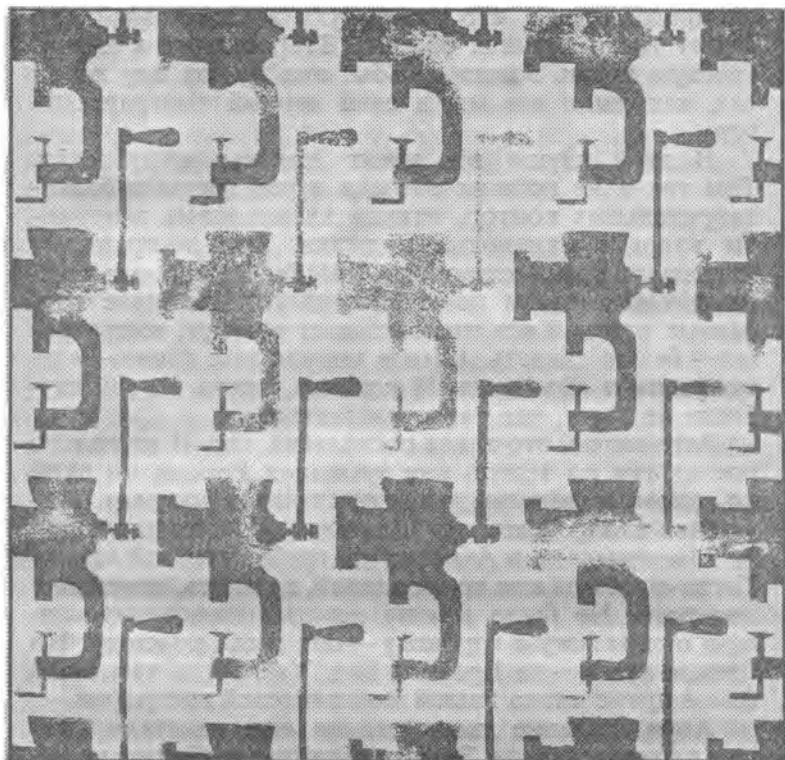
Америка часто страдает комплексом новичка в культуре. Тогда она по крупицам собирает украшения Старого Света и декорирует свой простоватый облик круасанами, шведской мебелью и французским кино.

Поэтому так трудно найти американскую Америку. Иногда кажется, что вся она — небоскребы, сабвей, бетонная прищепка на городской площади. Но это не так. Это есть всюду. На самом деле где-то еще существует лесистая дикая земля, носящая невыговариваемые индейские имена. Может быть, в стихах Уолта Уитмена, прозе Генри Торо, картинах Бабушки Мозес. Или в глухой провинции, зажатой между хайвеями и супермаркетами. В стране, где по-прежнему собирают патоку из тронутых морозом кленов, по-старому украшают сараи сухими венками для деревенских танцулек, по традиции зовут пришлых людей на праздничный обед в День благодарения.

Скоро четыре века, как отмечается роковой для индюшек день, и американцы собираются за столом, чтобы возблагодарить провидение за то, что оно направило «Мейфлауэр» к этим берегам, за то, что на берегах оказалось вдоволь еды, свободы и богатства, чтобы поделиться этими дарами с другими. В том числе — с нами...

Бродский где-то написал: чтобы полюбить страну, достаточно полюбить в ней хоть что-то.

Может, начать с индюшки?



О ЖИЗНИ НА БРАЙТОН-БИЧ

В Новом Свете есть такие уголки, где время не течет. Где-то в Орегоне так живут русские староверы, которые не заметили ни смены страны, ни смены столетий. В Пенсильвании есть островок богобоязненных меннонитов, которые пресекли прогресс на стадии конной тяги. И даже в бразильской сельве до сих пор живет племя обрезанных индейцев, которых в иудаизм обратили во времена конкистадоров. Поэт Игорь Гарик воспел вождя этого гордого племени, который вошел в историю под именем Монтигомо Неистребимый Коган.

Все эти места, по сути, являются консервами. Консервами образа жизни. Этим они и интересны.

Наша третья волна еще слишком молода, чтобы обзавестись такими заповедниками. И все-таки мы иног-

да представляем, что где-нибудь в Оклахоме существует такая забытая община. Заброшенная в американскую глушь волею судьбы, она до сих пор живет так, как жили все мы в свой первый эмигрантский год.

В этой глуши все носят джинсы и дубленки. Там так и не иссякли очереди перед дверьми благотворительных контор, откуда хлопотливые эмигранты волокут малиновые пиджаки. Там по-прежнему актуальны козни коварного ОВИРа. И долгими вечерами там картаво поют Высоцкого. Изобилие колбасных изделий все еще вызывает восторг, американцы — белую зависть. Самые популярные слова — «демокраси» и «фридом». И конечно, никто в этой глубинке не знает, что такое ностальгия.

Зато знаем, что такое ностальгия, мы. И не только ностальгия по теперь уже туманной России, но даже по такому недавнему эмигрантскому новоселью. Тогдашняя неопределенность дарила нас надеждами.

Мы приехали в Америку на гребне третьей волны. Тогда она была еще полноводной, казалось, даже неиссякаемой. Не было нужды искать законсервированную оклахомскую глубинку — она была повсюду. Но прежде всего — на Брайтон-Бич. Уже тогда там было самое яркое пятно нашей эмигрантской географии.

Хотя название этого района еще не стало именем нарицательным. Эпитет «брайтонский» еще не вошел в наш язык. Было просто место, где поселились российские эмигранты. Даже не самое хорошее место — и от центра далеко, и небезопасно, и надземка грохочет.

Никто не видел тогда в Брайтоне эмигрантской столицы. Столицей он стал сам по себе, стихийно. Брайтон родился из неосознанной, но жадной потребности эмигрантов в самоопределении. Там селились люди, которые приехали в Америку не для того, чтобы раствориться в этой стране, а для того, чтобы устроиться здесь по собственным законам.

Тогдашний Брайтон был еще робким и малопрестижным. Единственный русский магазин, как сельпо, торговал всем сразу — воблой, икрой, матрешками. Первый русский ресторан был невзрачен, как вокзальный кафетерий. Вчерашний борщ, тусклые обои, по залу бегают хозяйские дети. По знаменитой ныне Брайтон-Бич-авеню передвигались стайки эмигрантов —

от магазина «Березка» до кинотеатра «Ошеана». Униформа у всех была одна, как в армии неизвестно какой державы. Зимой — вывезенные из России пижики и пошитые здесь дубленки. Летом — санаторные пижамы и тенниски. Между сезонами царили кожаные изделия. Даже непонятно, из каких таких лесов мы привезли с собой истерическую любовь к охотничьей одежде.

Брайтон еще только создавался, еще только начинал свою войну за независимость. В Россию только отправлялись первые конверты со снимками: наши эмигранты на фоне чужих роскошных машин. Правда, уже тогда появился предприимчивый фотограф, который предлагал клиентам композицию с участием фанерных героев из мультфильма «Ну, погоди!». Он раньше всех понял, что Микки-Маус так и не станет нашим героем.

Теперь Брайтон стал феноменом. Он стал пикантной изюминкой этнического Нью-Йорка. Брайтонские сцены постоянно мелькают на экранах телевизоров. С ним даже считаются, как с неким посольским кварталом могучей российской державы. Сюда уже возят туристов. И скоро он появится в гордом путеводителе «Мишельин», где займет свое законное место между Гарлемом и Чайнатауном. Брайтон-Бич выиграл войну за независимость так же триумфально, как это сделали за два столетия до него Соединенные Штаты Америки. Он освободился от метрополии-России и построил собственное общество таким, каким хотел. Победоносная война принесла свои плоды: Брайтон преобразился.

Как-то мы сидели в ресторане, а за нашими спинами текла обычная брайтонская беседа. «Марик делает бабки, и Додик делает бабки», — степенно говорил мужской голос. «А Зяма, Зяма делает бабки?» — встревоженно спрашивал женский.

Мы повернулись и обомлели. За столом сидел мужчина в распахнутой до пупа рубашке. На шее — цепь толщиной в палец, на руках — браслеты с шипами. И спутница его соответствовала — зелено-розовые пряди, жилетка с надписью «Мир — дерьмо», в ухе — амбарный замок.

Да, Брайтон изменился. Томятся в нафталине пошитые на вырост дубленки. Отчаянной диетой смиряют непокорную плоть брайтонские девушки. Даже очереди в русское кино поредели — благодаря видео-

магнитофонам кино теперь у каждого свое. Никто уже не кривится при словах «Брайтон-Бич». Напротив, поселиться здесь — сложная и дорогостоящая задача. Теперь всем ясно, что третья волна сумела создать свою столицу, для которой вся остальная Америка — провинция.

Разгадка брайтонского феномена в том, что тут делается все по-своему. Здесь не ждут милости от природы, а по-мичурински переделывают окружающую среду на свой лад. Брайтон не устраивала та Америка, которую он открыл, и он создал себе другую.

Поразительно, как мало американского в здешней жизни. Любая мелочь брайтонского обихода отличается от той, которой пользуются американцы. В грандиозном гастрономе «Интернэшнл фуд» продается свой вариант любого продукта. Ладно бы там черный хлеб, кефир, чесночная колбаса. Но ведь абсолютно все — сок, ванилин, сухари, валидол, пиво. Брайтон ни в чем не признает американского преискуранта. Потому здесь, и только здесь, можно купить узбекские ковры, долгополые корсеты, чугунные мясорубки, бязевые носки, нитки мулине и даже зубную пасту «Зорька».

Индустрия развлечений здесь тоже своя — свои звезды, свой юмор, свой язык, даже своя пресса. Брайтон вынудил с собой считаться. Это он заказывает музыку остальной эмиграции. И она звучит. Еще как!

Когда на Брайтоне открывают ресторан, а происходит это неправдоподобно часто, название ему подбирают всегда имперское: «Метрополь», «Европейский», «Столичный». Тут нет ничего от зависти к бывшей родине. Ничего подобного. Это здесь, в Бруклине, настоящий «Метрополь». А там, в Москве, — жалкая копия. Брайтон не опускается до воспоминаний, он их сам творит. И ему ничего ни от кого не нужно — ни от России, ни от Америки.

Именно поэтому он беспредельно агрессивен. Именно поэтому он сумел создать особый стиль жизни, который откладывает отпечаток на любом местном жителе. Одни им гордятся, другие его стесняются, но он — неизбежная часть брайтонской ментальности.

Главная черта этого стиля — изобилие. Денег, тела, слов. Коренной брайтонец занимает полтора сиденья

в метро. И даже не потому, что он толстый. Нет, просто он — хозяин жизни. Гаргантюа от эмиграции.

Изобилие — среда, в которой он живет и которую он создал своими руками. На банкетах здесь расставляют угощения в три этажа. Буквально: внизу сациви, наверху шашлыки и еще выше — пирожные. И музыканты играют без антрактов. Ни на какой Пятой авеню нельзя увидеть столько норковых шуб, сколько на зимнем брайтонском променаде. И бриллианты — как будто это не Бруклин, а южноафриканские копи — в каждом ухе, на каждой шее. Обещанное Хрущевым изобилие, которого так и не дождались эмигранты дома, нашло их здесь.

Брайтонцы умеют зарабатывать деньги. Естественно, в том же стиле. Скажем, в Нью-Йорке все таксисты — эмигранты. Самая выгодная стоянка такси — у фешенебельного отеля «Плаза». Уже лет 50 там они и стоят космополитическим выводком, ожидая клиентов-миллионеров с их миллионерскими чаевыми. Но сейчас в этой очереди шоферы говорят на одном языке — русском матерном. Куда делись таксисты-гаитяне, конголезцы, вьетнамцы, ответить просто — их выдавили наши. Потому что Брайтон-Бич есть только у нас.

Брайтонцы умеют считать деньги. Они не хуже американцев знают, куда и как их вкладывать. И уж лучше американцев знают, как вытянуть кое-что из государства. Поэтому, кстати, на Брайтоне нет своего банка — кто же копит деньги на виду. В Америке выгодно быть бедным. Зато есть старухи-процентщицы, которые одалживают любые суммы под 30 процентов. В месяц!

Но главное, брайтонцы умеют деньги тратить. Шумно, хвастливо, с удовольствием и размахом. И искусство тратить деньги важнее, чем умение их зарабатывать. Ведь Америка не очень-то приспособлена к российскому разгулу — слишком трезва. Но брайтонцы и здесь приспособили чужую страну к своим нравам. Это в Атлантик-Сити казино с буржуазной баккарой и рулеткой. А на Брайтоне — бура, очко, кункен. Но ставки не меньше.

Взять хотя бы такой ритуал, как баня. Было в Манхэттене одно предприятие. Прозябало под ржавой вывеской «Турецкие бани». Собирались там, кажется, только опустившиеся гомосексуалисты. Но вот и сюда докатилась брайтонская волна. Теперь в турец-

кой бане говорят только по-русски. Крепкие мужчины с немислимыми татуировками научили неумелых хозяев пользоваться венниками, обливать печку пивом и восхищенно ругаться матом с восточным акцентом. А после парилки те же турки накрывают на стол — картошка, селедка, водка, естественно. Несчастливым мусульманам небось и не снилось такое пиршество.

Так брайтонский стиль оживляет анемичную американскую действительность. Но вообще-то феномен Брайтона как раз и заключается в том, что здесь не считаются ни с какой реальностью. Ей предпочитают фантазмагорию. В брайтонском плавильном котле все перемешалось — причудливый русско-еврейско-английский жаргон, воспоминание о несвоем прошлом, надежды на неосуществимое будущее. Брайтон живет мифами, и в этом ему нисколько не мешает действительность.

Как-то по Бруклину прокатилась эпидемия любви к белой гвардии. О ней заразительно пел любимец местной эстрады Михаил Гулько. И вот горячие евреи, чьих предков вешала эта самая белая гвардия, вскакивают на ноги, подносят рюмки к орденам и кричат, то ли картавя, то ли грассируя: «П'годали Г'оссию».

Об этом написал летописец эмиграции поэт Наум Сагаловский:

Красиво живу я. Сижу в ресторане —
балык, помидоры, грибочки, икра.
А рядом со мною — сплошные дворяне,
корнеты, поручики и юнкера.

Погоны, кокарды, суровые лица,
труба заиграет — и с маршем на плац —
корнет Оболенский, поручик Голицын,
хорунжий Шапиро и вахмистр Кац...

Да, Брайтон поражает всех, кто туда попадает.

А все потому, что здесь знают, как жить. И знание это уж конечно при себе не держат. Собственно, одна из главных примет брайтонского стиля — пропаганда его. Здесь каждый знает, что надо делать другому. Как написать роман или портрет, как вылечить рак или похмелье, как заработать миллион и как его потратить, наконец. Огромная, всепоглощающая уверенность в себе позволяет не только давать советы, но и следить за их выполнением.

Как-то мы познакомились с крохотным человеком, у которого не было передних зубов, зато был лишай через щеку. Осведомившись о роде наших занятий, он схватился за лысую голову: «Ой, что вы делаете. Разве это жизнь! Америка любит сильных».

И это правда. Что там любит Америка, еще неизвестно, но Брайтон-Бич — страна сильных, богатых, самоуверенных людей. Им не нравился мир, который они оставили, им неинтересен мир, который они нашли, и они строят себе новую родину. Таковую, чтоб была по вкусу. Родина размером в десяток бруклинских кварталов.

Еще давным-давно американские журналисты прозвали Брайтон маленькой Одессой. Теперь это уже банальность. Но смысла в ней гораздо больше, чем в простой констатации факта: здесь живут выходцы из Одессы.

Брайтон-Бич — реинкарнация Одессы, а ведь в нашей культуре она сыграла гигантскую роль. Одесса была рассадником мечты, фантазии, полнокровного восприятия жизни. Как французская Гасконь родила д'Артаньяна, так Одесса произвела на свет Беню Крика. Плюс целую литературную школу — юго-западную.

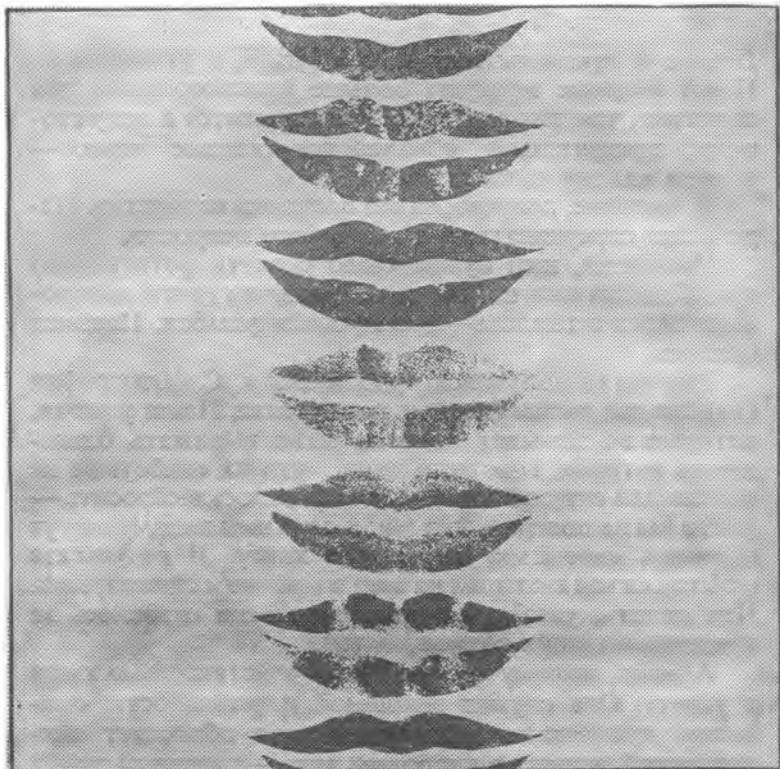
Слава Богу, у Одессы был свой певец — Бабель. Это он в содроганиях восторга живописал свою шумную, грязную, полублатную родину. Символом этой неправдоподобно яркой жизни был нечужой нам человек, «которого называли «полтора жида», потому что ни один еврей не мог вместить в себя столько дерзости и денег». Бабель не мог без восхищения смотреть на своих героев, которые выглядят так подозрительно знакомо: «Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури». Бабель так страстно завидовал этой яростной жизни, что он не мог не видеть в ней источник будущего праздника.

В 1917 году Бабель писал про свою любимую Одессу: «Подумайте — город, в котором легко жить, в котором ясно жить... Думается мне, потянутся русские люди на юг, к морю и к солнцу... Литературный мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда». Он сам и был этим мессией. Но творческая потенция Одессы на этом не иссякла. Сама Одесса пустилась в путь. Ее больше нет в российских пределах. Она

вся здесь, на Брайтон-Бич. Брайтонский стиль с его простодушным хамством, циничным невежеством, неизбежной жестокостью несет тот же заряд плодотворной энергии, что и бабелевская Одесса. Он необходим как реализация предприимчивого и агрессивного духа российского еврейства. Пусть безумная эпоха перетащила Одессу в Америку. Она не изменила внутреннего содержания одесского мировоззрения.

И если мы не всегда понимаем ценность брайтонского феномена, то только потому, что у него нет своего Бабеля. Еще не наступил момент самосознания, момент истины, в который эмиграция поймет всю силу и ценность своей столицы.

Брайтону не нужна наша лесть, ему безразлично наше презрение. Ему нужен Бабель. Свой литературный мессия. И тогда третья волна станет фактом российской культурной истории. Как стала им Одесса. Может быть, именно этим отплатит удивительный брайтонский стиль своим жертвам.



ОБ УЛЫБКЕ

Американские зубы достойны поэмы. Во-первых, их много. Во-вторых, они белы и блестящи, в-третьих, всегда на виду — ими улыбаются.

Завистливые страны тратят деньги на глупых и дорогостоящих шпионов, чтобы разгадать секрет американских успехов.

А весь секрет нельзя не заметить — он в улыбке. До тех пор, пока вы не увидите янки с закрытым ртом, Соединенные Штаты будут и дальше процветать, как и не снилось угрюмым соседям.

Мы-то об этом секрете узнали в первые пять минут эмиграции. Нам сразу сказали: хотите добиться успеха, пользуйтесь дезодорантом и улыбайтесь пошире. Но если с первым советом все обошлось, то второй представил определенные трудности. Дело в том, что улыбка, то есть дружелюбное размыкание губ и демонстрация зубов, не совсем соответствует советской жизни.

Дома мы предпочитали не улыбаться, а ухмыляться. Наши лицевые мускулы больше приспособлены для сарказма, чем для радушия. Губы кривятся в одну сторону, презрительно обнажаются желтые клыки — «Знаем мы эту пятилетку».

В Америке, конечно, такая практика неуместна. Надо было переучиваться, а это совсем непросто.

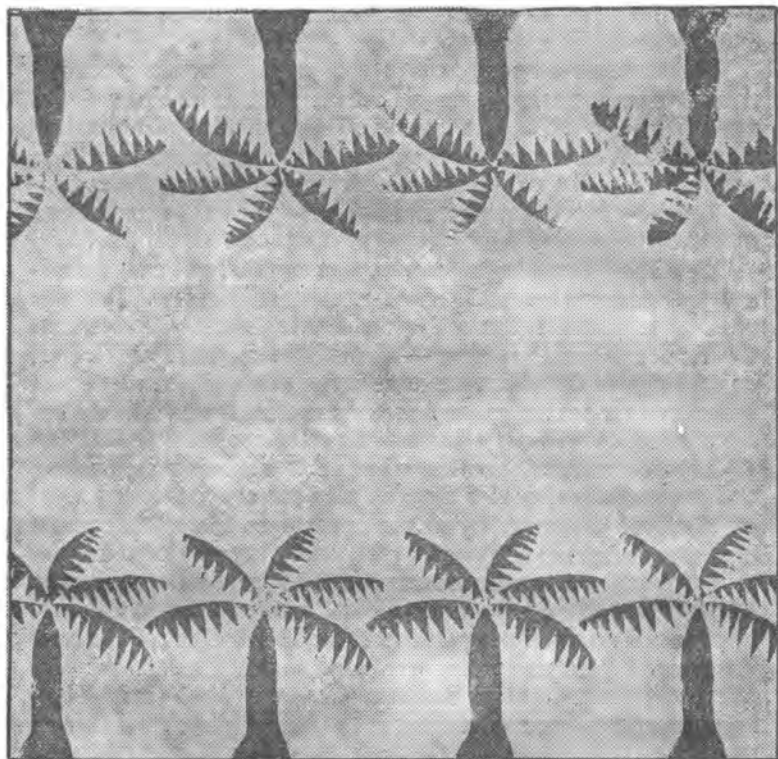
Помнится, нам нужно было сделать фотографию для обложки книги. Мы до отвращения долго позировали перед зеркалом — тренировали улыбки. Наконец снялись.

Результат получился чудовищным. С фотографии глядели два расслабленных паралитика. Наши улыбки, которые по замыслу должны были выражать благодушие авторов, говорили лишь, что их слабоумие не опасно для окружающих. Фото пришлось выбросить — никто бы не поверил, что люди с такими лицами могут написать свое имя, не то что книгу. В результате с обложки мы смотрим на мир в мрачном одинодушии. Что делать, улыбаться по-американски оказалось за пределами наших возможностей.

А жаль, потому что улыбка — действительно ключ к успеху. Она служит эмблемой нормальности, символом процветания. Она доходчиво объясняет американский лозунг: в здоровом теле — здоровый зуб.

Тотальность американской улыбки объясняется демократическим характером общества. Если человека нельзя заставить слушаться, надо ему понравиться, то есть показать зубы. И так от президента до дворника — дело не в иерархии, а в принципе. Мы привыкли считать, что люди улыбаются, когда у них хорошее настроение. А здесь наоборот: хорошее настроение — результат улыбки. Это ежедневное упражнение в оптимизме делает американцев неуязвимыми. Чистосердечная улыбка несовместима с ироническим мироощущением. Поэтому в американской речи преобладают восклицательные знаки вместо наших вопросительных, которые к тому же всегда готовы дополниться саркастическим многоточием.

Бодрость, которую иностранцы принимают за наивность, — национальная черта. И улыбка сама по себе воспроизводит эту самую бодрость в достаточном для всей страны количестве.



О ГАВАЙСКОМ ПАРАДИЗЕ

Каждый американец знает, где находится земной рай — на Гавайях. Но когда начинаешь перечислять достоинства этих островов, довольно скоро обнаруживаешь, что список райских примет отнюдь не уникален.

Ну, конечно, погода, которой, собственно говоря, просто нет. Здесь синоптики мрут от скуки, переписывая каждый день один и тот же прогноз: «Солнечно, тепло, но не жарко».

Потом, естественно, пляж — желтый, черный, зеленый, будто кто-то резвился с разноцветными чернилами. Океан, кишущий пестрой неопасной живностью. Коралловые рифы с их барочной архитектурой.

Затем — флора. С флорой тут полный порядок. Ладно там всякие пальмы, цветы, бананы, но даже

обыкновенный карандаш начинает зеленеть, если его сунуть на ночь в землю.

Но все это еще не повод для неумеренных восторгов. В конце концов, на то это и тропики. И вообще, как-то глупо облететь полглобуса, чтобы поваляться на пляже. К тому же сама процедура загорания кажется сомнительной с точки зрения здравого смысла. Кем надо быть, чтобы часами впитывать ультрафиолетовые лучи? Ящерицей? Кактусом? Солнечной батареей?

Однако Гавайи в корне отличаются от какой-нибудь замусоленной открытками Флориды. Тут все дело в классике: Джек Лондон, Мелвилл, Стивенсон, Сомерсет Моэм. И еще — Поль Гоген. И Тур Хейердал. И все те бесчисленные детские книжки, от которых в памяти не осталось ни имени автора, ни названия, но сохранилось что-то общее — южные моря.

Процветание Гавайев покоится на наших детских воспоминаниях, и нет вклада надежнее ностальгии.

Любой человек, будь он президентом, философом или футболистом, начинает свою читательскую карьеру с приключенческих романов. В 15 лет мы стеснялись Майн Рида. Тогда нам казалось, что список любимых писателей должен открывать Жан-Поль Сартр. Но сейчас, когда уже понятно, что ничего ни у кого списать все равно не удастся, можно смело признаться: «Три мушкетера» — великая книга. (Между прочим, и Сартр предпочитал ученым трудам романы про Пинкертона.)

Приключенческие книжки закладывают основу личности. Если хорошо покопаться в нашей трезвой философии жизни, то на дне мы обязательно найдем индейцев, пиратов, шоколадных туземок. С годами растет стена из прочитанных книг. Мы учимся посмеиваться по поводу авторов, у которых добродетель торжествует над пороком самым незатейливым способом. Но в глубине души всегда сравниваем толстые, умные книги без картинок с теми, что читали в детстве. И, отдавая предпочтение первым над вторыми, не можем удержаться от горького вздоха. Еще бы! Жить во вселенной Жюль Верна куда уютнее, чем в мире Кафки.

Основательный запас экзотических образов служит буфером в столкновении с действительностью. Взрослый человек — это не выросший ребенок, скорее — это совокупность его «я» разных возрастов. Так что в каждом из нас сидит довольно шумная и противоречивая

компания читателей, и часто на поверхность выныривает не умудренный Прустом интеллектуал, а мальчишка с «Островом сокровищ».

Мы в этом не раз убеждались. То-то в Лондоне сразу узнаешь город Шерлока Холмса, а не Форсайтов. В Париже первым делом вспоминаешь не Бальзака, а Дюма. И только Питер намертво повязан с Достоевским, да и то потому, что наша литература не облагодетельствовала русских детей приключенческими книгами отечественного производства.

Бунт детей против взрослых не кончается с переходным возрастом, он просто переходит в другую стадию. Чем дольше, сложнее, запутаннее мы живем, тем больше нам нужны упрощенные модели мира — боевики, вестерны, приключенческие романы. Экзотическая отдушина позволяет выпускать пары безопасным образом.

Наверное, поэтому прогрессу сопутствует мечта об антипрогрессе, о золотом веке, об эдеме, о «благородном дикаре».

Этот мотив пронизывает всю историю культуры. Еще в античности появился образ скифа Анахарсиса, философа-варвара, который познал все тайны мира, не слезая с коня. Между прочим, его прямой потомок — идеальный крестьянин наших «деревенщиков», один из тех, кому не нужна книжная премудрость, чтобы жить в ладу с природой и время от времени поучать столичных писателей.

Тоска по естественному образу жизни, не опороченному цивилизацией, заставляла искать все новых и новых благородных дикарей. Так Христофор Колумб открыл не только Америку, но и совершенных индейцев, не знающих власти денег и предрассудков.

К тому времени, когда Новый Свет достаточно обжили, «благородный дикарь» переехал на Тихий океан. Океания стала последним на нашей Земле раем. И для этого у нее были серьезные основания.

Прежде всего, полинезийцы жили на островах. Не зря все утописты стремились изолировать свои идеальные страны от внешнего, «неправильного» мира. Идиллию проще построить, когда никто не мешает, — на необитаемом острове, скажем.

Впрочем, полинезийцы, превращая земную жизнь в райскую, обходились и без утопистов. Адамово проклятие — труд — тяготело над ними куда в меньшей

степени, чем над остальными народами. Посадить кокосовую пальму куда проще, чем вырастить, скажем, пшеницу.

В гавайском музее поражает малое количество экспонатов — островитянам попросту не нужны были вещи. Но даже те, которыми они все же пользовались, связаны скорее с игрой, чем с трудом. Например, доски для катания по волнам — серфинга, который здесь и придумали. В изготовление их действительно вкладывалась масса изобретательности и старания — особые породы дерева, идеальная аэродинамическая форма, полированная поверхность. Соорудить такую штуку, должно быть, сложнее, чем построить хижину. Но можно ли назвать хобби работой?

Полинезийская религия была достаточно сурова, чтобы казнить нарушителей табу (допустим, тех, кто осмелился отбросить тень на дом вождя). Но она все же не требовала от гавайцев строительства пирамид — они обходились резными идолами.

В таких условиях островитянам приходилось ломать голову — чем себя занять, но они, как в свое время мушкетеры, нашли виртуозное решение — война и любовь.

С войной до сих пор не все ясно: не за что им было сражаться. Ни земля, ни рабы выгоды не приносили, а деньги — морские раковины — выполняли в основном декоративную функцию.

Однако полинезийская история доказывает, что не всегда одни люди убивают других из корысти. Иногда — из развлечения.

Несмотря на то, что битвы происходили с чудовищной жестокостью (пленных не брали), война напоминала шахматы. Вожди заранее договаривались, с кем и когда они будут сражаться, выбирали удобное поле боя. Если одной стороне удавалось загнать другую в укрепления, то осажденным доставлялась вода и пища для подкрепления сил — иначе будет неинтересно.

Да и уклоняться от сражений можно было с легкостью. На острове Оаху мы видели специальное убежище, куда во время войны стекались старики, дети, пацифисты и дезертиры. Чудесное, надо сказать, местечко, с лучшим на острове пляжем, где можно отсидеться, пока не иссякнут воинственные страсти соплеменников.

Если полинезийцам не удалось приучить белых людей к своему пониманию стратегии и тактики, то с лю-

бовью все обстояло иначе. Бугенвиль, открывший Таити, назвал его островом Цирцеи, и не напрасно. Полинезийцы исповедовали такую половую мораль, которая не снилась даже калифорнийским хиппи.

Великий знаток Полинезии, участник экспедиции на «Кон-Тики» Бенгт Даниельсен по этому поводу пишет, что в той райской жизни, которую вели островитяне, не было особой разницы между одним человеком и другим. У личности было не так-то много возможностей себя проявить. Поэтому, в принципе, выбор супруга мало что менял. Женились не для того, чтобы прокормиться или продлить род — и о том и о другом позаботится природа, — а для удовольствия. Секс и рассматривался как божественное развлечение. В браке ценился только партнер с богатым опытом. С детских лет до старости островитяне шлифовали сексуальную технику. Для этого и существует знаменитый гавайский танец — хула-хула.

Обычно его описывают в романтических, но туманных терминах. На самом же деле весь танец сводится к двум фигурам. Девушка с неистовой быстротой вертит бедрами, юноша приседает и покачивает тазом. Даже писать неприлично, а смотреть — тем более.

Хулу-хулу на Гавайях танцуют где угодно — в школах, ресторанах, на улицах, в аэропорту. В дни национальных праздников тысячи танцоров устраивают состязания на стадионах. При всей кажущейся простоте танца овладеть им не просто. Белые люди справляются с этим из рук вон плохо, что и сказывается на убожестве их техники брака, для которой туземцы придумали унижительный термин — «миссионерская позиция».

Рассматривая различные аспекты полинезийской жизни, нельзя не коснуться и важнейшего — кулинарии. При таком изобилии плодов и фруктов приготовление пищи не отнимает много времени, особенно если вы умеете влезать на кокосовую пальму. Но тем, кто не хочет обходиться вегетарианской диетой, приходится ловить рыбу. С мясом хуже. Млекопитающие на островах представлены двумя видами — крыса и человек. И то и другое идет в пищу. Однако сейчас с этим стало сложнее, поэтому на Гавайях популярна свинина.

Чтобы попробовать настоящий гавайский обед — луау, надо запастись деньгами и терпением. Сейчас это традиционное пиршество устраивают на берегу моря при большом стечении народа. Главное блюдо мы для

себя обозначили как «бритая свинья с кирпичами». Готовится оно следующим образом. Убитую свинью потрошат, моют и бреют. После этого внутрь туши кладут раскаленные камни, покрывают листьями и зарывают в землю. Потом все танцуют часа четыре, пока обед готовится в подземной печи.

Из всех вариантов мифов о райских куцах полинезийский оказался самым счастливым — он живет до сих пор. Правда, в XX столетии уже никто не верит в счастливых туземцев, бездумно коротающих свой век под пальмами. Но образ жизни островитян, зафиксированный в путевых журналах первооткрывателей, тщательно воспроизводится практичными американцами.

Гавайи существуют для того, чтобы доказать: если человек и не может жить в раю, то он может приезжать туда в отпуск.

Своему благоденствию пятидесятый штат во многом обязан географии — Гавайи лежат посреди пустынного океана. Тысячи миль отделяют острова от континентов. Они как бы вне пределов цивилизованного мира, на границе мечты и реальности. Не зря на обычной карте Соединенных Штатов для этого архипелага не находится места — разве что в отдельном уголке, где раньше рисовали розу ветров.

Пространство — хитрая штука, оно обладает способностью превращать тысячи миль пустоты в нечто конкретное, почти осязаемое. Стоя на гавайском берегу, трудно отделаться от сладкого ощущения одиночества. И даже сознание, что это самое одиночество ты делишь с пятью миллионами других туристов, не мешает вспомнить о Робинзоне. (Поразительно, но фамилия одного из первых белых плантаторов на Гавайях, чьи потомки до сих пор владеют небольшим островом, — Робинсон.)

Туристский бум — результат компромисса между научно-технической революцией и ненавистью к ее последствиям. Гавайи, как и в прошлом, стали убежищем от цивилизации, но убежищем цивилизованным — с роскошными отелями, дорогами, аэродромами. (Правда, как раз в самых дорогих отелях нет телевизоров и туда не доставляются газеты.) Коммерческая эксплуатация полинезийского мифа оказалась единственным способом его сохранить.

То, что мы видели на Гавайях, — неправда. Все это понарошку. Полуголые туземцы давно окончили сред-

нюю школу. Гирлянды — леи — плетут на продажу. Татуировка смывается под душем. Да и бритую свинью подают только туристам — местные жители обходятся пищей.

Но прежде чем негодовать по поводу хищного бизнеса, захватившего в свои щупальца «благородных дикарей», зададимся вопросом — а где альтернатива?

Нам приходилось бывать в разных тропических странах, осененных в прошлом такими же легендами, как Гавайи. Теперь они называются «третьим миром». А это значит: перенаселение, нищета, голодные дети и кучка западных гостиниц — острова комфорта посреди уродливой, отнюдь не живописной бедности.

Как ни странно, сегодня гарантию самобытности дают только туристы. Экзотика приносит прибыль. Именно за ней жители богатых стран приезжают в бедные. Примитивный образ жизни — товар, который не найдешь в Нью-Йорке, Лондоне или Париже. Только надо помнить, что под понятием «примитивный» мы понимаем не отсутствие теплого сортира, а те самые страницы из приключенческих книг, где про канализацию не писали вовсе.

Сегодня оригинальную полинезийскую культуру берегут ради туризма, а не из соображений исторической ответственности перед потомками. Американцам выгодно поддерживать миф о южных морях. Вот они и устроили из Гавайев антиамерику. Здесь практически нет промышленности — даже ананасы везут на консервные заводы Калифорнии. Здесь, за исключением столицы Гонолулу, не разрешают строить небоскребы — дома не должны быть выше пальм.

Идея курорта обязана быть чистой — те, кто прилетел сюда из Чикаго или Детройта, должны убедиться, что Джек Лондон и Марк Твен не вдали. Поэтому Гавайи задуманы как антитеза обычной, земной жизни, в которой идет снег, растут налоги и надо ходить на работу.

Конечно, в гавайском раю, как на любом курорте, есть привкус умышленности, а значит, фальши, иллюзорности, киношной красоты. Но что делать, если бегство от цивилизации требует хорошо организованного бизнеса?

...На Гавайях мы оказались в качестве участников ежегодной конференции американских славистов, устроенной в том году в Гонолулу, что было явной ошибкой. Не нашей, а устроителей. Гавайи никак не способствуют рабочему настроению. Не для того созданы эти острова.

Вроде бы так было всегда, а не только в нашу эпоху культа свободного времени. Путешественник Даниельсен пишет, например, что полинезийская женщина трудилась гораздо меньше европейской — даже неработающей, то есть домохозяйки. Еду в гавайской семье готовили раз в день, в остальном питались кокосовыми орехами и прочими плодами, не требующими кулинарных усилий. Уборки не было, потому что в домах не было ни мебели, ни стен, а пол прекрасно подметал ветер. Стирать тоже не приходилось: одежды вообще было не много, а ту, что все-таки носили, сделанную из древесной коры, выбрасывали, когда она снашивалась.

Теперь-то ситуация несколько изменилась: Гонолулу — огромный современный город со всеми плюсами и минусами современных городов. Но не изменился дух праздности, витающий над островами. И естественным образом он распространился на отель «Хилтон», в котором шла славистская конференция.

На других таких сборищах мы вообще почти не выходили из отеля: если не сидели на семинарах, то вели неформальные дискуссии в своем или чьем-то еще номере. Даже в Новом Орлеане — одном из самых веселых городов Америки — все веселье происходило по вечерам. И совсем иное дело — Гавайи.

Когда мы выступали со своими докладами, все — и докладчики, и слушатели — выглядели достаточно официально: кондиционеры позволяют надеть костюм и галстук. Но вдруг скрипнула дверь, и появился знаток поэзии обериутов. На нем были длинные красные трусы, синие резиновые шлепанцы и пестрая гавайская рубаха, в руках — ослепительно желтый мешок пляжного характера. Казалось, что на заседание райкома вошел павлин. Обериут постоял, послушал, тихонько вышел, и нам показалось, что в его последнем взгляде отразилось глубокое недоумение. Действительно, что делают здесь эти мрачные, сосредоточенные люди, когда в трех минутах ходьбы отсюда —

катамараны под яркими парусами, насквозь прозрачная вода, и можно время от времени отползть с песка под пальмы, освежаясь там местным коктейлем маимаи.

Нам еще показалось, что это ощутили и присутствовавшие на семинаре. Мы, во всяком случае, ускорили чтение доклада о прозе Татьяны Толстой, чтобы поскорее избавиться от неуместных в этих краях пиджаков и уйти под эти самые пальмы, где стояли столы с лавками, и мы уже предвкушали легкий обед из купленной с утра на рынке живности южных морей, к которой так подходит превосходное японское пиво.

Надо сказать, мы были не одиноки в своей склонности к праздношатанию и празднолежанию. Это просто витало в воздухе, точнее — звучало. Выходишь на пляж Вайкики — отдыхающие как отдыхающие, в купальниках, в плавках. Но стоит прислушаться — о чем говорят: о роли Марии Спиридоновой в русской революции, о стилистических интонациях Саши Соколова, о религиозных мотивах в современной советской живописи.

Пожалуй, Гавайи не знали такого русского нашествия. Хотя в истории этих островов был момент, когда возник шанс, что они станут частью Российской империи.

Это случилось в начале XIX века, когда Россия всерьез обратила внимание на западное полушарие. Служащий основанной в Калифорнии Российско-Американской компании баварец на русской службе Георг Антон Шеффер, интриган и смельчак, сродни тем, кто осваивал Дальний Запад, попав на Гавайи, попытался присоединить архипелаг к Российской империи. И это ему почти удалось. На короткое время остров Кауаи даже стал, по сути дела, русским. Шеффер заложил здесь форты Александр и Барклай, построил форт Елисавета. Но в конечном итоге попытка сорвалась: прибывший на Гавайи капитан российского флота Отто Коцебу лишил Шеффера всех полномочий.

Коцебу прямо называет его сумасшедшим. Но тот вовсе не похож на безумца. На авантюриста — да, но авантюристы и открывали новые земли и моря. В их действиях часто мало логики и даже здравого смысла — это, видимо, и имеет в виду положительный немец Коцебу. Но зато у них — энергия, напор и та оплодотворяющая историю наглость,

без которой истории вообще-то и не было бы вовсе.

Так закончилось то, чему в местном музее посвящена отдельная экспозиция, называющаяся «Русская авантюра на Кауаи» — надпись сделана по-английски и по-русски.

Есть и еще один след: руины форта Елисавета. Это печальное зрелище. Понятно: им некому заниматься. Севернее Сан-Франциско мы были в форте Росс, прекрасно восстановленном: в Штатах, в частности в Калифорнии, полно русских. А на Гавайях? Да еще на Кауаи, куда даже из Гонолулу лететь час. Мы спросили музейного куратора, и он показал картину работы местной художницы Марины Ульяновой. Дата — 1972 год, где она сейчас — он не знает.

А от форта Елисавета остались только основания стен, да в центре насыпана груда камней, в которую воткнут флагшток. Флага нет, но мы его все же увидели.

Это был замечательный эпизод. У входа в форт вдруг раздался какой-то шум и даже брань — по-русски. (Можно думать, что эти стены не слышали такого никогда — Шеффер был немец, а его команду составляли в основном аляскинские алеуты.) Бранились два русских патриота — из университета Беркли и другой, нам неизвестный. Оба принесли к памятному месту флаги Российско-Американской компании и развернули — каждый свой. Флаги оказались разными. Разгорелся жаркий спор, и наконец правильное знамя было поднято (невысоко) у форта Елисавета. Так под небом южных широт была восстановлена историческая справедливость в отношении России, находящейся отсюда так далеко, что и подсчитывать страшно, если даже из Нью-Йорка — одиннадцать часов лету.

Еще меньше осталось от форта Александр. То есть — табличка.

В дальнейшем русские бывали на Гавайских островах, но уже без всяких подспудных намерений. Тот же Отто Коцебу провел там довольно много времени, подружившись с местной королевской семьей. Королева Номаханна часто приглашала его к себе, не стесняясь при нем обедать и поражая капитана невиданным аппетитом. Больше всего Коцебу изумило, что королева, съев порцию, достаточную для шести человек, легла на спину, и слуга, вспрыгнув ей на живот, стал его мас-

сировать руками и ногами. После этого королева повторила обед в полном объеме. Что делать: главным достоинством гавайской женщины с давних пор считалась тучность.

Русские понемногу торговали с Гавайями, и эпизод с Шеффером забылся. Но нас вся эта история настроила на меланхолический лад, и мы впервые обнаружили в себе имперские чувства. Жаль, что император Александр и его министр иностранных дел Нессельроде не стали связываться с Гавайями, решив, что они слишком далеко, да к тому же это чревато неизбежными неприятностями от других заинтересованных сторон — в первую очередь от Англии и Америки. Вообще-то России неплохо было бы добавить к Крыму и Кавказу Гавайские острова — климат там даже лучше.

Русским всегда не везло в западном полушарии. Аляску продали за гроши, из Калифорнии ушли перед самой золотой лихорадкой, Гавайи беспечно прохлопали сами.

Впрочем, заморских владений у России как не было, так и не могло быть. Она способна была присоединять соседние страны, куда всегда могли быть посланы большие войска, — на этом все и держалось. Для дальних колоний нужно совсем другое: система управления, надежные коммуникации, разумное руководство — все это не российские достоинства.

Но в конечном счете все, что ни делается, — к лучшему. Мы стали представлять себе, что бы было, если б Гавайи стали российскими. Тут бы устроили всесоюзную здравницу, и на Вайкики выходили бы люди в черных костюмах, приехавшие по профсоюзным путевкам. Труженики Гавайщины вели бы битву за ананас. Хотя это вряд ли: в период волонтаризма ананасы и кокосы извели бы и засадили острова кукурузой. В океане исчезли бы махи-махи и опака-пака: сумели же справиться со своим волжским осетром. По этому поводу и золотые рыбки у коралловых рифов были бы съедены. Зато из сахарного тростника можно продуктивно добывать самогон.

Пусть уж все остается как есть. В конце концов, русское вторжение все-таки состоялось — в виде армии славистов, — и Вайкики, самый знаменитый в мире пляж, на некоторое время заговорил по-русски. Во всяком случае, вечерами мы слышали из-под пальм русские песни, заглушавшие звуки гавайской гитары.



ОБ ОДИНОЧЕСТВЕ ЧАРЛИ ЧАПЛИНА

Кинотеатр «Карнеги Синема» — одно из самых русских мест Нью-Йорка. Разумеется, из тех, что специально для русских не предназначались. Ничего ведь нет удивительного в том, чтобы услышать родную речь в колбасном департаменте магазина «Интернешнл фуд» на Брайтон-Бич («Это полный конец, а не краковская... белив ми!»¹). Несколько более неожиданно она звучит в центре Нью-Йорка, в одном из самых эстетских кинотеатров города («Обожаю Фассбиндера!» — «Он гомик». — «Ну и что, что гомик? Чайковский тоже гомик. Я его обожаю!» — «Пидарас твой Фассбиндер»).

Наши освоили «Карнеги Синема», и не зря «Нью-

¹ Поверьте!

Йорк таймс» как-то писала, что среди зрителей европейских фильмов — процентов 20 русских. Американский журналист, правда, объяснил это тем фактом, что для русской интеллигенции французский традиционно был вторым языком — отсюда и интерес к искусству Европы. У нас нет ни одного знакомого со вторым языком французским. Идиш — это встречается.

Так или иначе, мы вместе со всей третьей эмиграцией ходим в «Карнеги» и за несколько лет пересмотрели в этом, говоря по-прежнему, кинотеатре повторного фильма всего Пазолини, всего Феллини, всего Куросаву.

На них мода не проходит, и каждый раз зая полон. Правда, интерес к японцам явно растет. Дело еще и в том, что если итальянское кино в кризисе, то в Японии на смену Куросаве пришли другие мастера, особенно Сехеи Имамура, который поставил один из самых потрясающих фильмов в истории кино — «Легенда о Нараяме». Мы любим смотреть и японские самурайские поделки. О том, как отвратительный клан задумал вырезать дотла рыбацкую деревушку. Но обуреваемый честными вожделениями, самурай-одиночка вынашивает благородные замыслы и не дает свершиться злу. В конце фильма он разрубает пополам брата своей жены и уходит по заснеженной равнине. Он идет, неожиданно маленький в зимнем пейзаже, помахивая мечом и потряхивая самурайской косичкой, неуклюже, носками в стороны, переставляя ноги в каких-то соломенных опорках. Две прекрасные женщины — жена и так просто — глядят ему вслед, а он не оборачивается и все уходит, все больше становясь похожим на кого-то очень знакомого.

Именно так — расставляя ноги, помахивая тросточкой и не оборачиваясь — уходил из своих фильмов Чарли Чаплин. Уходил — заметим — всегда победителем, как самурай. Самурай одинок и ненавидим. Чарли — одинок и презираем. Это и определяет методы борьбы. Чтобы спасти три десятка рыбаков, самурай вырезает под корень весь клан, включая свою многочисленную родню. Таким образом нарушается правильный ход вещей, по которому в первую очередь должны гибнуть не важные для жизни люди. Чарли — ничтожный червячок в котелке — тоже борется за справедливость: ему не нравится нормальная ситуация, когда дочь богача должна выходить за сына богача (другого). Любой из нас именно такого пожелал бы своей дочери — даже если

мы не богачи. Но Чарли против — и разворачивает бурную деятельность, в результате которой отец девушки лежит в гипсе с противовесами, дом сгорает дотла, хохочущего жениха увозят санитары.

Самурай пускает в ход меч и доблесть. Чарли — тросточку и ловкость. Его методы не более утонченны и интеллигентны, чем приемы японца. Ему ничего не стоит ловко увернуться так, что громала-лакей отправляет в нокаут начальника полиции. После этого лакея ведут в наручниках куда-то, откуда он возвращается через много лет трясушимся стариком.

Чарли самого, конечно, колотят, как бубен. Но он человек идеи и твердо знает, что стоит потерпеть ради торжества истины. Отцом-родоначальником этих неукротимых персонажей следует считать героя первого современного романа — Дон Кихота. Борцы-одиночки до него, разумеется, были, но они как раз воплощали правду порядка, справедливость установленной нормы — все эти Гераклы, Ильи Муромцы, Амадисы Гальские. Дон Кихот же запутал все и всех, проявив невиданное до сих пор своеволие и безразличие к любой норме — включая и нравственную. Чего стоит его реплика после того, как он сшиб с коня ни в чем не повинного бакалавра.

«— Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду — это мне неизвестно, — возразил бакалавр, — а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу и теперь ее не выпрямить до конца моих дней.

— Раз на раз не приходится, — заметил Дон Кихот».

Вроде бы нам говорили в школьные годы о каком-то другом Дон Кихоте. Но на самом деле никакого противоречия тут нет — это просто издержки самостоятельности мышления. То есть интеллигентности — в том высоком значении, в котором интеллигент — это тот, кто не согласен. Не с чем-то конкретным, а вообще — не согласен с миропорядком.

В этом смысле и Дон Кихот, и Чарли Чаплин, и самурай-одиночка и даже герои Клинта Иствуда и Чарльза Бронсона похожи. Разница есть одна — зато очень существенная: с кого начинать исправление общества. Можно сразу с других при помощи пистолета и меча, а можно с себя — и тогда главным оружием становится юмор, ирония, смех. Пусть от подножек Чарли попал

в больницу начальник пожарного депо, пусть безумный идальго случайно нанес вред невинному бакалавру. Важно то, что от несовершенства общества страдают в первую очередь они сами, а когда они берутся за «выпрямление кривды» — то страдают еще больше.

Конечно, Чарли и Дон Кихот — победители, но победители исторические. А их жизненный, повседневный путь к победе полон унижений, обид, побоев. Победный путь начинается с поражений и из них, собственно, состоит.

Другое дело — угрюмые правдолюбцы. Слепительные шпоры, каменные желваки, чувство справедливости, обостренное до святости, до полной невозможности взглянуть на себя хоть раз со стороны. Этим героям некогда, они творят истину, у них нет времени поскальзываться на арбузной корке, драться с винным бурдюком, лежать в блюде заварного крема. Их ждут великие дела. Им не до смеха.

Самурай и Чарли уходят с экрана одинаковой походкой, с одинаковым чувством исполненного долга: рыбаки спасены, дочка банкира свободна. Но не оборачиваются они по разным причинам. Одному некогда: где-то еще есть недоспасенные поселяне и недорезанные кланы. Другой боится снова быть смешным: он вовсе не уверен в том, что за ним остался такой уж порядок. Слишком много было суеты, ругани, оплеух. Слишком все было несерьезно. Лучше уйти от стыда подальше. Когда там еще история рассудит.



О РОЖДЕСТВЕННОЙ ИДИЛЛИИ

О, как коварно американское Рождество! Исполволь оно вползло в наши атеистические души и привольно расположилось там. Где же наша исконная широкая масленица? Где краснознаменное 7 ноября? Где, наконец, Ханука, к которой нас безуспешно пытались приучить добрые еврейские соседи?

Все эти праздники поглотила абсолютно чуждая нам рождественская вакханалия. И вот мы, вместе с коренными янки, тащим в дом елки, тайком друг от друга заворачиваем подарки в праздничной расцветки бумагу и 24 декабря послушно садимся за густо накрытый стол. С волками жить — по-волчьи выть.

У Рождества есть масса преимуществ перед другими праздниками, но главное, на наш взгляд, заключа-

ется в том, что Христос родился в правильное время года — холодное.

Настоящий праздник невозможен без контраста. Только когда на дворе мороз, пурга, на худой конец — слякоть, можно почувствовать радость от самых простых вещей в мире. Например, от тепла.

Не зря каждый год один из телевизионных каналов, пренебрегая всеми рождественскими темами, просто показывает в праздничный вечер горящий камин. В этом камине сгорают не дрова, а обыденная суета, каждодневные неприятности, заботы. Остается только уют в самом чистом своем воплощении.

Совершенно очевидно, что для того, чтобы дома было уютно, весь остальной мир должен погрузиться в холодную и враждебную атмосферу.

Вот поэтому-то ничего особенного не получается из Дня независимости, 4 июля. Так, довесок, возможность лишней день поваляться на пляже.

Нет уж, если нам доведется когда-нибудь делать революцию, то мы обязательно сверимся с календарем и выберем подходящий зимний день. Только тогда годовщина нашего предполагаемого подвига имеет шанс стать настоящим праздником.

В Америке, а особенно в Нью-Йорке, Рождество нарастает, как снежный ком. Здесь умеют заботливо выращивать праздничные эмоции, подготавливая их к заветной дате. Многие даже полагают, что всю эту рождественскую кутерьму вообще выдумали большие универмаги — чтобы распродать залежавшиеся товары.

Это, конечно, неправда. Ощущение праздника присуще человеку как виду. Это единственное религиозное переживание, доступное абсолютно всем — от австралийских аборигенов до воинствующих безбожников. Праздник старше культуры, старше цивилизации.

Торжественное и радостное настроение возникает как необходимое противопоставление вынужденному распорядку дня — будням. В обычные дни мы все подчиняемся обязательному ритуалу: едва проснувшись, лезем в метро, сидим за какими-нибудь бумагами, премираемся с боссом и ждем — обеденного перерыва, конца рабочего дня, отпуска, пенсии. Одна поэтесса выразила этот порядок жизни в безрадостных стихах: «Как в землю дождь, хожу я на работу».

Но вот что поразительно: в праздник мы все подчи-

няемся не менее строгому ритуалу — пьем, едим и веселимся по строгому расписанию. Более того, чем строже мы соблюдаем праздничные законы, тем больше получаем удовольствия. Попробуйте в День благодарения заменить индюшку пловом или произнести новогодний тост часа за три до полуночи, и вы увидите, как магия торжества исчезнет. Праздничное застолье превратится в рядовой обед, а бокал шампанского станет просто бокалом шампанского.

Самые отчаянные анархисты вынуждены превращаться в рабов ритуала, если они не хотят остаться без праздника. Однако рабство это, как любые добровольно взваленные на себя обязанности (взять, к примеру, хоть филателию или супружество), не приносит с собой горечи. Напротив, послушно смешивая ингредиенты обычной жизни — еду, питье, общение — с особым настроением, мы выжимаем праздник из так-то рядового дня (допустим, понедельника).

Наверное, суть этого искусства заключается в том, что взрослые, занятые серьезными делами люди в строго определенные, указанные календарем дни обращаются в неискушенных детей. В праздник все сбрасывают тяжкий груз опыта и подражают ребятам. Смеются без особой причины, объедаются вкусными вещами, дарят друг другу зачастую бесполезные подарки и приходят в умиление по самым незатейливым поводам. Если окинуть трезвым взглядом рождественское веселье, то можно подумать, что вся Америка на один день повернулась в грандиозный детский сад. Хорошо еще, что в Рождество не так просто смотреть на что-либо трезвыми глазами.

Праздник — это всегда таинственное ожидание чуда, всегда предвкушение сказки, возвращение в детство.

Ярче всего это таинственное мироощущение разгорается на Рождество. Рождественская мифология в эти дни отражается на всем строе жизни. Говорят, что в Америке в декабре даже никого не увольняют, оставляя эту неприятную процедуру на другие, менее добродушные месяцы.

По телевизору в предрождественские дни никогда не показывают ни триллеры, ни вестерны, ни боевики — только старые добрые комедии, где все кончается хорошо, да и начинается неплохо.

Конечно, в таких картинах есть и сентименталь-

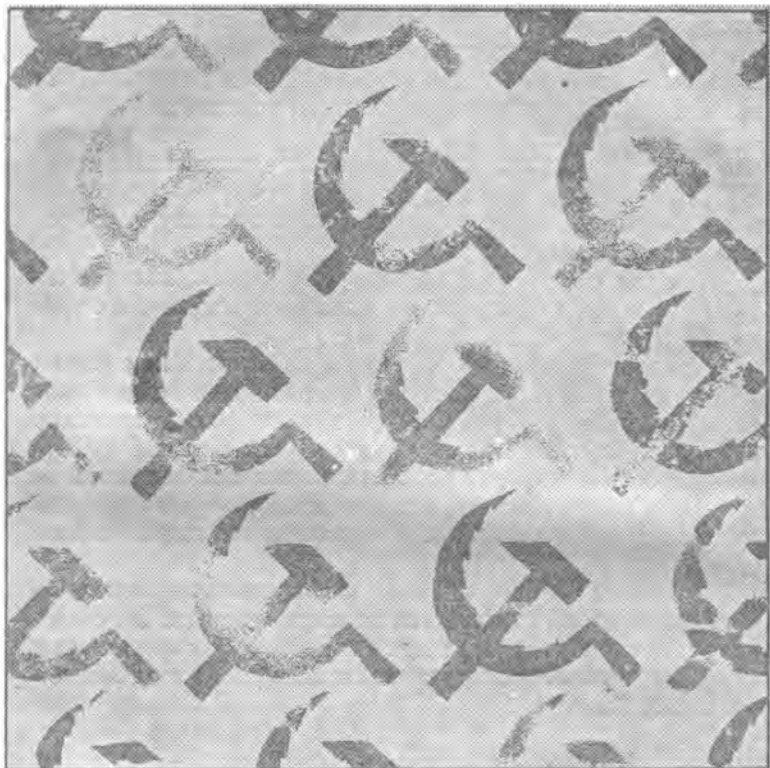
ность, и наивность, и слащавость, но есть и другое — чистая и простая эмоциональность, готовность принять мелодраматическую условность как данность, без задней мысли, без всепонимающей усмешки.

Может, оттого наше время так увлекается китчем, что ему недостает старомодной чувствительности? Не скрываем ли мы под иронией тоску по простому и ясному миру, тоску по детской вере в сказку, в добро, всегда побеждающее зло?

Как бы быстро ни менялась Америка, как бы ни тянул ее вперед прогресс, ни одна из праздничных традиций не потерялась по дороге.

Рождество связано с числом и месяцем, а не с годом или даже столетием, поэтому и праздники всегда проходят одинаково: на улицах звучат рождественские гимны, трясут колокольчиками Санта-Клаусы из Армии спасения, собирая пожертвования для бедных, и те же венки из остролиста каждый декабрь — от колониальных времен до нынешних — украшают дверь любого дома.

В эти дни все американцы, независимо от политических убеждений, становятся консерваторами. В Рождество они консервативны, как календарь, как круговорот природы, в который праздники помогают нам вписывать свою жизнь.



О ПОЕЗДКЕ НА РОДИНУ

В любой эмигрантской компании обсуждается знакомый по прошлой жизни вопрос: что везти? Только на этот раз не на чужбину, а на родину. И опять, как тогда, на поверхность всплывают странные предметы. Помнится, раньше знатоки утверждали: лучше всего на римской барахолке «Американо» идут деревянные шахматы, дешевые будильники и нитки мулине. Самые доверчивые тащили на продажу слесарные наборы из чугуна — багаж с максимальным удельным весом.

Теперь в ходу другие, но похожие истории. Советуют запастись гонконгскими телефонами, тайваньскими зажигалками, корейскими колечками для ключей, отзывающимися, как пес, на свист хозяина.

Пересечение советской границы в любом направлении связано с возвратом к доденежному экономическому

отношениям. В формуле «товар — деньги — товар» средняя часть безнадежно отсутствует. Эмигранты — что по дороге «туда», что «обратно» — пользуются другими эквивалентами. На островах Полинезии в ходу ракушечная валюта. У нас — еще более странные предметы: зубная паста «Буратино» или часы из пластмассы.

Причуды экономики превращают каждого эмигранта, приехавшего навестить родные пенаты, в Миклухо-Маклая. А шалости неконвертируемого рубля, которые позволяют нам устанавливать обменный курс без вмешательства Госбанка, делают из нас еще и Ротшильдов. Кто же мог поверить в такое счастье?

Много лет назад мы прощались с Россией навсегда — обстоятельно и мелодраматично. Попрощавшись, мы ныряли в плавильный котел Нового Света без оглядки на Старый. Некоторые, особенно решительные, первым делом старались забыть русский язык и перейти на коктейли. Что-то они будут делать теперь, перед лицом неизбежного визита домой? Брать с собой русско-английский разговорник?

Вообще-то возможность навестить родные места — довольно неожиданная выходка перестройки. Оттого, что граница оказалась преодолимой, третья волна пришла в некую растерянность. До сих пор мы пребывали в постоянном эмоциональном комфорте, замешанном на умеренной ностальгии и неумеренной ненависти к режиму, отнявшему у нас дом.

Но одно дело вспоминать березки, Черное море, пельмени из пачки, а совсем другое — сесть в самолет и оказаться рядом со всеми этими вожделенными предметами. Пограничный либерализм нарушил чистоту жанра.

Россия выплыла из ностальгического тумана и стала вмешиваться в нашу жизнь как раз тогда, когда мы уже привыкли обходиться без нее.

Однако третья волна, со свойственным ей напором, стремительно овладела новой ситуацией. Началась эра возвращений — не пасовсем, что было бы рискованно, а на время, что безопасно.

Тут-то наши эмигранты и сделали сенсационное открытие: перестройка, разрешившая контакты, — грандиозный подарок.

Многие считают, что СПИД появился только для того, чтобы очистить Америку — этакий бич

Божий с узкой избирательностью. Вот и поездки в Россию вроде бы придуманы специально для третьей волны.

Нормальный иностранец едет в Россию, как в любую другую страну. Ничем особенным она иностранца не радует — стоит не дешевле, за гостиницу дерут, в ресторанах все жирное, по-английски никто толком не говорит, перестройку им не с чем сравнивать. Короче — экзотический отпуск для тех, кому уже надоела не только Флорида, но и цивилизованная часть Европы.

Зато наш эмигрант возвращается на родину так, как мечтал Деникин, — на белом коне. Благодаря вышеописанным экономическим кунштюкам, благодаря трансформации рядового эмигранта в гибрид Миклухо-Маклая с Ротшильдом, «бывший» (под этим эвфемизмом мы известны в отечестве) становится героем.

Все воспоминания посетивших Россию строятся по одному и тому же образцу. Прежде всего, это рассказ не о стране, а о том, как рассказчик себя вел там. В центре — встреча с потрясенными близкими.

Эмигрант приезжает домой как Санта-Клаус: для всех у него подарок. Причем то, что здесь обходится в доллар, там обменивается на безграничную благодарность. Наверное, никогда еще благотворительность не стоила так дешево. Каждый эмигрант, независимо от доходов и социального положения, вступает на территорию Советского Союза богатым американским дядюшкой.

В Америке эмигранты живут по-разному, и относятся они к ней по-разному, но в России все выступают в одинаковом качестве. Здесь мы — эмигранты, там — американцы.

Оказалось, что получить гражданство еще недостаточно, чтобы стать патриотом. Что ж за хитрость быть американцем среди американцев. Только в России мы начинаем по-настоящему гордиться новой родиной. Похоже, эта гордость и есть тайная цель поездки.

Один наш знакомый, из тех, кто не может дня прожить без борща и «Нового русского слова», специально к российской экскурсии обзавелся рубахой с гигантским белоголовым орлом на спине. Здесь ему соседи-янки поперек горла. Зато по Москве он ходил полномочным и очень необычайным послом американской цивилизации.

Другой знакомый поразил своих ленинградских приятелей тем, что целыми днями фотографировал мусорники.

Третий собрал одноклассников и объяснил им суть американской внешней политики. При этом он демонстрировал открытку с президентом, намекая, что тот эту самую политику с ним нередко обсуждает за стаканом кока-колы.

Занятно, что нам еще не приходилось встречать эмигранта, который бы не жаловался на Америку: негры, преступность, пуэрториканцы, наркотики, мексиканцы, отсутствие смертной казни, избыток демократии...

Но это здесь. В России у Америки нет лучших друзей, чем наши эмигранты. Каждую беседу с товарищами и родственниками они начинают словами: «А вот у нас, в Соединенных Штатах» — и заканчивают тем, что мурлычут, как бы забывшись, национальный гимн.

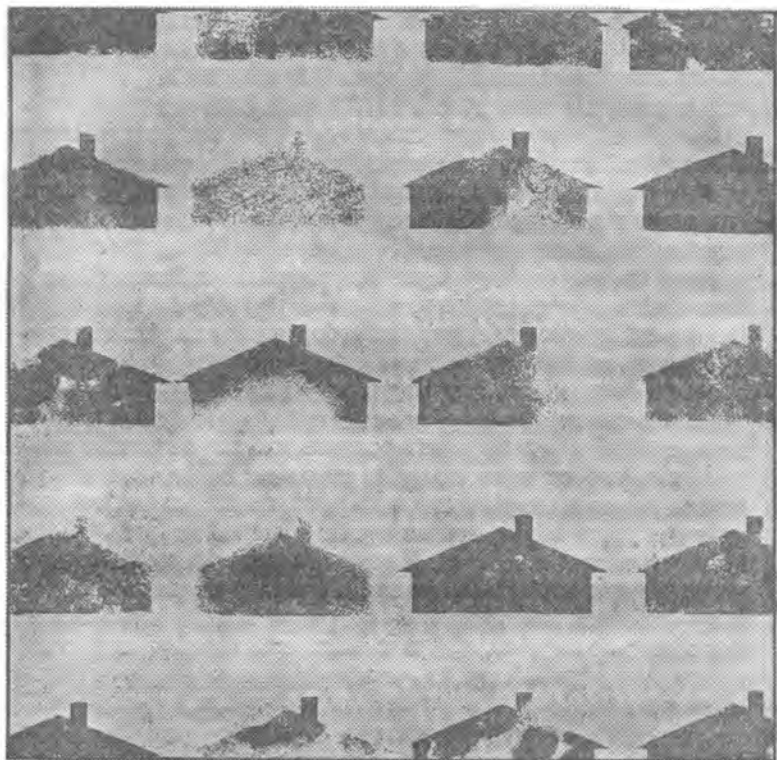
В Америке среди эмигрантов встречаются таксисты, сторожа, пенсионеры, даже безработные. В Россию все они приезжают обладателями несметных состояний. Все те же хитрости с валютным обменом позволяют нью-йоркскому клиенту велфера выглядеть в Черновиках графом Монте-Кристо.

Когда-то мы ехали в Америку в поисках Земли Обетованной. Такой мы ее себе представляли благодаря старинной привычке читать советские газеты наоборот. Теперь мы сами целенаправленно и старательно создаем миф о райской американской жизни. При этом стараемся бескорыстно. Только странно, что эмигранты хвалятся не столько своими успехами, сколько общеамериканскими. Мы сами не замечаем, как подменяем себя Белым домом.

И вот бывшие сограждане слушают про небоскребы, особняки с золотыми ваннами и «кадиллаки» длинной в товарный поезд. Разница между уровнем жизни в России и Америке составляет эмигрантский капитал. Вернувшись на родину, третья волна получает дивиденды с не ими заработанного богатства.

Как-то все забыли, что *не мы* строили эти самые небоскребы, *не мы* вкалывали на американское процветание и вообще здешний капитализм — *не наших* рук дело. Не наших, не наших отцов и дедов. Мы-то как раз строили социализм. То есть строили одно, а гордимся другим. Забавно.

Но все это, видимо, вылетает из головы сразу за советской таможней. Оказалось, что стопроцентным американцем можно стать только в бывшем доме. Только гуляя по Красной площади или Крещатику, эмигрант расправляет свои мощные, как у белоголового орла, крылья. Он наконец понял, зачем уехал из России: чтобы вернуться сюда гражданином Соединенных Штатов Америки.



О НЬЮ-ЙОРКЕ

Как-то мы встретили одну пожилую эмигрантку, из тех, что живет в нашем районе уже лет десять. Увидев нас, она всплеснула руками и запричитала, впрочем, не без злорадства: «Что ж вы, так в люди и не вышли?! Все тут толчетесь. Другие-то домами обзавелись. Живут, как американцы. Говорила я — не доведут до добра эти газеты».

Мы саркастически ухмыльнулись, но потом все же огляделись по сторонам. Действительно, в нашем Вашингтон-Хайтс, некогда бурном эмигрантском районе, остались мы да пенсионеры, которых к городу привязывает не любовь, а выгода: социальные программы. Все остальные разбогатели и разъехались по пригородам. Теперь, став владельцами собственной

крыши над головой, они шлют из Нью-Джерси проклятья нью-йоркской жизни и поражаются, как нас еще не съели кровожадные аборигены Манхэттена.

Российская эмиграция своей большей и лучшей частью влилась в американский средний класс и вместе с ним бросила город на поругание опасным неграм, пуэрториканцам и либералам. Механизм социальной мимикрии работает безошибочно. Если бы всем этим москвичам, ленинградцам и киевлянам предложили в свое время покинуть город ради самой комфортабельной в мире деревни, они бы ни за что не согласились. Однако в Америке иерархия ценностей стала с ног на голову, и эмигранты добровольно и поспешно расстались с городской жизнью.

Вначале селяне-новички еще чувствуют неясное смущение. Выбрав себе пригородное жилье, они хвастаются тем, что от него полчаса езды до Манхэттена. Но очень скоро выясняется, что расстояние, которое можно покрыть в эти пресловутые «полчаса», не меньше Атлантического океана. Вдруг становится пронзительно ясно, что в Нью-Йорк ездить некогда, что на дорогах — пробки, на улицах — негры и совершенно негде поставить машину. (У нас есть знакомые, которые, приехав в Нью-Йорк из Балтимора, тут же вернулись обратно, потому что не нашли паркинга.)

Но главное даже не в этом. Главное — в Нью-Йорк абсолютно незачем ездить. Пригородная жизнь окутывает своего жителя паутиной услуг, которые делают город лишним. Где бы вы ни жили, в четырех минутах езды от вашего дома найдется супермаркет, в восьми — торговый центр, где можно купить все — от порнофильма до «роллс-ройса», в двенадцати — кинотеатр. И уже без всякого передвижения — достаточно открыть окно — вы становитесь обладателем природы: дерево, куст, грядка, плюс дерево, куст, грядка у соседа слева, плюс дерево, куст, грядка у соседа справа и так далее.

Разбежавшиеся из города эмигранты ничего не придумали сами. Они просто заимствовали чужой — американский — идеал. Как только эмигранты встали на ноги, они бросились за город догонять своих новых компатриотов.

Говорят, что бегство обеспеченного населения в «кантри» привело в упадок американские города. Мол, спасаясь в пригороде от суеты и преступности,

средний американец обрек на гниение городскую культуру.

Однако что тут причина, что следствие? Не проще ли предположить, что американец никогда и не хотел жить в городе? Как и наш эмигрант, он только ждал, когда у него хватит денег на обзаведение загородной собственностью, чтобы наконец вырваться на волю.

В американской цивилизации есть сугубо провинциальный привкус, который, вероятно, достался стране в наследство от ее эмигрантского прошлого. В Новый Свет всегда ехали за чем-то. Каждый привозил сюда проект своей будущей жизни, свое представление о счастье, которое реализовалось в конкретном наборе, в перечне вещей, для счастья необходимых.

Все это вполне естественно. Дома вы живете, потому что тут родились — вас не спрашивали. Но эмиграция — проблема личного выбора. Это уже акт рациональный, продукт взвешенного суждения. Поэтому любая эмиграция настроена утилитарно: она думает, что знает, чего хочет.

Американская деревня (хоть и смешно ее так называть) эксплуатирует именно этот утилитарный подход. Жизнь в пригороде построена на представлении о человеке разумном, а значит, предсказуемом. Место личности здесь занимают духовные и материальные потребности человека. Пригород — это машина для производства счастья.

На самом деле это еще только комфорт, а не счастье, но на практике человек легко соглашается на такую подмену. Его легко убедить, что он всегда мечтал о своем домике, лужайке, бассейне, гараже, машине, безопасном районе, хорошей школе, чистом воздухе, богатых магазинах, уютных ресторанах, приветливой церкви, добрых соседях и живописном кладбище. Поэтому, например, во Флориде строятся целые городки, включающие все вышеперечисленные удобства. Жителям здесь обещают даже друзей. Сюда приглашают определенное количество бриджистов, рыбаков, любителей вышивать или выпивать. Неудивительно, что с самолета такие поселки похожи на курятники. Тем не менее кто из американцев не вкалывает всю жизнь в надежде на счастливую флоридскую старость?

Конечно, бухгалтерский подсчет потребностей, са-

ма идея конкретного перечня радостей жизни не исчерпывает Америки. Достаточно того, что идея эта привлекает.

Это и есть те миллионы, которые видят в городе изобретение дьявола. Мы не устаем поражаться, как часто приходится встречаться с полным отрицанием Нью-Йорка даже у тех, кто живет в непосредственном с ним соседстве. У нас есть знакомый почтальон из Лонг-Айленда, который хвастается, что за 55 лет своей жизни ни разу не пересек городской черты. Причем до черты этой — миль тридцать.

Другая знакомая, из Нью-Джерси, не хотела верить, что мы пользуемся нью-йоркским сабвеем и до сих пор живы. Третья — учительница из того же штата Нью-Джерси — рассказывала, что еще девочкой побывала на мосту Джорджа Вашингтона, откуда отец ей показывал Манхэттен. С тех пор и к мосту не подъезжала — незачем.

Первый город на Земле, как сказано в Библии, построил злодей Каин — добрый Авель ничего не строил. Для миллионов пригородных американцев на городе до сих пор лежит каинова печать, и снимать ее, похоже, никто не собирается.

Но прежде чем осуждать недалеких провинциальных янки, следует задаться вопросом: а за что им, собственно, любить американские города?

Благодаря чудовищному недоразумению для американского города используется то же слово, что и для европейского. Это, конечно, ложь. Никакой Спрингсити или Спрингтаун городом не является. Это просто место, где живут люди, где все устроено для их удобства, но не более того.

Построить американский город можно так же быстро, как и описать. Все они одинаковы до безобразия, потому что у всех одна цель — удовлетворить одни и те же потребности человека в комфорте. В американском маленьком городе можно найти даже буколическую романтику, поэзию, покой, душевное равновесие. Нет тут только города. Город — штучный товар. Он невозможен без индивидуальности.

Нам возразят — а Бостон, Чикаго, Филадельфия?

К несчастью, и эти старинные города сегодня превращаются в фикцию. Большие американские города еще просто не разбогатели настолько, чтобы стать маленькими. Но они стараются.

В каждом из них есть нежно лелеемый исторический центр, куда водят школьников и туристов. Но для самих жителей эти невзрачные колониальные церквушки — а какими же еще могли они быть в молодой и тогда небогатой стране — музейные экспонаты. Здесь не живут. Не здесь кипит городская жизнь, которая, впрочем, и не кипит вовсе.

Даже самые старые американские города уже пережили процесс атомизации — разбились на районы, на маленькие общины, где есть все, что положено, — магазины, кинотеатры, паркинги и, конечно, ряды одноэтажных домиков, которые не имеют никакого отношения к пышному титулу — Бостон или Филадельфия. Все, кто может себе позволить, даже в большом городе живут, как в маленьком.

Поэтому, честно говоря, осмотреть Чикаго (без музеев) можно минут за пятнадцать. На Лос-Анджелес уйдет больше, но только потому, что там дороги длиннее. Что же касается какого-нибудь Балтимора, то его, по выражению Карамзина, не жалко проехать зажмурившись.

Сейчас мы уже притерпелись, но в свое время приходили в отчаяние, попадая в новый для себя американский город. Проехав много миль до, скажем, Буффало, ищешь место, чтобы наконец выйти из машины и погрузиться в городскую жизнь, неповторимую, единственную, существующую только здесь — в Буффало, штат Нью-Йорк. И вот выясняется, что выходить негде и незачем, разве что в уборную.

Бывает, что в городе есть и достопримечательности, даже уникальные. Так, в Олбани находится, наверное, самая красивая в современной архитектуре площадь — Рокфеллер-плаза. Но и это не меняет дела. Площадь есть, а Олбани нет. Те же унылые двухэтажные ряды, которые начинаются сразу за дерзкими конструкциями административного центра.

В Питсбурге есть университет в виде грандиозного готического храма и концертный зал с малахитовыми, как в Исаакиевском соборе, колоннами. В Детройте — фрески Риверы. В Сан-Диего — зоопарк.

Но все это — единичные объекты, которые не имеют отношения к городу, существующему только тогда, когда он создает неповторимую атмосферу. Город — живое существо, он органичен и всеобъемлющ. Его нельзя трактовать как место для жилья (тогда выйдет

флоридский курятник), нельзя его и заменить музеем (если речь не идет о Помпеях). Попробуйте свести Париж к Эйфелевой башне.

Смысл города в противопоставлении природе, так же как смысл деревни в слиянии с ней. И город и деревня прекрасны. Живителен и плодотворен конфликт между ними. Но Америка пошла по особому пути: она уничтожила и город и деревню, уничтожила и разницу между ними. Вместо этих двух всемирных категорий она предложила третью — пригород, «кантри».

Американцы добровольно поменяли сложную, непредсказуемую, опасную городскую жизнь на элементарный, хотя и очень заманчивый, комфорт пригорода.

И все же американская цивилизация не растворилась в «кантри». От унылой скуки полусельского образа ее спасает единственный в США настоящий город — Нью-Йорк.

В принципе любой город уникален и исключителен. И все же роль, которую играет Нью-Йорк, особенная. Он один и служит противовесом остальной Америке, поддерживая напряженное равновесие между городом и деревней.

Нью-Йорк необходим Соединенным Штатам, как Рим Римской империи. Его можно ненавидеть, бояться, презирать, нельзя только одного — игнорировать.

Тайна этого города неуловима. Исходив все его улицы, написав о нем добрую сотню страниц, мы так и не поняли собственного отношения к Нью-Йорку.

Тут не работают аналогии ни со Старым Светом, ни с историей. Нью-Йорк — новый для человечества феномен. Он пришел к нам из будущего, а не из прошлого. Поэтому он чужд и Европе и Америке. Он существует сам по себе в историческом и географическом вакууме.

Когда приезжают гости, мы теряемся, не зная, что им показывать в городе, который уже считаем своим любимым. Верный признак того, что Нью-Йорк связал нас с собой интимными отношениями, которые нельзя выразить языком путеводителя.

Нью-Йорк лучше всего поддается негативным определениям. Например, он не столица.

Столицы существуют для того, чтобы выражать сущность страны. Их имена заменяют собой название государства. Столица — центр, который в идеале распространяется вплоть до границы. Как Рим, срастивший понятие столицы с понятием империи.

Но в Америке нет центра. Здесь жизнь равномерно растеклась по стране и не собирается стекаться обратно. Да и куда обратно? Ведь не в Вашингтон же, этот нелепый для Нового Света античный слепок. Американцы устроили себе столицу, тогда как европейцы устраивали свои государства вокруг столицы.

При этом Нью-Йорк — несомненно главный город Америки. Главный, но не столичный. Это — остров, а не центр страны. Остров — и в буквальном, и в переносном смысле слова. Манхэттен прилепился к континенту с самого краешка. Этим он как бы заранее объявляет о своей инакости.

Нью-Йорк — частный город. В нем нет даже главной площади, такой, как Красная в Москве, Трафальгар-сквер в Лондоне или Тяньаньмынь в Пекине. Площадь — орудие государственного строительства. Здесь собирается народ, чтобы ощутить свою сплоченность. Не зря во времена фашизма и в Италии и в Германии архитекторы перестраивали города так, чтобы получились огромные центральные площади — для парадов и шествий.

В Нью-Йорке просто нет места для таких церемоний. Разве что Центральный парк, но если там и собираются сотни тысяч ньюйоркцев, то для того, чтобы посмотреть шекспировские пьесы или послушать Паваротти. В самом деле, какое серьезное политическое мероприятие можно провести среди холмов и деревьев Сентрал-парка?

С самого начала Нью-Йорк возник без претензии на историческое величие. Он рос естественным путем. Отсюда и его поразительное уродство, которое теперь обернулось своеобразным эстетическим чудом. Силуэт Нью-Йорка лишен гармонии. Небоскребы торчат в прихотливом и потому естественном порядке. Издалека Манхэттен возникает как фантастическая горная цепь. И некому теперь уже предъявлять претензии в недосмотре. Ведь в Нью-Йорке никогда не было градостроительного плана, он рос дичком. Поэтому среди его якобы стройных и скучных, как арифметика, стрит и авеню рождается ощущение непредсказуемого хаоса. Этим он близок средневековому «естественному» городу, который появлялся на свет случайно, как придется.

Говоря о том, чего нет в Нью-Йорке, приходится признать, что это, наверное, единственный великий го-

род в мире, в котором нет ни исторических, ни художественных памятников. И тут виновата не молодость Нью-Йорка (Ленинград не старше), а все тот же частный характер города. Нью-Йорк никогда не был символом чего-либо. В нем нет никакой умышленной идеи. Более того, у него нет даже своего лица. Уникальность Нью-Йорка только в его всеядности. Он все принимает и ничего не отрицает.

Нью-Йорк сворачивает вокруг себя и пространство и время. Его нельзя назвать городом одной эпохи, как это легко сделать с Парижем или Лондоном. В нем существуют вчера, сегодня и завтра. Он не принадлежит ни к одной стране, ни к одному континенту, ни к одной расе — он совокупность всего, манифест богатства человеческой природы, включающей и все низкое, злое в ней. Нью-Йорк безнравствен и непедagogичен, в том смысле, что у него нет цели — искоренять пороки и насаждать добродетели. У Нью-Йорка даже нет своего мифа, который был у всех великих городов прошлого. Он — могущественный вор — крадет чужие мифы, и не для того, чтобы выплавить из них нечто собственное, а просто так, чтобы были под рукой, кому-нибудь пригодится.

В ничейности Нью-Йорка — его безмерная притягательность. Здесь нет общего, как в «кантри», знаменателя, и потому в Нью-Йорке так просто стать самим собой. Он ничего другого и не требует от человека, даря ему высшую свободу — безразличие.

Каждый ньюйоркец пользуется своим городом так, как он хочет. В этом, и только в этом, проявляется американская природа Нью-Йорка. Все-таки он расположен в самой свободной стране мира.

Среди несметных поклонников Авеля попадают в Америке и сторонники Каина, которые говорят: «Я лучше буду фонарным столбом в Нью-Йорке, чем мэром в Чикаго».

Еще в конце XIX века люди стали замечать эстетическое оскудение жизни. Чем выше поднимались стандарты комфорта, тем более однообразными они становились. Русский философ Леонтьев одним из первых возненавидел среднего человека только за то, что все средние люди похожи друг на друга. Его не утешал общий подъем уровня жизни. Он презирал «жажду равенства», охватившую мир, потому что цена комфорта — художественное бесплодие бытия. Леонтьев охотно со-

глашался терпеть зло, но не однообразие. Пусть будут убийцы и жертвы, богачи и нищие, смерть и рождение, лишь бы не было одинакового, среднего, теплого мира. Леонтьев говорил: «Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония». Только такая устрашающая гармония и производит красивую жизнь.

Однако во времена Леонтьева в Европе уже возник идеал всеобщего равенства и счастья, который породил на свет «среднего рационального европейца, в своей смешной одежде, неизобразимой даже в идеальном зеркале искусства». “Все истинные художники не любили среднего человека”, — замечает Леонтьев и с ужасом предсказывает будущее торжество именно такого человека.

Эти пророчества во многом сбылись, в том числе и в Америке, которая возвела в культ нормальную здоровую жизнь и в целом сумела обеспечить ею всех, кто к ней стремился.

Однако Америка оставила альтернативу и для других — для нищих, сумасшедших, фанатиков, для поэтов, философов, художников, для битников, хиппи, панков и проповедников конца света. Всех их потихоньку собрал Нью-Йорк — город отверженных.

Леонтьев бы наверняка проклял Америку «кантри», но неизбежно влюбился бы в Нью-Йорк. В город, который противостоит всему разумному, логичному, здоровому, в город, где зло и добро, оставшись на своих полюсах, рождают величайшее творческое напряжение.

Между прочим, от Авеля осталось только несколько строчек в Ветхом Завете, а Каиново племя до сих пор населяет собой землю и строит на ней города. В том числе — Нью-Йорк.

Нью-Йорк, 1985-1991 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	3
-----------------------	---

АМЕРИКАНА

О смысле Америки	8
О портативной философии	18
О рекламе	22
О дружбе с американцами	31
О времени нью-йоркского меридиана	34
О вестернах и триллерах	40
О племени славистов	43
О пионерах наших дней	48
О празднике любви	58
Об острове Манхэттен	61
Об Энди Уорхолье, певце банальности	64
О Белом доме	71
О «Ревизоре» на 22-й стрит	74
О триумфе ампира	81
О музыкальной цивилизации	84
О драме снегопада	91
О праве на автомобиль	93
О бессмертном Джеймсе Бонде	102
О цензуре	111
О стране Калифорнии	115
О женщине в объятиях крокодила	125
О герцоге Эллингтоне	128
О дне ненашей независимости	133
О небоскребах и уютгах	135
О голой Мадонне	141

О пирогах и книжках	144
О ярлыке «Made in USA»	147
О летнем отдыхе	155
О жизни и смерти в Новом Орлеане	157
О кухонном реализме	164
О Стивене Спилберге и хэппи-энде	167
О питсбургском Храме Науки	175
О роковых яйцах	180
О листопаде в Новой Англии	182
О новостях	189
О бродягах	192
О манхэттенских руинах	198
О флоридской фабрике оптимизма	201
Об испытании Халловином	210
О правде права	213
О пиве	219
О Багдаде-на-подземке	222
О статуе Свободы и сексуальной революции	229
О Вермонте, взятом в скобки	234
О Сентрал-парке — оазисе безумия	242
О поколении Вудстока	245
О южанах и Юге	250
О наркотиках	259
О горожанах на лоне природы	266
Об индюшках Дня благодарения	273
О жизни на Брайтон-Бич	275
Об улыбке	283
О гавайском раю	285
Об одиночестве Чарли Чаплина	296
О рождественской идиллии	300
О поездке на родину	304
О Нью-Йорке	309

Вайль П., Генис А.

В 14 Американа/ Худож. Д. Семенова, А. Бегак. — М.: СП «Слово», 1991.— 319 с.

ISBN 5-85050-247-7

В первую книгу П. Вайля и А. Гениса, издаваемую на родине, вошли тринадцать лет эмигрантской жизни. У книги мог быть подзаголовок «Наша Америка» — настолько лично увидены и осмыслены здесь культура и история страны, ее сегодняшний день. «Американу» отличают тонкая наблюдательность, глубина и оригинальность суждений, «словесное шегольство» (С. Довлатов), присущие и другим книгам авторов: «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета», «60-е. Мир советского человека», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь».

В $\frac{4703000000-024}{M128(03)-91}$ Без объявл.

ББК 66.3(7США)

Петр Вайль, Александр Генис

АМЕРИКАНА

Редактор *О. В. Тимофеева*

Художественный редактор *В. В. Медведев*

Технический редактор *Л. И. Витушкина и В. Ф. Нефедова*

Корректор *Г. И. Киселева*

Сдано в набор 27.12.90. Подписано в печать 10.06.91. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л. 17,64. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3416. Цена 7 р.

СП «Слово» 121433, Москва, Б. Филевская ул., 37, к. 1.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэксспорткнига» Государственного комитета СССР по печати. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113654, Москва, Валуевская, 28